



Анна АХМАТОВА

Стихотворения и поэмы



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Анна АХМАТОВА

Стихотворения
и поэмы

Серия основана издательством
ЭКСМО в 2002 году

МОСКВА



2006

УДК 82-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
А95

В оформлении суперобложки использованы фрагменты
работ художников *Н.Альтмана, А.Остроумовой-Лебедевой,
Н.Гончаровой*

Разработка серийного оформления
художника *А.Бондаренко*

Ахматова А.А.

А 95 Стихотворения и поэмы / М.: Изд-во "Эксмо", 2006. – 686[2] с., ил. – (Библиотека всемирной литературы).

УДК 82-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 5-699-08309-X

© А.Ахматова. Наследники, 2005
© Оформление. А. Бондаренко, 2005
© Составление. ООО "Издательство
"Эксмо", 2005

Содержание

Анна Ахматова. Коротко о себе 27

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЕЧЕР

1912

I

Любовь	33
В Царском Селе	34
1. "По аллее проводят лошадок..."	34
2. "...А там мой мраморный двойник..."	34
3. "Смуглый отрок бродил по аллеям..."	34
"И мальчик, что играет на волынке..."	35
"Любовь покоряет обманно..."	35
"Скала руки под темной вуалью..."	36
"Память о солнце в сердце слабеет..."	36
"Высоко в небе облачко серело..."	37
"Дверь полуоткрыта..."	37
"Хочешь знать, как всё это было?..."	38
Песня последней встречи	38
"Как соломинкой, пьешь мою душу..."	38
"Я сошла с ума, о мальчик странный..."	40
"Мне больше ног моих не надо..."	40

II

Обман	41
1. "Весенним солнцем это утро пьяно..."	41

2. "Жарко веет ветер душный..."	41
3. "Синий вечер. Ветры кротко стихли..."	42
4. "Я написала слова..."	43
"Мне с тобою пьяным весело..."	43
"Муж хлестал меня узорчатым..."	44
"Сердце к сердцу не приковано..."	44
Песенка ("Я на солнечном восходе...")	45
Белой ночью	46
"Под навесом темной риги жарко..."	47
"Хорони, хорони меня, ветер!"	47
"Ты поверь, не змеиное острое жало..."	48

III

Музе	49
<Алиса>	49
1. "Всё тоскует о забытом..."	49
2. "Как поздно! Устала, зеваю..."	50
Маскарад в парке	51
Вечерняя комната	52
Сероглазый король	53
Рыбак	53
Он любил...	54
Надпись на неоконченном портрете	55
Подражание И.Ф. Анненскому	56
"Туманом легким парк наполнился..."	57
"Я живу, как кукушка в часах..."	57
Похороны	58
Сад	58
Над водой	59
"Три раза пытать приходила..."	60

<Дополнения>

"Молюсь оконному лучу..."	60
Два стихотворения	61
1. "Подушка уже горяча..."	61
2. "Тот же голос, тот же взгляд..."	61
Читая "Гамлета"	62
1. "У кладбища направо пылил пустырь..."	62

2. "И как будто по ошибке..."	62
"И когда друг друга проклинали..."	62
Первое возвращение	63
"Я и плакала и каялась..."	63
"Меня покинул в новолуние..."	63
"Мурка, не ходи, там сырь..."	63

Четки

1914

I

Смятение	65
1. "Было душно от жгучего света..."	65
2. "Не любишь, не хочешь смотреть?"	65
3. "Как велит простая учтивость..."	65
Прогулка	66
Вечером	67
"Все мы бражники здесь, блудницы..."	67
"После ветра и мороза было..."	68
"...И на ступеньки встретить..."	68
"Безвольно пощады просят..."	69
"Покорно мне воображенье..."	69
Отрывок ("...И кто-то, во мраке дерев незримый...")	70
"Настоящую нежность не спугаешь..."	71
"Не будем пить из одного стакана..."	71
"У меня есть улыбка одна..."	72
"Столько просьб у любимой всегда!..."	72
"В последний раз мы встретились тогда..."	73
"Здравствуй! Легкий шелест слышишь..."	73

II

"Цветов и неживых вещей..."	74
"Каждый день по-новому тревожен..."	74
"Мальчик сказал мне: "Как это больно!"	75
"Высокие своды костела..."	75
"Он длится без конца – янтарный, тяжкий день!..."	76
Голос памяти	76
"Я научилась просто, мудро жить..."	77

“Здесь всё то же, то же, что и прежде...”	78
Бессонница	78
“Ты знаешь, я томлюсь в неволе...”	79
“Углем наметил на левом боку...”	79

III

“Помолись о нищей, о потерянной...”	80
“Вижу выцветший флаг над таможней...”	80
“Плотно сомкнуты губы сухие...”	81
“Дал Ты мне молодость трудную...”	81
8 ноября 1913	82
“Ты пришел меня утешить, милый...”	82
“Умирая, томлюсь о бессмертии...”	83
“Ты письмо мое, милый, не комтай...”	83
Исповедь	84
“В ремешках пенал и книги были...”	84
“Со дня Купальницы-Аграфены...”	85
“Я с тобой не стану пить вино...”	85
“Вечерние часы перед столом...”	85

IV

“Как вплелась в мои темные косы...”	86
“„Я пришла тебя сменить, сестра...””	86
Стихи о Петербурге	88
1. “Вновь Исаакий в облаченны...”	88
2. “Сердце бьется ровно, мерно...”	88
“Знаю, знаю – снова лыжи...”	89
Венеция	89
“Протертый коврик под иконой...”	90
Гость	90
“Я пришла к поэту в гости...”	91

<Дополнения>

“Проводила друга до передней...”	92
“Простишь ли мне эти ноябрьские дни?..”	92
“Я не любви твоей прошу...”	92
“„Горят твои ладони...””	93
“Будешь жить, не зная лиха...”	94

БЕЛАЯ СТАЯ

1917

I

“Думали: нищие мы, нету у нас ничего...”	95
“Твой белый дом и тихий сад оставлю...”	95
Уединение	96
Песня о песне	96
“Слаб голос мой, но воля не слабеет...”	97
“Был он ревнивым, тревожным и нежным...”	97
“Тяжела ты, любовная память!..”	98
“Потускнел на небе синий лак...”	98
“Вместо мудрости – опытность, пресное...”	98
“А! Это снова ты. Не отроком влюбленным...”	99
“Муза ушла по дороге...”	99
“Я улыбаться перестала...”	100
“Они летят, они еще в дороге...”	100
“О, это был прохладный день...”	101
“Я так молилась: „Утоли...””	101
“Есть в близости людей заветная черта...”	102
“Всё отнято: и сила, и любовь...”	102
“Нам свежесть слов и чувства простоту...”	103
Ответ	103
“Был блаженной моей колыбелью...”	104

II

9 декабря 1913 года	104
“Как ты можешь смотреть на Неву...”	105
“Под крышей промерзшей пустого жилья...”	105
“Целый год ты со мной неразлучен...”	106
Киев	106
“Еще весна таинственная млела...”	107
Разлука	107
“Чернеет дорога приморского сада...”	108
“Не в лесу мы, довольно аукать...”	108
“Господь немилостив к жнецам и садоводам...”	108
“Всё обещало мне его...”	109
“Как невеста, получаю...”	109

“Божий ангел, зимним утром...”	110
“Ведь где-то есть простая жизнь и свет...”	110
“Подошла. Я волненъя не выдал...”	111
Побег	111
“О тебе вспоминаю я редко...”	112
Царскосельская статуя	113
“Вновь подарен мне дремотой...”	114
“Всё мне видится Павловск холмистый...”	115
“Бессмертник сух и розов. Облака...”	115

III

Майский снег	116
“Зачем притворяешься ты...”	116
“Пустых небес прозрачное стекло...”	117
Июль 1914	117
1. “Пахнет гарью. Четыре недели...”	117
2. “Можжевельника запах сладкий...”	118
“Тот голос, с тишиной великой споря...”	118
“Мы не умеем прощаться...”	119
Утешение	119
“Лучше б мне частушки задорно выкл书记...”	120
Молитва	120
„Где, высокая, твой цыганенок...”	120
“Столько раз я проклинала...”	121
“Ни в лодке, ни в телеге...”	122
“Вижу, вижу лунный лук...”	122
“Бесшумно ходили по дому...”	123
Моей сестре	124
“Так раненого журавля...”	125
“Буду тихо на погосте...”	125
“Высокомерьем дух твой помрачен...”	126
“Приду туда, и отлетит томленье...”	126
Памяти 19 июля 1914	127

IV

“Перед весной бывают дни такие...”	127
“То пятое время года...”	128
“Выбрала сама я долю...”	128

Сон (“Я знаю, я снюсь тебе...”)	128
Белый дом	129
“Долго шел через поля и села...”	130
“Широк и жelt вечерний свет...”	131
“Я не знаю, ты жив или умер...”	131
“Нет, царевич, я не та...”	132
“Из памяти твоей я выну этот день...”	132
“Не хулил меня, не славил...”	133
“Там тень моя осталась и тоскует...”	133
“Двадцать первое. Ночь. Понедельник...”	134
“Небо мелкий дождик сеет...”	134
“Я знаю, ты моя награда...”	135
Милому	135
“Судьба ли так моя переменилась...”	136
“Как белый камень в глубине колодца...”	137
“Первый луч – благословенье Бога...”	137

<Дополнения>

“И мнится – голос человека...”	138
“Когда в мрачнейшей из столиц...”	138
“Как площади эти обширны...”	139
“Для того ль тебя носила...”	139
“Родилась я ни поздно, ни рано...”	140
“Мне не надо счастья малого...”	140
“Город сгинул, последнего дома...”	141
“О, есть неповторимые слова...”	142
“Стал мне реже сниться, слава богу...”	142
“Не тайны и не печали...”	142
“Будем вместе, милый, вместе...”	143
“Черная вилась дорога...”	143
“Как люблю, как любила глядеть я...”	144

Подорожник

1921

“Сразу стало тихо в доме...”	145
“Ты – отступник: за остров зеленый...”	145
“Просыпаться на рассвете...”	146

“И в тайную дружбу с высоким...”	147
“Словно ангел, возмущивший воду...”	147
“Когда о горькой гибели моей...”	147
“А ты теперь тяжелый и унылый...”	147
“Пленник чужой! Мне чужого не надо...”	148
“Я спросила у кукушки...”	149
“По неделе ни слова ни с кем не скажу...”	149
“В каждогох сутках есть такой...”	150
“Земная слава как дым...”	150
“Это просто, это ясно...”	150
“О нет, я не тебя любила...”	151
“Я слышу иволги всегда печальный голос...”	152
“Как страшно изменилось тело...”	152
“Я окошка не завесила...”	153
“Эта встреча никем не воспета...”	153
“И вот одна осталась я...”	154
“Чем хуже этот век предшествующих? Разве...”	154
“Теперь никто не станет слушать песен...”	155
“По твердому гребню сугроба...”	155
“Теперь прощай, столица...”	155
“Ждала его напрасно много лет...”	156
Ночью	157
“Течет река неспешно по долине...”	157
“На шее мелких четок ряд...”	158
Песенка (“Бывало, я с утра молчу...”)	158
“И целый день, своих пугаясь стонов...”	159
“Ты мог бы мне сниться и реже...”	159
“Мне голос был. Он звал утешно...”	159

<Дополнение>

Заре (С португальского)	160
-------------------------	-----

ANNO DOMINI
1921–1922

I. После всего

Петроград, 1919	161
Бежецк	161

Предсказание	162
Другой голос	162
1. “Я с тобой, мой ангел, не лукавил...”	162
2. “В тот давний год, когда зажглась любовь...”	163
“Сказал, что у меня соперниц нет...”	163
“Земной отрадой сердца не томи...”	164
“Не с теми я, кто бросил землю...”	164
Черный сон	165
1. “Косноязычно славивший меня...”	165
2. “Ты всегда таинственный и новый...”	165
3. “От любви твоей загадочной...”	166
4. “Проплывают льдины, звения...”	166
5. Третий Зачатьевский	167
6. “Тебе покорной? Ты сошел с ума!...”	167
“Что ты бродишь неприкаянный...”	168
“Веет ветер лебединый...”	168
“Ангел, три года хранивший меня...”	169
“Шепчет: “Я не пожалею...””	169
“Слух чудовищный бродит по городу...”	170
“Заболеть бы как следует, в жгучем бреду...”	170
“За озером луна остановилась...”	171
“Как мог ты, сильный и свободный...”	171
Библейские стихи	172
Рахиль	172
Лотова жена	173
Мелхола	174
Причтание (“Господеви поклонитеся...”)	175
“Вот и берег северного моря...”	176
“Хорошо здесь: и шелест, и хруст...”	176
Сказка о черном кольце	176
“Небывалая осень построила купол высокий...”	178

II. MCMXXI

“Всё расхищено, предано, продано...”	178
“Путник милый, ты далече...”	178
“Сослужу тебе верную службу...”	179
“Нам встречи нет. Мы в разных станах...”	179
“Страх, во тьме перебирая вещи...”	179

“Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом...”	181
“О, жизнь без завтрашнего дня!..”	181
“Кое-как удалось разлучиться...”	182
“А, ты думал — я тоже такая...”	182
“Пусть голоса органа снова грянут...”	183
“Чугунная ограда...”	183
“А Смоленская нынче именинница...”	184
“Пророчишь, горькая, и руки уронила...”	185
“Не бывать тебе в живых...”	185
“Пока не свалюсь под забором...”	185
“На пороге белом рая...”	186
“Я гибель накликала мильям...”	186
“Долгим взглядом твоим истомленная...”	187
Клевета	187

III. Голос памяти

“Широко распахнуты ворота...”	188
“Почернел, искривился бревенчатый мост...”	188
“Тот август как желтое пламя...”	188
Призрак	190
Три стихотворения	191
1. “Да, я любила их, те сборища ночные...”	191
2. “Соблазн не было. Соблазн в тиши живет...”	191
3. “Не оттого ль, уйда от легкости проклятой...”	191
Колыбельная (“Далеко в лесу огромном...”)	192
“Заплаканная осень, как вдова...”	192
“Буду черные грядки холить...”	193
Новогодняя баллада	193
“О, знала ль я, когда в одежде белой...”	194
Многим	195

ТРОСТНИК

1924—1940

Надпись на книге (“Почти от залетайской тени...”)	196
Муза (“Когда я ночью жду ее прихода...”)	196
Художнику	197
“Здесь Пушкина изгнанье началось...”	197
“Если плещется лунная жуть...”	198

“Тот город, мной любимый с детства...”	198
Двустишие	199
Заклинание	199
“Не прислал ли лебедя за мною...”	199
“Одни глядятся в ласковые взоры...”	200
“От тебя я сердце скрыла...”	201
Поэт (“Он, сам себя сравнивший с конским глазом...”)	201
Воронеж	202
“Годовщину последнюю праздной...”	203
“Привольем пахнет дикий мед...”	204
“Всё это разгадаешь ты один...”	204
“Нет, это не я, это кто-то другой страдает...”	205
“И упало каменное слово...”	205
Данте	205
Клеопатра	206
Ива	207
Из цикла “Юность”	207
Подвал памяти	208
“Так отлетают темные души...”	209
“Когда человек умирает...”	210
Разрыв	211
1. “Не недели, не месяцы — годы...”	211
2. “И, как всегда бывает в дни разрыва...”	211
3. Последний тост	211
Маяковский в 1913 году	212
Надпись на книге “Подорожник”	213
Ленинград в марте 1941 года	213

СЕДЬМАЯ КНИГА

<1936—1964>

Тайны ремесла	214
1. Творчество	214
2. “Мне ни к чему одические рати...”	215
3. Муза (“Как и жить мне с этой обузой...”)	215
4. Поэт (“Подумаешь, тоже работа...”)	215
5. Читатель	216
6. Последнее стихотворение	217

7. Эпиграмма	218
8. Про стихи	218
9. “О, как пряно дыханье гвоздики...”	219
10. “Многое еще, наверно, хочет...”	219
“А в книгах я последнюю страницу...”	220
Пушкин	221
“Наше священное ремесло...”	221
Учитель	221
В сороковом году	222
1. “Когда погребают эпоху...”	222
2. Лондонцам	222
3. Тень	223
4. “Уж я ль не знала бессонницы...”	223
5. “Но я предупреждаю вас...”	224
Ветер войны	224
1. Клятва	224
2. “Важно с девочками простились...”	224
3. Первый дальнобойный в Ленинграде	225
4. “Птицы смерти в зените стоят...”	225
5. Мужество	226
6–7.	226
1. “Щели в саду вырыты...”	226
2. “Постучись кулачком — я открою...”	227
8. Нох. Статуя “Ночь” в Летнем саду	227
9. Победителям	228
10. “А вы, мои друзья последнего призыва!...”	228
11. “Справа раскинулись пустыри...”	228
12–16. Победа	229
1. “Славно начато славное дело...”	229
2. “Вспыхнул над молом первый маяк...”	229
3. “Победа у наших стоит дверей...”	230
<4>. 27 января 1944 года	230
<5>. Освобожденная	230
17. Памяти друга	230
Луна в зените. Ташкент 1942–1944	231
1. “Заснуть огорченной...”	231
2. “С грозных ли площадей Ленинграда...”	231
3. “Всё опять возвратится ко мне...”	231
4. “И в памяти, словно в узорной укладке...”	232
5. “Третью весну встречаю вдали...”	232
6. “Я не была здесь лет семьсот...”	232
7. Явление луны	233
8. “Как в трапезной — скамейки, стол, окно...”	233
Еще одно лирическое отступление	234
Смерть	235
1. “Я была на краю чего-то...”	235
2. “А я уже стою на подступах к чему-то...”	235
“Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни...”	235
“Это рыси глаза твои, Азия...”	236
Ташкент зацветает	236
1. “Словно по чьему-то повелению...”	236
2. “Я буду помнить звездный кров...”	236
С самолета	237
1. “На сотни верст, на сотни миль...”	237
2. “Белым камнем тот день отмечу...”	237
3. “И весеннего аэродрома...”	237
Новоселье	238
1. Хозяйка	238
2. Гости	238
3. Измена	239
4. Встреча	239
Вереница четверостиший	239
<1>. “Что войны, что чума? — конец им виден скорый...”	239
<2>. “Ржавеет золото, и истлевает сталь...”	240
<3>. “В каждом древе распятый Господь...”	240
<4>. К стихам	240
<5>. “...И на этом сквозняке...”	241
<6>. “И скрупульно и богато...”	241
<7>. Имя	241
<8>. Конец демона	241
<9>. “И было сердцу ничего не надо...”	241
<10>. “О своем я уже не заплачу...”	241
<11>. “Взоры огненной огня...”	242
<12>. “И слава лебедью плыла...”	242

Три осени	242
Под Коломной	243
“Все души милых на высоких звездах...”	244
“Пятым действием драмы...”	244
Вторая годовщина	245
Последнее возвращение	245
Надпись на портрете	246
“Прошло пять лет, — и залечила раны...”	246
Приморский парк Победы	247
Песня мира	248
Говорят дети	249
В пионерлагере	250
Cinque	251
1. “Как у облака на краю...”	251
2. “Истлевают звуки в эфире...”	251
3. “Я не любила с давних дней...”	252
4. “Знаешь сам, что не стану славить...”	252
5. “Не дышали мы сонными маками...”	252
Шиповник цветет. Из сожженной тетради.	253
“Вместо праздничного поздравления...”	253
1. Сожженная тетрадь	253
2. Наяву	254
3. Во сне	254
4. Первая песенка	255
5. Другая песенка	255
6. Сон (“Был вещим этот сон или не вещим...”)	256
7. “По той дороге, где Донской...”	256
8. “Ты выдумал меня. Такой на свете нет...”	257
9. В разбитом зеркале	257
10. “Пусть кто-то еще отдыхает на юге...”	258
11. “Не пугайся, — я еще похожей...”	259
12. “Ты стихи мои требуешь прямо...”	259
13. “И это станет для людей...”	260
“Один идет прямым путем...”	260
“И сердце то уже не отзовется...”	261
“...А человек, который для меня...”	261
“Вот она, плодоносная осень!..”	261
При непосылке поэмы	262

Трилистник московский	262
1. Почти в альбом (“Услыши гром и вспомнишь обо мне...”)	262
2. Без названия	262
3. Еще тост	263
Полночные стихи	263
Вместо посвящения	263
1. Предвесенняя элегия	264
2. Первое предупреждение	264
3. В зазеркалье	265
4. Тринадцать строчек	265
5. Зов	266
6. Ночное посещение	266
7. И последнее	267
Вместо послесловия	268
НЕЧЕТ	
Приморский сонет	268
Музыка	269
Отрывок (“...И мне показалось, что это огни...”)	269
Летний сад	269
“Словно дальнему голосу внемлю...”	270
“Не страшай меня грозной судьбой...”	270
Городу Пушкина	271
1. “О, горе мне! Они тебя сожгли...”	271
2. “Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли...”	272
Песенки	272
1. Дорожная, или Голос из темноты	272
2. Липиня	272
3. Прощальная	273
4. Последняя	273
Из цикла “Ташкентские страницы”	274
Мартовская элегия	275
Рисунок на книге стихов	275
Эхо	276
Три стихотворения	276
1. “Пора забыть верблюжий этот гам...”	276
2. “И, в памяти черной пошарив, найдешь...”	277
3. “Он прав — опять фонарь, аптека...”	277

Античная страничка	277
1. Смерть Софокла	277
2. Александр у Фив	278
“Опять подошли “незабвенные даты”...”	278
“Если б все, кто помоши душевной...”	279
“И снова осень валит Тамерланом...”	279
Памяти поэта	280
1. “Умолк вчера неповторимый голос...”	280
2. “Словно дочка слепого Эдипа...”	280
Царскосельская ода. Девятисотые годы	281
Родная земля	282
Комаровские наброски	283
Последняя роза	283
“Всем обещаньям вопреки...”	284
Памяти В.С. Срезневской	284
В Выборге	285
“Земля хотя и не родная...”	285

**СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ
В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ**

“На руке его много блестящих колец...”	286
“Ночь моя – бред о тебе...”	286
Из первой тетради. <i>Отрывок</i>	287
“То ли я с тобой осталась...”	287
“Пришли и сказали: “Умер твой брат”...”	287
“На столике чай, печенья сдобные...”	288
„Я смертельна для тех, кто нежен и юн...””	288
В лесу	289
Старый портрет	289
“Шелестит о прошлом старый дуб...”	290
“Снова со мной ты. О мальчик-игрушка!..”	290
“В углу стариk, похожий на барана...”	291
“Целый день провела у окошка...”	291
“Словно тяжким огромным молотом...”	292
“Приходи на меня посмотреть...”	292
<Ф.К. Сологуб>	293
“Загорелись иглы венчика...”	293

“Бисерным почерком пишете, Lise...”	293
“Ничего не скажу, ничего не открою...”	294
Последнее письмо	294
“Я видел поле после града...”	296
“И жар по вечерам, и утром вялость...”	296
“Я любимого нигде не встретила...”	297
“Вечерний звон у стен монастыря...”	297
“Цветы, холодные от рос...”	298
“Ты первый, ставший у источника...”	298
“Пустые белые свяtkи...”	299
Тамаре Платоновне Карсавиной	299
Белая ночь	299
“На Казанском или на Волковом...”	300
“Кому-то желтый гроб несут...”	300
“За то, что я грех прославляла...”	300
“В промежутке между грозами...”	301
Отрывок (“О боже, за себя я всё могу простить...”)	301
“С первым звуком, слетевшим с рояля...”	302
“Я горькая и старая. Морщины...”	302
“За узором дымным стекол...”	302
Из старых стихов. (10-е годы)	303
“Не смущаюсь речью обидно...”	303
“И через всё и каждый миг...”	303
“Улыбнулся, вставши на порог...”	304
“Как вышедший из западных ворот...”	304
“Не странно ли, что знали мы его?..”	304
“Вечер тот казни достоин...”	304
“Дьявол не выдал. Мне всё удалось...”	305
“Скучно мне оберегать...”	305
“И ты мне всё простишь...”	305
Кавказское	306
“И неоплаканною тенью...”	306
“Я знаю, с места не сдвинуться...”	306
Памяти М. Б-ВА	307
“Уложила сыночка кудрявого...”	307
“Соседка из жалости – два квартала...”	308
“И все, кого сердце мое не забудет...”	308

“Жить – так на воле...”	309	“Чей-то голос звучит у крыльца...”	322
“И осталось из всего земного...”	309	“И это могла, и то бы могла...”	322
“Какая есть. Желаю вам другой...”	309	Памяти Анты	323
“Любо вам под половицей...”	310	“И анютиных глазок стая...”	323
“Если ты смерть – отчего же ты плачешь сама...”	311	“Угощу под заветнейшим кленом...”	323
В тифу	311	Слушая пение	324
“Глаза не свожу с горизонта...”	311	“Прав, что не взял меня с собою...”	324
“Когда я называю по привычке...”	311	Почти в альбом (“...и третье, что нами владеет всегда...”)	324
“А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет...”	312	Выход книги (Из цикла “Тайны ремесла”)	325
Надпись на поэме “Триптих”	312	Еще об этом лете. <i>Отрывок</i>	326
Послесловие к “Ленинградскому циклу”	312	Через 23 года	326
Смерть (“И комната, в которой я болею...”)	313	Полночные стихи. Вступление	327
“De profundis... Мое поколенье...”	313	“И было этим летом так отрадно...”	327
“От странной лирики, где каждый шаг – секрет...”	314	Пятая роза	328
Причитание (“Ленинградскую беду...”)	314	“Всё в Москве пропитано стихами...”	328
“И очертанья Фауста вдали...”	314	“Я играю в ту самую игру...”	328
“И увидел месяц лукавый...”	315	“Ты – верно, чей-то муж и ты любовник чей-то...”	328
“Дорогою ценой и нежданной...”	315	Из большой исповеди	329
Колыбельная (“Я над этой колыбелью...”)	315	В Сочельник (24 декабря). Последний день в Риме	330
“Особенных претензий не имею...”	316	Из “Дневника путешествия”. Стихи на случай	330
Из цикла “Тайны ремесла”	316	Из “Итальянского дневника”. Мэчелли	330
Из цикла “Сожженная тетрадь”	316	“Так уж глаза опускали...”	331
“Забудут – вот чем удивили!..”	316	Отрывок (“Так вот где ты скитаться должна...”)	331
“Не мудрено, что не веселым звоном...”	317	“На стеклах нарастает лед	332
“Позвони мне хотя бы сегодня...”	317	Песенка (“А ведь мы с тобой...”)	332
“Опять проходит полонез Шопена...”	317	“Мы до того отравлены друг другом...”	333
“От меня, как от той графини...”	318	“Я подымаю трубку – я называю имя...”	333
“Непогребенных всех – я хоронила их...”	318	“Ещё говорящую трубку...”	334
“Недуг томит три месяца в постели...”	318	“Нет, ни в шахматы, ни в теннис...”	334
Надпись на книге (“Из-под каких развалин говорю...”)	319	“Отпусти меня хоть на минуту...”	334
Скорость	319	“И странный спутник был мне послан адом...”	334
Четыре времени года	319	“Пусть даже вылета мне нет...”	335
“Я давно не верю в телефоны...”	320	“Оставь, и я была как все...”	335
Творчество	320	“...За ландышевый май...”	335
Наследница	321	“Мир не ведал такой нищеты...”	335
“Что нам разлука? – Лихая забава...”	321	“А я иду, где ничего не надо...”	336
“Хвалы эти мне не по чину...”	321	“Глаза безумные твои...”	336
Из набросков	322	“Сколько б другой мне ни выдумал пыток...”	336

“Любовь всех раны станет смертным прахом...”	336
“Мы не встречаться больше научились...”	336
“Уходи опять в ночные чащи...”	337
“Там оперный еще томится Зибелль...”	337
“Как! Только десять лет, ты шутишь, боже мой!..”	337
“И черной музыки безумное лицо...”	337
“И яростным вином блудодеянья...”	337
“Кто его сюда прислал...”	338
“А как музыка зазвучала...”	338
“И в недрах музыки я не нашла ответа...”	338
“...что с кровью рифмуется...”	338
“Не давай мне ничего на память...”	338
“Молитесь на ночь, чтобы вам...”	338

ЭПИЧЕСКИЕ И ДРАМАТИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ

Из пропоэмы	341
Эпические мотивы	341
1. “В то время я гостила на земле...”	341
2. “Покинув рощи родины священной...”	343
3. “Смеркается, и в небе темно-синем...”	344
На Смоленском кладбище	345
Северные элегии	345
<1>. Первая. Предыстория	345
<2>. Вторая	347
<3>. Третья	348
<4>. Четвертая	349

<Дополнения>

<5>. (О десятых годах)	351
<6>. “В том доме было очень страшно жить...”	352
Из пьесы “Пролог”	352
<1>. “Никого нет в мире бесприютней...”	352
<2>. “Будь ты трижды ангелов прелестней...”	353
<3>. “Лаской страшишь, оскорбляешь мольбой...”	353
<4>. “Не бери сама себя за руку...”	354

<Дополнения>

<5>. “Мы запретного вкусили знанья...”	354
<6>. “Оттого, что я делил с тобою...”	356

Поэмы

У самого моря	359
Царскосельская поэма “Русский Трианон”	368
Реквием	371
Путем всея земли (Китежанка)	380
Поэма без героя. <i>Триптих. 1940–1962</i>	385

<Дополнения>

<Строфы, не вошедшие в текст “Поэмы без героя”>

Петербург в 1913 году	416
К “Поэме без героя” (Блуждающая в списке 55 года строфа)	417
“Что бормочешь ты, полночь наша?...”	417
Отрывок (“Чтоб посланец давнего века...”)	417
“И особенно, если снится...”	418
“И уже, заглушая друг друга...”	418
“Институтка, кузина, Джульетта!..”	418

ПРОЗА

Пушкинские штудии

Последняя сказка Пушкина	421
“Сказка о золотом петушке” и “Царь увидел пред собой...”	449
“Адольф” Бенжамена Констана в творчестве Пушкина	459
«Каменный гость» Пушкина	491
Болдинская осень	518
О XV строфе второй главы “Евгения Онегина”	534
Пушкин в 1828 году <Уединенный домик на Васильевском>	543
Пушкин и Невское взморье	558
Две новые повести Пушкина	567
Страницы из книги “Гибель Пушкина”	579
<Две версии>	602

<Пушкин в семейной переписке Карамзиных>	604
<“Моя родословная”>	608
Наталия Николаевна	610
Александрина	615
Выступление на радиомитинге в г. Пушкине 11 июня 1944 года	629
<Пушкин и дети>	630
Слово о Пушкине	632

КОРОТКО О СЕБЕ

ЛЕРМОНТОВ

Все было подвластно ему	634
Заметки на полях	637

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Будка	640
Дом Шухардиной	641
Мнимая биография	644
Дикая девочка	645
Слепнево	648
1910-е годы	650
Город	650
Дальше о городе	652
Из письма к***	654
Из дневника	660
Берёзы	661

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания об Александре Блоке	665
Михаил Лозинский	668
Амедео Модильяни	671

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭТАХ-СОВРЕМЕННИКАХ

<Иннокентий Анненский>	680
<Пастернак>	682
<Мандельштам>	682
<Цветаева>	685

Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север – в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.

Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в “Царскосельскую оду”.

Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили.

Читать я учились по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски.

Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина (“На рождение порfirородного отрока”) и Некрасова (“Мороз, Красный Нос”). Эти вещи знала наизусть моя мама.

Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Ев-

патории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году.

Я поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

В 1910-м (25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в "Taverne de Pantéon" два стола и сказал: "А это ваши социал-демократы, тут — большевики, а там — меньшевики". Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-cullottes), то почти пеленали ноги (jupes-entrevées). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раева. В это время я уже писала стихи, вошедшие потом в мою первую книгу.

Когда мне показали корректуру "Кипарисового ларца" Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете.

В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинавшие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие — в акмеизм. Вместе с моими товарищами по Первому Цеху поэтов — Мандельштамом, Зенкевичем и Нарбутом — я сделалась акмеисткой.

Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.

В 1912 году вышел мой первый сборник стихов — "Вечер". Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно.

Первого октября 1912 года родился мой единственный сын Лев.

В марте 1914 года вышла вторая книга — "Четки". Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе.

Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это не живописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осущенные болота, "воротца", хлеба, хлеба... Там я написала очень многие стихи "Четок" и "Белой стаи". "Белая стая" вышла в сентябре 1917 года.

К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньше успеха, чем "Четки". Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал — книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от "Четок" у "Белой стаи" не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются.

После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов "Подорожник", в 1922 году — книга "Anno Domini".

Примерно с середины 20-х годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы — о "Золотом петушке", об "Адольфе" Бенжамена Констана и о "Каменном госте". Все они в свое время были напечатаны.

Работы "Александрина", "Пушкин и Невское взморье", "Пушкин в 1828 году", которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу "Гибель Пушкина"(...)

Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.

Анна Ахматова

До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в пальящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такая человеческая доброта: в Ташкенте я многое и тяжело болела.

В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.

Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки "Три сирени" и "В гостях у смерти" – последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зощенко. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада (...)

Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила. Перевожу и сейчас.

В 1962 году я закончила "Поэму без героя", которую писала двадцать два года.

Прошлой зимой, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи – побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж.

Я не переставала писать стихи. Для меня в них – связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных.

1965

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЕЧЕР
1912

LA FLEUR DES VIGNES POUSSÉ,
ET J'AI VINGT ANS CE SOIR.

Andre Theuriet¹

I

Любовь

То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует,

То в инее ярком блеснет,
Почудится в дреме левка...
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.

24 ноября 1911
Царское Село

1 Цветок виноградных лоз растет, и мне двадцать лет сегодня вечером.
Андре Тюрье (фр.).

В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

1

По аллее проводят лошадок,
Длинны волны расчесанных грив.
О пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не ската,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово "уйди".

22 февраля 1911

Царское Село

2

...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лицо,
Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.

1911

3

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,

И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

24 сентября 1911
Царское Село

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,
И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек, —

Я вижу всё. Я всё запоминаю,
Любовно-какотко в сердце берегу,
Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно... Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня.

30 ноября 1911
Царское Село

Любовь покоряет обманно
Напевом простым, неискусным.
Еще так недавно-странно
Ты не был седым и грустным.

И когда она улыбалась
В садах твоих, в доме, в поле,

Повсюду тебе казалось,
Что вольный ты и на воле.

Был светел ты, взятый ею
И пивший ее отравы.
Ведь звезды были крупнее,
Ведь пахли иначе травы,
Осенние травы.

*Осень 1911
Царское Село*

Сжала руки под темной вуалью...
“Отчего ты сегодня бледна?”
— Оттого что я терпкой печалью
Напоила его доньяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь.
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: “Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру”.
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: “Не стой на ветру”.

*8 января 1911
Киев*

Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.

В узких каналах уже не струится —
Стынет вода.

Здесь никогда ничего не случится, —
О, никогда!

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет.
Что это? Тьма?
Может быть!.. За ночь прийти успеет
Зима.

*30 января 1911
Киев*

Высоко в небе облачко серело,
Как беличья расстеленная шкурка.
Он мне сказал: “Не жаль, что ваше тело
Растает в марте, хрупкая Снегурка!”

В пушистой муфте руки холодели.
Мне стало страшно, стало как-то смутно.
О, как вернуть вас, быстрые недели
Его любви, воздушной и минутной!

Я не хочу ни горечи, ни мщенья,
Пускай умру с последней белой вы沟ой.
О нем гадала я в канун Крещенья.
Я в январе была его подругой.

*Весна 1911
Царское Село*

Дверь полуоткрыта,
Веют липы сладко...

На столе забыты
Хлыстик и перчатка.

Круг от лампы желтый.
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю...

Радостно и ясно
Завтра будет утро.
Эта жизнь прекрасна,
Сердце, будь же мудро.

Ты совсем устало.
Бьешьсятише, глуш...
Знаешь, я читала,
Что бессмертны души.

17 февраля 1911
Царское Село

Хочешь знать, как всё это было? —
Три в столовой пробило,
И, прощаясь, держась за перила,
Она словно с трудом говорила:
“Это все... Ах нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас любила
Еще тогда!”
— “Да”.

21 октября 1910
Киев

Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: “Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой”.
Я ответила: “Мильй, милый!
И я тоже. Умру с тобой...”

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

29 сентября 1911
Царское Село

Как соломинкой, пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Но я пытку мольбой не нарушу,
О, покой мой многонеделен.

Когда кончишь, скажи. Не печально,
Что души моей нет на свете.
Я пойду дорогой недальней
Посмотреть, как играют дети.

На кустах зацветает крыжовник,
И везут кирпичи за оградой.
Кто ты: брат мой или любовник,
Я не помню, и помнить не надо.

Как светло здесь и как бесприютно,
Отдыхает усталое тело...

А прохожие думают смутно:
Верно, только вчера овдовела.

10 февраля 1911
Царское Село

Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.

Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острей веретена.

О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо.

18–19 марта 1911
Царское Село

Мне больше ног моих не надо,
Пусть превратятся в рыбий хвост!
Плыту, и радостна прохлада,
Белеет тускло дальний мост.

Не надо мне души покорной,
Пусть станет дымом, легок дым,
Взлетев над набережной черной,
Он будет нежно-голубым.

Смотри, как глубоко ныряю,
Держусь за водоросль рукой,

Ничьих я слов не повторяю
И не пленюсь ничьей тоской...

А ты, мой дальний, неужели
Стал бледен и печально-нем?
Что слышу? Целых три недели
Всё шепчешь: “Бедная, зачем?”!

<1911>

II

Обман

М.А. Змунчила

1

Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.

Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне.
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют пестреющие клумбы,
И резкий крик вороны в небе черной,
И в глубине аллеи арка склепа.

2 ноября 1910
Киев

2

Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,

Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло;

Сухо пахнут иммортели
В разметавшейся косе.
На стволе корявой ели
Муравыное шоссе.

Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка...
Кто сегодня мне приснится
В пестрой сетке гамака?

*Январь 1910
Киев*

3

Синий вечер. Ветры кротко стихли,
Яркий свет зовет меня домой.
Я гадаю: кто там? — не жених ли,
Не жених ли это мой?..

На террасе силуэт знакомый,
Еле слышен тихий разговор.
О, такой пленительный истомы
Я не знала до сих пор.

Тополя тревожно прошуршали,
Нежные их посетили сны.
Небо цвета вороненой стали,
Звезды матово-бледны.

Я несу букет левкоев белых.
Для того в них тайный скрыт огонь,
Кто, беря цветы из рук несмелых,
Тронет теплую ладонь.

*Сентябрь 1910
Царское Село*

4

Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Странно немеет тело.

Смолк отдаленный рожок,
В сердце всё те же загадки,
Легкий осенний снежок
Лег на крокетной площадке.

Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
Тому, кто привык веселиться.

Милым простила губам
Я их жестокую шутку...
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.

Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
Роз из оранжереи.

*Август 1910
Царское Село*

Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,

Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного...
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.

1911
Париж

Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвоем сложенным ремнем.
Для тебя в окошке створчатом
Я всю ночь сижу с огнем.

Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
Ах, со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, стоны звонкие!
В сердце темный, душный хмель,
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

Осень 1911

Сердце к сердцу не приковано,
Если хочешь — уходи.
Много счастья уготовано
Тем, кто волен на пути.

Я не плачу, я не жалуюсь,
Мне счастливой не бывать,
Не целуй меня, усталую, —
Смерть придет поцеловать.

Дни томлений острых прожиты
Вместе с белою зимой.
Отчего же, отчего же ты
Лучше, чем избранник мой?

Весна 1911

Песенка

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

Вырываю и бросаю —
Пусть простит меня.
Вижу, девочка босая
Плачет у плетня.

Страшно мне от звонких воплей
Голоса беды,
Всё сильнее запах теплый
Мертвой лебеды.

Будет камень вместо хлеба
Мне наградой злой.
Надо мною только небо,
А со мною голос твой.

11 марта 1911
Царское Село

Я пришла сюда, бездельница,
Всё равно мне, где скучать!
На пригорке дремлет мельница.
Годы можно здесь молчать.

Над засохшей повиликою
Мягко плавает пчела;
У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла.

Затянулся ржавой тиною
Пруд широкий, обмелел,
Над трепещущей осиною
Легкий месяц заблестел.

Замечаю всё как новое.
Влажно пахнут тополя.
Я молчу. Молчу, готовая
Снова стать тобой, земля.

*23 февраля 1911
Царское Село*

Белой ночью

Ах, дверь не запирала я,
Не зажигала свеч,
Не знаешь, как, усталая,
Я не решалась лечь.

Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

И знать, что всё потеряно,
Что жизнь — проклятый ад!

О, я была уверена,
Что ты придешь назад.

*6 февраля 1911
Царское Село*

Под навесом темной риги жарко,
Я смеюсь, а в сердце злобно плачу.
Старый друг бормочет мне: “Не каркай!
Мы ль не встретим на пути удачу!”

Но я другу старому не верю.
Он смешной, незрячий и убогий,
Он всю жизнь свою шагами мерил
Длинные и скучные дороги.

И звенит, звенит мой голос ломкий,
Звонкий голос не узнавших счастья:
“Ах, пусты дорожные котомки,
А на завтра голод и ненастье!”

*24 сентября 1911
Царское Село*

Хорони, хорони меня, ветер!
Родные мои не пришли,
Надо мною блуждающий вечер
И дыханье тихой земли.

Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить.

Закрой эту черную рану
Покровом вечерней тьмы

И вели голубому туману
Надо мною читать псалмы.

Чтобы мне легко, одинокой,
Отойти к последнему сну,
Прошуми высокой осокой
Про весну, про мою весну.

Декабрь 1909
Киев

Ты поверь, не змеиное острое жало,
А тоска мою выпила кровь.
В белом поле я тихо девушки стала,
Птичьим голосом кличу любовь.

И давно мне закрыта дорога иная,
Мой царевич в высоком кремле.
Обману ли его, обману ли? — Не знаю!
Только ложью живу на земле.

Не забыть, как пришел он со мной проститься:
Я не плакала; это судьба.
Ворожу, чтоб царевичу ночью присниться,
Но бессильна моя ворожба.

Оттого ль его сон безмятежен и мирен,
Что я здесь у закрытых ворот,
Иль уже светлоокая, нежная Сирин
Над царевичем песню поет?

<1912>

III

Музе

Муза-сестра заглянула в лицо,
Взгляд ее ясен и ярок.
И отняла золотое кольцо,
Первый весенний подарок.

Муза! ты видишь, как счастливы все —
Девушки, женщины, вдовы...
Лучше погибну на колесе,
Только не эти оковы.

Знаю: гадая, и мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:
“Взор твой не ясен, не ярок...”
Тихо отвечу: “Она отняла
Божий подарок”.

10 октября 1911
Царское Село

<Алиса>

Всё тоскует о забытом,
О своем весеннем сне,

Как Пьеретта о разбитом
Золотистом кувшине...

Все осколочки собрала,
Не умела их сложить...
“Если б ты, Алиса, знала,
Как мне скучно, скучно жить!

Я за ужином зеваю,
Забываю есть и пить,
Ты поверишь, забываю
Даже брови подводить.

О Алиса! дай мне средство,
Чтоб вернуть его опять;
Хочешь, всё <мое> наследство,
Дом и платья можешь взять.

Он приснился <мне> в короне,
Я боюсь моих ночных!
У Алисы в медальоне
Темный локон — знаешь, чей?!

2

“Как поздно! Устала, зеваю...”
— “Миньона, спокойно лежи,
Я рыжий парик завиваю
Для стройной моей госпожи.

Он будет весь в лентах зеленых,
А сбоку жемчужный аграф;
Читала записку: “У клена
Я жду вас, таинственный граф!”

Сумеет под кружевом маски
Лукавая смех заглушить,

Велела мне даже подвязки
Сегодня она надушить”.

Луч утра на черное платье
Скользнул, из окошка упав...
“Он мне открывает объятья
Под кленом, таинственный граф”.

<1912>

Маскарад в парке

Луна освещает карнизы,
Блуждает по гребням реки...
Холодные руки маркизы
Так ароматны-легки.

“О принц! — улыбаясь, присела, —
В кадрили вы наш vis-à-vis”, —¹
И томно под маской бледнела
От жгучих предчувствий любви.

Вход скрыл серебрящийся тополь
И низко спадающий хмель.
“Багдад или Константинополь
Я вам завоюю, ma belle!”²

“Как вы улыбаетесь редко,
Вас страшно, маркиза, обнять!”
Темно и прохладно в беседке.
“Ну что же! пойдем танцевать?”

Выходят. На вязах, на кленах
Цветные дрожат фонари,

¹ Визави (*фр.*).

² Моя красавица! (*фр.*).

Две дамы в одеждах зеленых
С монахами держат пари.

И бледный, с букетом азалий,
Их смехом встречает Пьеро:
“Мой принц! О, не вы ли сломали
На шляпе маркизы перо?”

<1912>

Вечерняя комната

Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе.
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.

И комната, где окна слишком узки,
Хранит любовь и помнит старину,
А над кроватью надпись по-французски
Гласит: “Seigneur, ayez pitié de nous”.¹

Ты сказки давней горестных заметок,
Душа моя, не тронь и не ищи...
Смотрю, блестящих севрских статуэток
Померкли глянцевитые пласти.

Последний луч, и желтый и тяжелый,
Застыл в букете ярких георгин,
И, как во сне, я слышу звук виолы
И редкие аккорды клавесин.

<1912>

¹ “Господь, смилийся над нами” (*фр.*).

Сероглазый король

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был дущен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

“Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой”.

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбуджу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
“Нет на земле твоего короля...”

11 декабря 1910
Царское Село

Рыбак

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.
Едкий, душный запах дегтя,
Как загар, тебе идет.

И всегда, всегда распахнут
Ворот куртки голубой,
И рыбачки только ахнут,
Закрасневшись перед тобой.

Даже девочка, что ходит
В город продавать камсы,
Как потерянная бродит
Вечерами на мысу.

Щеки бледны, руки слабы,
Истомленный взор глубок,
Ноги ей щекочут крабы,
Выползая на песок.

Но она уже не ловит
Их протянутой рукой.
Всё сильней биение крови
В теле, раненном тоской.

23 апреля 1911

Он любил...

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.

9 ноября 1910
Киев

Сегодня мне письма не принесли:
Забыл он написать, или уехал;
Весна как трель серебряного смеха,
Качаются в заливе корабли.
Сегодня мне письма не принесли...

Он был со мной еще совсем недавно,
Такой влюбленный, ласковый и мой,
Но это было белою зимой,
Теперь весна, и грусть весны отравна,
Он был со мной еще совсем недавно...

Я слышу: легкий трепетный смычок,
Как от предсмертной боли, бьется, бьется,
И страшно мне, что сердце разорвется,
Не допишу я этих нежных строк...

<1912>

Надпись на неоконченном портрете

О, не вздыхайте обо мне,
Печаль преступна и напрасна,
Я здесь, на сером полотне,
Возникла странно и неясно.

Взлетевших рук излом больной,
В глазах улыбка исступленья,
Я не могла бы стать иной
Пред горьким часом наслажденья.

Он так хотел, он так велел
Словами мертвыми и злыми.
Мой рот тревожно заалел,
И щеки стали снеговыми.

И нет греха в его вине,
Ушел, глядит в глаза другие,
Но ничего не снится мне
В моей предсмертной летаргии.

<1912>

Сладок запах синих виноградин...
Дразнит опьяняющая даль.
Голос твой и глух и безотраден.
Никого мне, никого не жаль.

Между ягод сети-паутинки,
Гибких лоз стволы еще тонки,
Облака плывут, как льдинки, льдинки
В ярких водах голубой реки.

Солнце в небе. Солнце ярко светит.
Уходи к волне про боль шептать.
О, она наверное ответит,
А быть может, будет целовать.

<1912>

Подражание И. Ф. Анненскому

И с тобой, моей первой причудой,
Я простился. Восток голубел.
Просто молвила: "Я не забуду".
Я не сразу поверил тебе.

Возникают, стираются лица,
Мил сегодня, а завтра далек.
Отчего же на этой странице
Я когда-то загнулся уголок?

И всегда открывается книга
В том же месте. И странно тогда:
Всё как будто с прощального мига
Не прошли невозвратно года.

О, сказавший, что сердце из камня,
Знал наверно: оно из огня...

Никогда не пойму, ты близка мне
Или только любила меня.

1911

Вера Ивановой-Шварталон

Туманом легким парк наполнился,
И вспыхнул на воротах газ.
Мне только взгляд один запомнился
Незнающих, спокойных глаз.

Твоя печаль, для всех неясная,
Мне сразу сделалась близка,
И поняла ты, что отравная
И душная во мне тоска.

Я этот день люблю и праздную,
Приду, как только позовешь.
Меня, и грешную и праздную,
Лишь ты одна не упрекнешь.

Апрель 1911

Я живу, как кукушка в часах,
Не завидую птицам в лесах.
Заведут — и кукую.
Знаешь, долю такую
Лишь врагу
Пожелать я могу.

*7 марта 1911
Царское Село*

Похороны

Я места ищу для могилы.
Не знаешь ли, где светлей?
Так холодно в поле. Унылы
У моря груды камней.

А она привыкла к покою
И любит солнечный свет.
Я келью над ней построю,
Как дом наш на много лет.

Между окнами будет дверца,
Лампадку внутри зажжем,
Как будто темное сердце
Алым горит огнем.

Она бредила, знаешь, больная,
Про иной, про небесный край,
Но сказал монах, укоряя:
“Не для вас, не для грешных рай”.

И тогда, побелев от боли,
Прошептала: “Уйду с тобой”.
Вот одни мы теперь, на воле,
И у ног голубой прибой.

22 сентября 1911

Сад

Он весь сверкает и хрустит,
Обледенелый сад.
Ушедший от меня грустит,
Но нет пути назад.

И солнца бледный тусклый лик –
Лишь круглое окно;
Я тайно знаю, чей двойник
Приник к нему давно.

Здесь мой покой навеки взят
Предчувствием беды,
Сквозь тонкий лед еще сквозят
Вчерашние следы.

Склонился тусклый мертвый лик
К немому сну полей,
И замирает острый крик
Отсталых журавлей.

1911
Царское Село

Над водой

Стройный мальчик пастушок,
Видишь, я в бреду.
Помню плащ и посошок
На свою беду.
Если встану — упаду.
Дудочка поет: ду-ду!

Мы прощались, как во сне,
Я сказала: “Жду”.
Он, смеясь, ответил мне:
“Встретимся в аду”.
Если встану — упаду.
Дудочка поет: ду-ду!

О глубокая вода
В мельничном пруду,

Не от горя, от стыда
Я к тебе приду.
И без крика упаду,
А вдали звучит: ду-ду.

<1911>

Три раза пытать приходила.
Я с криком тоски просыпалась
И видела тонкие руки
И темный насмешливый рот:
“Ты с кем на заре целовалась,
Клялась, что погибнешь в разлуке,
И жгучую радость таила,
Рыдая у черных ворот?
Кого ты на смерть проводила,
Тот скоро, о, скоро умрет”.
Был голос как крик ястребиный,
Но странно на чей-то похожий,
Всё тело мое изгибалось,
Почувствовав смертную дрожь,
И плотная сеть паутины
Упала, окутала ложе...
О, ты не напрасно смеялась,
Моя непрощенная ложь!

16 февраля 1911

Царское Село

<Дополнения>

Молюсь оконному лучу —
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце — пополам.

На рукомойнике моем
Позеленела медь,
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне.

1909

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Подушка уже горяча
С обеих сторон.
Вот и вторая свеча
Гаснет, и крик ворон
Становится всё слышней.
Я эту ночь не спала,
Поздно думать о сне...
Как нестерпимо бела
Штора на белом окне.
Здравствуй!

2

Тот же голос, тот же взгляд,
Те же волосы льняные.
Всё, как год тому назад.
Сквозь стекло лучи дневные
Известь белых стен пестрят...
Свежих лилий аромат,
И слова твои простые.

1909

Читая "Гамлете"

1

У кладбища направо пылил пустырь,
 А за ним голубела река.
 Ты сказал мне: "Ну что ж, иди в монастырь
 Или замуж за дурака..."
 Принцы только такое всегда говорят,
 Но я эту запомнила речь.
 Пусть струится она сто веков подряд
 Горностаевой мантией с плеч.

1909

Киев

2

И как будто по ошибке
 Я сказала: "Ты..."
 Озарила тень улыбки
 Милые черты.

От подобных оговорок
 Всякий вспыхнет взор...
 Я люблю тебя, как сорок
 Ласковых сестер.

1909

И когда друг друга проклинали
 В страсти, раскаленной добела,
 Оба мы еще не понимали,
 Как земля для двух людей мала,
 И что память яростная мучит,
 Пытка сильных — огненный недуг!
 И в ночи бездонной сердце учит
 Спрашивать: о, где ушедший друг?
 А когда сквозь волны фимиама

Хор гремит, ликуя и грозя,
 Смотрят в душу строго и упрямо
 Те же неизбежные глаза.

1909

Первое возвращение

На землю саван тягостный возложен,
 Торжественно гудят колокола,
 И снова дух смятен и потревожен
 Истомной скукой Царского Села.
 Пять лет прошло. Здесь всё мертвое и немо,
 Как будто мира наступил конец.
 Как навсегда исчерпанная тема,
 В смертельном сне покоится дворец.

1910

Я и плакала и каялась,
 Хоть бы с неба грянул гром!
 Сердце темное измаялось
 В нежилом дому твоем.
 Боль я знаю нестерпимую,
 Стыд обратного пути...
 Страшно, страшно к нелюбимому,
 Страшно к тихому войти.
 А склонюсь к нему, нарядная,
 Ожерельями звеня, —
 Только спросит: "Ненаглядная!
 Где молилась за меня?"

1911

Меня покинул в новолуние
 Мой друг любимый. Ну так что ж!

Шутил: "Канатная плясунья!
Как ты до мая доживешь?"

Ему ответила, как брату,
Я, не ревнуя, не ропща,
Но не заменят мне утрату
Четыре новые плаща.

Пусть страшен путь мой, пусть опасен,
Еще страшнее путь тоски...
Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки!

Оркестр веселое играет,
И улыбаются уста.
Но сердце знает, сердце знает,
Что ложа пятая пуста!

*Ноябрь 1911
Царское Село*

Мурка, не ходи, там сыр
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычъ,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?

1911 (?)

Ч Е Т К И
1914

Прости ж навек! но знай,
что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях
любовных.

Баратынский

I

Смятение

1

Было душно от жгучего света,
А взгляды его — как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Наклонился — он что-то скажет...
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.

2

Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.

Как велит простая уchtivость,
Подошел ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся –
И загадочных, древних ликов
На меня поглядели очи...

Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его – напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто и ясно.

1913

Прогулка

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.

Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский лес.

Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой...
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

Май 1913

Вечером

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: “Я верный друг!” –
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных,
Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
“Благослови же небеса –
Ты первый раз одна с любимым”.

Март 1913

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки.
Что там – изморозь или гроза?

На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

1 января 1913

После ветра и мороза было
Любо мне погреться у огня.
Там за сердцем я не уследила,
И его украли у меня.

Новогодний праздник длится пышно,
Влажны стебли новогодних роз,
А в груди моей уже не слышно
Трепетания стрекоз.

Ах, не трудно угадать мне вора,
Я его узнала по глазам.
Только страшно так, что скоро, скоро
Он вернет свою добычу сам.

Январь 1914

...И на ступеньки встретить
Не вышли с фонарем.
В неверном лунном свете
Вошла я в тихий дом.

Под лампою зеленою,
С улыбкой неживой,
Друг шепчет: "Сандрильона!
Как странен голос твой!"

В камине гаснет пламя,
Томя, трещит сверчок.
Ах! кто-то взял на память
Мой белый башмачок

И дал мне три гвоздики,
Не подымая глаз.
О милые улики,
Куда мне спрятать вас?

И сердцу горько верить,
Что близок, близок срок,
Что всем он станет мерить
Мой белый башмачок.

1913

Безвольно пощады просят
Глаза. Что мне делать с ними,
Когда при мне произносят
Короткое, звонкое имя?

Иду по тропинке в поле,
Вдоль серых сложенных бревен.
Здесь легкий ветер на воле
По-весеннему свеж, неровен.

И томное сердце слышит
Тайную весть о дальнем.
Я знаю: он жив, он дышит,
Он смеет быть не печальным.

1912

Царское Село

Покорно мне воображенье
В изображенъи серых глаз.

В моем тверском уединенье
Я горько вспоминаю вас.

Прекрасных рук счастливый пленник,
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели вы,

Вы, приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но всё сильней скучает кровь.

И если я умру, то кто же
Мои стихи напишет вам,
Кто стать звенищими поможет
Еще не сказанным словам?

*Июль 1913
Слепнево*

Отрывок

...И кто-то, во мраке дерев незримый,
Зашуршал опавшей листвой
И крикнул: "Что сделал с тобой любимый,
Что сделал любимый твой!"

Словно тронуты черной, густою тушью
Тяжелые веки твои.
Он предал тебя тоске и удушью
Отравительницы любви.

Ты давно перестала считать уколы —
Грудь мертва под острой иглой.
И напрасно стараешься быть веселой —
Легче в гроб тебе лечь живой!.."

Я сказала обидчику: "Хитрый, черный,
Верно, нет у тебя стыда.
Он тихий, он нежный, он мне покорный,
Влюбленный в меня навсегда!"

1912

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.
И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои!

*Декабрь 1913
Царское Село*

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.

Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга,
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.

Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет

Коснуться ни забвение, ни страх...
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы!

1913

У меня есть улыбка одна:
Так, движенье чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу —
Ведь она мне любовью дана.

Всё равно, что ты наглый и злой,
Всё равно, что ты любишь других.
Предо мной золотой аналой,
И со мной сероглазый жених.

1913

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану — Христос помоги! —
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

1913

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! —

Затем что воздух был совсем не наш,
А как подарок божий — так чудесен.
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.

Январь 1914

Здравствуй! Легкий шелест слышишь
Справа от стола?
Этих строчек не допишешь —
Я к тебе пришла.
Неужели ты обидишь
Так, как в прошлый раз, —
Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.
У тебя светло и просто.
Не гони меня туда,
Где под душным сводом моста
Стынет грязная вода.

Октябрь 1913

II

Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме.
У грядок груды овощей
Лежат, пестры, на черноземе.

Еще струится холодок,
Но с парников снята рогожа.
Там есть прудок, такой прудок,
Где тина на парчу похожа.

А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взъярившись и тихо,
Что там живет большой карась
И с ним большая карасиха.

1913

Каждый день по-новому тревожен,
Всё сильнее запах спелой ржи.
Если ты к ногам моим положен,
Ласковый, лежи.

Иволги кричат в широких кленах,
Их ничем до ночи не унять.
Любо мне от глаз твоих зеленых
Ос веселых отгонять.

На дороге бубенец зазвякал —
Памятен нам этот легкий звук.
Я спою тебе, чтоб ты не плакал,
Песенку о вечере разлук.

1913

СТИХОТВОРЕНИЯ

Мальчик сказал мне: "Как это больно!"
И мальчика очень жаль...
Еще так недавно он был довольным
И только слыхал про печаль.

А теперь он знает всё не хуже
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже
Зрачки ослепительных глаз.

Я знаю: он с болью своей не сладит,
С горькой болью первой любви.
Как беспомощно, жадно и жарко гладит
Холодные руки мои.

Октябрь 1913

Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь...
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть —

За розы с площадки круглой,
За глупые письма твои,
За то, что, дерзкий и смуглый,
Мутно бледнел от любви.

Я думала: ты нарочно —
Как взрослые хочешь быть.
Я думала: томно-порочных
Нельзя, как невест, любить.

Но всё оказалось напрасно.
Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда,

Как будто копил приметы
Моей нелюбви. Прости!
Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?

И смерть к тебе руки простерла...
Скажи, что было потом?
Я не знала, как хрупко горло
Под синим воротником.

Прости меня, мальчик веселый,
Совенок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

Ноябрь 1913

M. Лозинскому

Он длится без конца — янтарный, тяжкий день!
Как невозможна грусть, как тщетно ожиданье!
И снова голосом серебряным олень
В зверинце говорит о северном сиянье.
И я поверила, что есть прохладный снег,
И синяя купель для тех, кто нищ и болен,
И санок маленьких такой неверный бег
Под звоны древние далеких колоколен.

1913

Голос памяти

O. A. Глебовой-Судейкиной

Что ты видишь, тускло на стену смотря,
В час, когда на небе поздняя заря?

Чайку ли на синей скатерти воды,
Или флорентийские сады?

Или парк огромный Царского Села,
Где тебе тревога путь пересекла?

Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен?

Нет, я вижу стену только — и на ней
Отсветы небесных гаснущих огней.

*18 июня 1913
Слепнево*

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишину
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

1912

Здесь всё то же, то же, что и прежде,
Здесь напрасным кажется мечтать.
В доме у дороги непроезжей
Надо рано ставни запирать.

Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном.
В нем кого-то вынули из петли
И брали мертвого потом.

Был он грустен или тайно весел,
Только смерть – большое торжество.
На истертом красном плюше кресел
Изредка мелькает тень его.

И часы с кукушкой ночи рады,
Всё слышней их четкий разговор.
В щелочку смотрю я: конокрады
Зажигают под холмом костер.

И, пророча близкое ненастье,
Низко, низко стелется дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.

Май 1912

Бессонница

Где-то кошки жалобно мяукают,
Звук шагов я издали ловлю...
Хорошо твои слова баюкают:
Третий месяц я от них не сплю.

Ты опять, опять со мной, бессонница!
Неподвижный лик твой узнаю.

Что, красавица, что, беззаконница?
Разве плохо я тебе пою?

Окна тканью белою завешены,
Полумрак струится голубой...
Или дальней вестью мы утешены?
Отчего мне так легко с тобой?

Зима 1912
Царское Село

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти господа моля.
Но всё мне памятна до боли
Тверская скучная земля.

Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра slab,
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.

Осень 1913

Углем наметил на левом боку
Место, куда стрелять,
Чтоб выпустить птицу – мою тоску
В пустынную ночь опять.

Милый! не дрогнет твоя рука,
И мне недолго терпеть.
Вылетит птица – моя тоска,
Сядет на ветку и станет петь.

Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,
Раскрывши окно, сказал:
“Голос знакомый, а слов не пойму”, —
И опустил глаза.

31 января 1914
Петербург

III

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?

Май 1912
Флоренция

Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть.

Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской девчонкой,
Туфли на босу ногу надеть,
И закладывать косы коронкой,
И взволнованным голосом петь.

Всё глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца.

Осень 1913

Плотно сомкнуты губы сухие.
Жарко пламя трех тысяч свечей.
Так лежала княжна Евдокия
На душистой сапфирной парче.

И, согнувшись, бесслезно молилась
Ей о слепеньком мальчике мать,
И кликуша без голоса билась,
Воздух силясь губами поймать.

А пришедший из южного края
Черноглазый, горбатый старик,
Словно к двери небесного рая,
К потемневшей ступеньке приник.

Осень 1913

Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печали в пути.
Как же мне душу скучную
Богатой Тебе принести?

Долгую песню, льстивая,
О славе поет судьба.
Господи! я нерадивая,
Твоя скучая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца.
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.

19 декабря 1912

8 ноября 1913

Солнце комнату наполнило
Пылью желтой и сквозной.
Я проснулась и припомнила:
Милый, нынче праздник твой.
Оттого и оснеженная
Даль за окнами тепла,
Оттого и я, бессонная,
Как причастница спала.

* * *

Ты пришел меня утешить, милый,
Самый нежный, самый кроткий...
От подушки приподняться нету силы,
А на окнах частые решетки.

Мертвый, думал, ты меня застанешь,
И принес веночек неискусный.
Как улыбкой сердце больно ранишь
Ласковый, насмешливый и грустный.

Что теперь мне смертное томленье!
Если ты еще со мной побудешь,

Я у бога вымолю прощенье
И тебе, и всем, кого ты любишь.

Май 1913
Петербург

Умирая, томлюсь о бессмертии.
Низко облако пыльной мглы...
Пусть хоть голые красные черти,
Пусть хоть чан зловонной смолы.

Приползайте ко мне, лукавьте,
Угрозы из ветхих книг,
Только память вы мне оставьте,
Только память в последний миг.

Чтоб в томительной веренице
Не чужим показался ты,
Я готова платить сторицей
За улыбки и за мечты.

Смертный час, наклоняясь, напоит
Прозрачною слемой.
А люди придут, зароют
Мое тело и голос мой.

1912
Царское Село

Ты письмо моё, милый, не комкай.
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.

Не гляди так, не хмурься гневно,
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я —

В этом сером будничном платье,
На стоптанных каблуках...
Но, как прежде, жгуче объялье,
Тот же страх в огромных глазах.

Ты письмо мое, милый, не комкай,
Не плачь о заветной лжи.
Ты его в твоей бедной котомке
На самое дно положи.

1912
Царское Село

Исповедь

Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.

Не тот ли голос: “Дева! встань...”
Удары сердца чаще, чаще.
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.

1911
Царское Село

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.

Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.

А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.

1912
Царское Село

Со дня Купальницы-Аграфены
Малиновый платок хранит.
Молчит, а ликует, как царь Давид.
В морозной келье белы стены,
И с ним никто не говорит.

Приду и стану на порог,
Скажу: “Отдай мне мой платок!”

Осень 1913
Царское Село

Я с тобой не стану пить вино,
Оттого что ты мальчишка озорной.
Знаю я — у вас заведено
С кем понадо целоваться под луной.

А у нас — тишь да гладь,
Божья благодать.

А у нас — светлых глаз
Нет приказу подымать.

Декабрь 1913

Вечерние часы перед столом,
Непоправимо белая страница,
Мимоза пахнет Ниццей и теплом,
Влуче луны летит большая птица.

И, тugo косы на ночь заплетя,
Как будто завтра нужны будут косы,
В окно гляжу я, больше не грустя,
На море, на песчаные откосы.

Какую власть имеет человек,
Который даже нежности не просит!
Я не могу поднять усталых век,
Когда мое имя произносит.

Лето 1913

IV

Как вплелась в мои темные косы
Серебристая нежная прядь, —
Только ты, соловей безголосый,
Эту муку сумеешь понять.

Чутким слухом далекое слышишь
И на тонкие ветки ракит,
Весь нахохлившись, смотришь — не дышишь,
Если песня чужая звучит.

А еще так недавно, недавно
Замирала вокруг тополя,
И звенела и пела отравно
Несказанная радость твоя.

1912

“Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра.

Поседели твои волосы. Глаза
Замутила, затуманила слеза.

Ты уже не понимаешь пеня птиц,
Ты ни звезд не замечаешь, ни зарниц.

И давно удары бубна не слышины,
А я знаю, ты боишься тишины.

Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра”.

“Ты пришла меня похоронить.
Где же заступ твой, где лопата?
Только флейта в руках твоих.
Я не буду тебя винить,
Разве жаль, что давно, когда-то,
Навсегда мой голос затих.

Мои одежды надень,
Позабудь о моей тревоге,
Дай ветру кудрями играть.
Ты пахнешь, как пахнет сирень,
А пришла по трудной дороге,
Чтобы здесь озаренной стать”.

И одна ушла, уступая,
Уступая место другой.
И неверно брела, как слепая,
Незнакомой узкой тропой.
И всё чудилось ей, что пламя
Близко... бубен держит рука.

И она, как белое знамя,
И она, как свет маяка.

*24 октября 1912
Царское Село*

Стихи о ПЕТЕРБУРГЕ

1

Вновь Исакий в облачены
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно,
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытым веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес, —

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий —
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —

Стихотворения

Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

1913

Знаю, знаю — снова лыжи
Сухо заскрипят.
В синем небе месяц рыжий,
Луг так сладостно покат.

Во дворце горят окошки,
Тишиной удалены.
Ни тропинки, ни дорожки,
Только проруби темны.

Ива, дерево русалок,
Не мешай мне на пути!
В снежных ветках черных галок,
Черных галок приюти.

Октябрь 1913
Царское Село

Венеция

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленою;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Столько нежных, странных лиц в толпе,
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...

Но не тесно в этой тесноте,
И не душно в сырости и зное.

Август 1912

Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.

От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.

И у окна белеют пяльцы...
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.

А сердцу стало страшно биться,
Такая в нем теперь тоска...
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.

1912

Гость

Всё, как раньше: в окна столовой
Бьется мелкий метельный снег,
И сама я не стала новой,
А ко мне приходил человек.

Я спросила: "Чего ты хочешь?"
Он сказал: "Быть с тобой в аду".

Я смеялась: "Ах, напророчишь
Нам обоим, пожалуй, беду".

Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
"Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты".

И глаза, глядевшие тускло,
Не сводил с моего кольца.
Ни один не двинулся мускул
Просветленно-злого лица.

О, я знаю: его отрада —
Напряженно и страстно знать,
Что ему ничего не надо,
Что мне не в чем ему отказать.

1 января 1914

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Январь 1914

<Дополнения>

Проводила друга до передней,
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово —
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.

1913
Царское Село

Простишь ли мне эти ноябрьские дни?
В каналах приневских дрожат огни.
Трагической осени скучны убранства.

Ноябрь 1913
Петербург

Я не любви твоей прошу.
Она теперь в надежном месте.
Поверь, что я твоей невесте
Ревнивых писем не пишу.
Но мудрые прими советы:
Дай ей читать мои стихи,
Дай ей хранить мои портреты, —

Ведь так любезны женихи!
А этим дурочкам нужней
Сознанье полное победы,
Чем дружбы светлые беседы
И память первых нежных дней...
Когда же счаствия гроши
Ты проживешь с подругой милой
И для пресыщенной души
Всё станет сразу так постыло —
В мою торжественную ночь
Не приходи. Тебя не знаю.
И чем могла б тебе помочь?
От счастья я не исцеляю.

1914

“Горят твои ладони,
В ушах пасхальный звон,
Ты, как святой Антоний,
Виденьем искушен”.

“Зачем во дни святые
Ворвался день один,
Как волосы густые
Безумных Магдалин”.

“Так любят только дети
И то лишь первый раз”.
— “Сильней всего на свете
Лучи спокойных глаз”.

“То дьявольские сети,
Нечистая тоска”.
— “Белей всего на свете
Была ее рука”.

1915
Царское Село

А Н Н А А Х М А Т О В А

Будешь жить, не зная лиха,
Править и судить,
Со своей подругой тихой
Сыновей растить.

И во всем тебе удача,
Ото всех почет,
Ты не знай, что я от плача
Дням теряю счет.

Много нас таких бездомных,
Сила наша в том,
Что для нас, слепых и темных,
Светел божий дом,

И для нас, склоненных долу,
Алтари горят,
Наши к божьему престолу
Голоса летят.

1915

Б Е Л А Й С Т А Й

1917

Горю и ночью дорога светла.

Анненский

I

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

1915

Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.
И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,
А я товаром редкостным торгую —
Твою любовь и нежность продаю.

1913

Царское Село

Уединение

Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
Истройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Строителей ее благодарю,
Пусть их забота и печаль минует.
Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует.
И часто в окна комнаты моей
Влетают ветры северных морей,
И голубь ест из рук моих пшеницу...
А не дописанную мной страницу,
Божественно спокойна и легка,
Допишет Музы смуглая рука.

6 июня 1914

Слепнево

Песня о песне

Она сначала обожжет,
Как ветерок студеный,
А после в сердце упадет
Одной слезой соленой.

И злому сердцу станет жаль
Чего-то. Грустно будет.
Но эту легкую печаль
Оно не позабудет.

Я только сею. Собирать
Придут другие. Что же!
И жнищ ликующую рать
Благослови, о боже!

А чтоб тебя благодарить
Я смела совершенней,
Позволь мне миру подарить
То, что любви нетленней.

1916

Слепнево

Слаб голос мой, но воля не слабеет,
Мне даже легче стало без любви.
Высоко небо, горный ветер веет,
И непорочны помыслы мои.

Ушла к другим бессонница-сиделка,
Я не томлюсь над серою золой,
И башенных часов кривая стрелка
Смертельной мне не кажется стрелой.

Как прошлое над сердцем власть теряет!
Освобожденье близко. Всё прощу,
Следя, как луч взбегает и сбегает
По влажному весеннему плющу.

Весна 1912

Был он ревнивым, тревожным и нежным,
Как божье солнце, меня любил,
А чтобы она не запела о прежнем,
Он белую птицу мою убил.

Промолвил, войдя на закате в светлицу:
“Люби меня, смейся, пиши стихи!”
И я закопала веселую птицу
За круглым колодцем у старой ольхи.

Ему обещала, что плакать не буду,
Но каменным сделалось сердце мое,

И кажется мне, что всегда и повсюду
Услышу я сладостный голос ее.

Осень 1914

Тяжела ты, любовная память!
Мне в дыму твоем петь и гореть,
А другим – это только пламя,
Чтоб остывшую душу греть.

Чтобы греть пресыщенное тело,
Им надобны слезы мои...
Для того ль я, господи, пела,
Для того ль причастилась любви!

Дай мне выпить такой отравы,
Чтобы сделалась я немой,
И мою бесславную славу
Осиянным забвением смой.

*18 июля 1914
Слепнево*

Потускнел на небе синий лак,
И слышнее песня окаринь.
Это только дудочка из глины,
Не на что ей жаловаться так.
Кто ей рассказал мои грехи
И зачем она меня прощает?..
Или этот голос повторяет
Мне твои последние стихи?

1912

B. C. Срезневской

Вместо мудрости – опытность, пресное,
Неутоляющее питье.

А юность была – как молитва воскресная...
Мне ли забыть ее?

Столько дорог пустынных исхожено
С тем, кто мне не был мил,
Столько поклонов в церквях положено
За того, кто меня любил...

Стала забывчивей всех забывчивых,
Тихо плывут года.
Губ нецелованных, глаз неулыбчивых
Мне не вернуть никогда.

1914

А! Это снова ты. Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным
Ты в этот дом вошел и на меня глядишь.
Страшна моей душе предгрозовая тиши.
Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою,
Врученным мне навек любовью и судьбою.
Я предала тебя. И это повторять –
О, если бы ты мог когда-нибудь устать!
Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа,
Так ангел смерти ждет у рокового ложа.
Прости меня теперь. Учил прощать господь.
В недуге горестном моя томится плоть,
А вольный дух уже починает безмятежно.
Я помню только сад, сквозной, осенний, нежный,
И крики журавлей, и черные поля...
О, как была с тобой мне сладостна земля!

*Июль 1916
Слепнево*

Музя ушла по дороге
Осенней, узкой, крутой,

И были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой.

Я долго ее просила
Зимы со мной подождать.
Но сказала: “Ведь здесь могила,
Как ты можешь еще дышать?”

Я голубку ей дать хотела,
Ту, что всех в голубятне белей,
Но птица сама полетела
За стройной гостью моей.

Я, глядя ей вслед, молчала,
Я любила ее одну,
А в небе заря стояла,
Как ворота в ее страну.

15 декабря 1915
Царское Село

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.

Апрель 1915
Царское Село

M. Лозинскому

Они летят, они еще в дороге,
Слова освобожденья и любви,

А я уже в предпесенной тревоге,
И холоднее льда уста мои.

Но скоро там, где жидкие березы,
Прильнувши к окнам, сухо шелестят, —
Венцом червонным заплетутся розы
И голоса незримых прозвучат.

А дальше — свет невыносимо щедрый,
Как красное горячее вино...
Уже душистым, раскаленным ветром
Сознание мое опалено.

Лето 1916
Слепнево

О, это был прохладный день
В чудесном городе Петровом!
Лежал закат костром багровым,
И медленно густела тень.

Пусть он не хочет глаз моих,
Пророческих и неизменных,
Всю жизнь ловить он будет стих,
Молитву губ моих надменных.

Зима 1913

Я так молилась: “Утоли
Глухую жажду песнопенья!”
Но нет земному от земли
И не было освобожденья.

Как дым от жертвы, что не мог
Взлететь к престолу сил и славы,
А только стелется у ног,
Молитвенно целуя травы, —

Так я, господь, простерта ниц;
 Коснется ли огонь небесный
 Моих сомкнувшихся ресниц
 И немоты моей чудесной?

1913

Н. В. Н.

Есть в близости людей заветная черта,
 Ее не перейти влюблениности и страсти, —
 Пусть в жуткой тишине сливаются уста
 И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года
 Высокого и огненного счастья,
 Когда душа свободна и чужда
 Медлительной истоме сладостраствия.

Стремящиеся к ней безумны, а ее
 Достигшие — поражены тоскою...
 Теперь ты понял, отчего мое
 Не бьется сердце под твоей рукою.

Май 1915
 Петербург

Всё отнято: и сила, и любовь.
 В немилый город брошенное тело
 Не радо солнцу. Чувствую, что кровь
 Во мне уже совсем похолодела.

Веселой Музы нрав не узнаю:
 Она глядит и слова не проронит,
 А голову в веночке темном клонит,
 Изнеможенная, на грудь мою.

Стихотворения

И только совесть с каждым днем страшней
 Беснуется: великой хочет дани.
 Закрыв лицо, я отвечала ей...
 Но больше нет ни слез, ни оправданий.

Осень 1916
 Севастополь

Нам свежесть слов и чувства простоту
 Терять не то ль, что живописцу — зренье,
 Или актеру — голос и движенье,
 А женщине прекрасной — красоту?

Но не пытайся для себя хранить
 Тебе дарованное небесами:
 Осуждены — и это знаем сами —
 Мы расточать, а не копить.

Иди один и исцеляй слепых,
 Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
 Учеников злорадное глумленье
 И равнодущие толпы.

23 июня 1915
 Слепнево

Ответ

В. А. Комаровскому

Какие странные слова
 Принес мне тихий день апреля.
 Ты знал, во мне еще жива
 Страстная страшная неделя.

Я не слыхала звонов тех,
 Что плавали в лазури чистой.

Семь дней звучал то медный смех,
То плач струился серебристый.

А я, закрыв лицо мое,
Как перед вечною разлукой,
Лежала и ждала ее,
Еще не названную мукой.

*Весна 1914
Царское Село*

Был блаженной моей колыбелью
Темный город у грозной реки
И торжественной брачной постелью,
Над которой держали венки
Молодые твои серафимы, —
Город, горькой любовью любимый.

Солеёю молений моих
Был ты, строгий, спокойный, туманный.
Там впервые предстал мне жених,
Указавши мой путь осиянный,
И печальная Муза моя,
Как слепую, водила меня.

1914

II

9 декабря 1913 года

Самые темные дни в году
Светлыми стать должны.

104

Я для сравнения слов не найду —
Так твои губы нежны.

Только глаза подымать не смей,
Жизнь мою храня.
Первых фиалок они светлей,
А смертельный для меня.

Вот поняла, что не надо слов,
Оснеженные ветки легки...
Сети уже разостлал птицелов
На берегу реки.

<1915>

Как ты можешь смотреть на Неву,
Как ты можешь всходить на мосты?..
Я недаром печальной сlyву
С той поры, как привиделся ты.
Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры,
Словно розы, в снегу растут.

1914

Под крышей промерзшей пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья апостолов я,
Слова псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пущист,
И каждая встреча чудесней, —
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.

Зима 1915

105

H. B. H.

Целый год ты со мной неразлучен,
А как прежде и весел и юн!
Неужели же ты не измучен
Смутной песней затравленных струн, —

Тех, что прежде, тугие, звенели,
А теперь только стонут слегка,
И моя их терзает без цели
Восковая, сухая рука...

Верно, мало для счаствия надо
Тем, кто нежен и любит светло,
Что ни ревность, ни гнев, ни досада
Молодое не тронут чело.

Тихий, тихий, и ласки не просит,
Только долго глядит на меня
И с улыбкой блаженной выносит
Страшный бред моего забытья.

Весна 1915
Слепнево

Киев

Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.

Липы шумные и вязы
По садам темны,
Звезд иглистые алмазы
К богу взнесены.

Путь мой жертвенный и славный
Здесь окончу я,
И со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.

Лето 1914

Еще весна таинственная млела,
Блуждал прозрачный ветер по горам,
И озеро глубокое синело —
Крестителя нерукотворный храм.

Ты был испуган нашей первой встречей,
А я уже молилась о второй.
И вот сегодня снова жаркий вечер, —
Как низко солнце стало над горой...

Ты не со мной, но это не разлука:
Мне каждый миг — торжественная весть.
Я знаю, что в тебе такая мука,
Что ты не можешь слова произнесть.

Весна 1917
Петербург

Разлука

Вечерний и наклонный
Передо мною путь.
Вчера еще, влюбленный,
Молил: “Не позабудь”.
А нынче только ветры
Да крики пастухов,
Взволнованные кедры
У чистых родников.

Весна 1914
Петербург

Чернеет дорога приморского сада,
Желты и свежи фонари.
Я очень спокойная. Только не надо
Со мною о нем говорить.
Ты милый и верный, мы будем друзьями.
Гулять, целоваться, стареть...
И легкие месяцы будут над нами,
Как снежные звезды, лететь.

Март 1914

Не в лесу мы, довольно аукать, —
Я насмешек таких не люблю...
Что же ты не приходишь баюкать
Уязвленную совесть мою?

У тебя заботы другие,
У тебя другая жена...
И глядит мне в глаза сухие
Петербургская весна.

Трудным кашлем, вечерним жаром
Наградит по заслугам, убьет.
На Неве под млеющим паром
Начинается ледоход.

Весна 1914

Господь немилостив к жнецам и садоводам.
Звеня, косье падают дожди
И прежде небо отражавшим водам
Пестрят широкие плащи.

В подводном царстве и луга, и нивы,
А струи вольные поют, поют,
На взбухших ветках лопаются сливы,
И травы легшие гниют.

И сквозь густую водяную сетку
Я вижу милое твое лицо,
Притихший парк, китайскую беседку
И дома круглое крыльцо.

Лето 1915
Царское Село

Всё обещало мне его:
Край неба, тусклый и червонный,
И милый сон под Рождество,
И Пасхи ветер многозвонный,

И прутья красные лозы,
И парковые водопады,
И две большие стрекозы
На ржавом чугуне ограды.

И я не верить не могла,
Что будет дружен он со мною,
Когда по горным склонам шла
Горячей каменной тропою.

Осень 1916
Севастополь

Как невеста, получаю
Каждый вечер по письму,
Поздно ночью отвечаю
Другу моему.

“Я гошу у смерти белой
По дороге в тьму.
Зла, мой ласковый, не делай
В мире никому”.

И стоит звезда большая
Между двух стволов,
Так спокойно обещая
Исполненье снов.

Октябрь 1915
Хювинкля

Божий ангел, зимним утром
Тайно обручивший нас,
С нашей жизни беспечальной
Глаз не сводит потемневших.

Оттого мы любим небо,
Тонкий воздух, свежий ветер
И чернеющие ветки
За оградою чугунной.

Оттого мы любим строгий,
Многоводный, темный город,
И разлуки наши любим,
И часы недолгих встреч.

Зима 1914

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь, —

Но ни на что не променяю пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

23 июня 1915
Слепнево

Подошла. Я волненья не выдал,
Равнодушно глядя в окно.
Села, словно фарфоровый идол,
В позе, выбранной ею давно.

Быть веселой — привычное дело,
Быть внимательной — это трудней...
Или томная лень одолела
После мартовских пряных ночей?

Утомительный гул разговоров,
Желтой люстры безжизненный зной,
И мельканье искусствых проборов
Над приподнятой легкой рукой.

Улыбнулся опять собеседник
И с надеждой глядит на нее...
Мой счастливый, богатый наследник,
Ты прочти завещанье мое.

1914

Побег

О. А. Кузьминой-Караваевой

“Нам бы только до взморья добраться,
Дорогая моя!” — “Молчи...”

И по лестнице стали спускаться,
Задыхаясь, искали ключи.

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино,
Мимо белых колонн Сената
Туда, где темно, темно.

“Что ты делаешь, ты безумный!”
— “Нет, я только тебя люблю!
Этот ветер — широкий и шумный,
Будет весело кораблю!”

Горло тесно ужасом сжато,
Нас в потемках принял челнок...
Крепкий запах морского каната
Задрожавшие ноздри обжег.

“Скажи, ты знаешь наверно:
Я не сплю? Так бывает во сне...”
Только весла плескались мерно
По тяжелой невской волне.

А черное небо светало,
Нас окликнул кто-то с моста,
Я руками обеими сжала
На груди цепочку креста.

Обессиленную, на руках ты,
Словно девочку, внес меня,
Чтоб на палубе белой яхты
Встретить свет нетленного дня.

Июнь 1914

О тебе вспоминаю я редко
И твоей не пленяюсь судьбой,

Но с души не стирается метка
Незначительной встречи с тобой.

Красный дом твой нарочно миную,
Красный дом твой над мутной рекой,
Но я знаю, что горько волную
Твой пронизанный солнцем покой.

Пусть не ты над моими устами
Наклонялся, моля о любви,
Пусть не ты золотыми стихами
Обессмертил томленья мои, —

Я над будущим тайно колдую,
Если вечер совсем голубой
И предчувствую встречу вторую,
Неизбежную встречу с тобой.

1913

Царскосельская статуя

H. B. H.

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины.

И, ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой...
Играли на ее плечах
Лучи скучающего света.

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.

Осень 1916

Вновь подарен мне дремотой
Наш последний звездный рай —
Город чистых водометов,
Золотой Бахчисарай.

Там, за пестрою оградой,
У задумчивой воды,
Вспоминали мы с отрадой
Царскосельские сады,

И орла Екатерины
Вдруг узнали — это тот!
Он слетел на дно долины
С пышных бронзовых ворот.

Чтобы песнь прощальной боли
Дольше в памяти жила,
Осень смуглая в подоле
Красных листвьев принесла

И посыпала ступени,
Где прощалась я с тобой
И откуда в царство тени
Ты ушел, утешный мой!

Осень 1916
Севастополь

Всё мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь,
Не живешь, а ликуешь и бредишь,
Иль совсем по-иному живешь.

Поздней осенью свежий и колкий
Бродит ветер, безлюдно рад.
В белом инее черные елки
На подтаявшем снеге стоят.

И, исполненный жгучего бреда,
Милый голос как песня звучит,
И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

1915
Царское Село

Бессмертник сух и розов. Облака
На свежем небе вылеплены грубо.
Единственного в этом парке дуба
Листва еще бесцветна и тонка.

Лучи зари до полночи горят.
Как хорошо в моем затворе тесном!
О самом нежном, о всегда чудесном
Со мной сегодня птицы говорят.

Я счастлива. Но мне всего милей
Лесная и пологая дорога,

Убогий мост, скривившийся немножко,
И то, что ждать осталось мало дней.

*Лето 1916
Слепнево*

III

Майский снег

Прозрачная ложится пелена
На свежий дерн и незаметно тает.
Жестокая, студеная весна
Налившиеся почки убивает.
И ранней смерти так ужасен вид,
Что не могу на божий мир глядеть я.
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетья.

*Май 1916
Слепнево*

Зачем притворяешься ты
То ветром, то камнем, то птицей?
Зачем улыбаешься ты
Мне с неба внезапной зарницей?

Не мучь меня больше, не тронь!
Пусти меня к вещим заботам...
Шатается пьяный огонь
По высохшим серым болотам.

И Муза в дырявом платке
Протяжно поет и уныло.

В жестокой и юной тоске
Ее чудотворная сила.

*Июль 1915
Слепнево*

Пустых небес прозрачное стекло,
Большой тюрьмы белесое строенье
И хода крестного торжественное пенье
Над Волховом, синеющим светло.

Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяv,
Кричит и мечется среди ветвей,
А город помнит о судьбе своей:
Здесь Марфа правила и правил Аракчеев.

*Сентябрь 1914
Новгород*

Июль 1914

1

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.

Стало солнце немилостью божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одногоний прохожий
И один на дворе говорил:

“Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат".

2

Можжевельника запах сладкий
От горящих лесов летит.
Над ребятами стонут солдатки,
Вдовий плач по деревне звенит.

Не напрасно молебны служились,
О дожде тосковала земля!
Красной влагой тепло окропились
Затоптанные поля.

Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих:
"Ранят тело твое пресвятое,
Мечут жребий о ризах твоих".

20 июля 1914
Слепнево

Тот голос, с тишиной великой споря,
Победу одержал над тишиной.
Во мне еще, как песня или горе,
Последняя зима перед войной.

Белее сводов Смольного собора,
Таинственней, чем пышный Летний сад,
Она была. Не знали мы, что скоро
В тоске предельной поглядим назад.

Январь 1917

Мы не умеем прощаться, —
Всё бродим плечо к плечу,
Уже начинает смеркаться,
Ты задумчив, а я молчу.

В церковь войдем, увидим
Отпеванье, крестины, брак,
Не взглянув друг на друга, выйдем...
Отчего всё у нас не так?

Или сядем на снег примятый
На кладбище, легко вздохнем,
И ты палкой чертишь палаты,
Где мы будем всегда вдвоем.

1917

Утешение

*Там Михаил Архистратиг
Его зачислил в рать свою.*

Н. Гумилев

Вестей от него не получишь больше,
Не услышишь ты про него.
В объятой пожарами, скорбной Польше
Не найдешь могилы его.

Пусть дух твой станет тих и покоен,
Уже не будет потерь:
Он божьего воинства новый воин,
О нем не грусти теперь.

И плакать грешно, и грешно томиться
В милом, родном дому.

Подумай, ты можешь теперь молиться
Заступнику своему.

*Сентябрь 1914
Царское Село*

Лучше б мне частушки задорно выклвать,
А тебе на хрипкой гармонике играть,

И, уйдя обнявшись на ночь за овсы,
Потерять бы ленту из тугой косы.

Лучше б мне ребеночка твоего качать,
А тебе полтинник в сутки выручать,

И ходить на кладбище в поминальный день,
Да смотреть на белую божию сирень.

1914

Молитва

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар –
Так молюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

*Май 1915. Духов день
Петербург*

“Где, высокая, твой цыганенок,
Тот, что плакал под черным платком,

Где твой маленький первый ребенок,
Что ты знаешь, что помнишь о нем?”

“Доля матери – светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В белый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.

Каждый день мой – веселый, хороший,
Заблудилась я в длинной весне,
Только руки тоскуют по ноше,
Только плач его слышу во сне.

Станет сердце тревожным и томным,
И не помню тогда ничего,
Всё брошу я по комнатам темным,
Всё ищу колыбельку его”.

*11 апреля 1914
Петербург*

Столько раз я проклинала
Это небо, эту землю,
Этой мельницы замшелой
Тяжко машущие руки!
А во флигеле покойник,
Прям и сед, лежит на лавке,
Как тому назад три года.
Так же мыши книги точат,
Так же влево пламя клонит
Стеариновая свечка.
И поет, поет постылый
Бубенец нижегородский
Незатейливую песню
О моем веселье горьком.
А раскрашенные ярко
Прямо стали георгины
Вдоль серебряной дорожки,

Где улитки и полынь.
Так случилось: заточенье
Стало родиной второю,
А о первой я не смею
И в молитве вспоминать.

Июль 1915
Слепнево

Ни в лодке, ни в телеге
Нельзя попасть сюда.
Стоит на гиблом снеге
Глубокая вода,
Усадьбу осаждает
Уже со всех сторон...
Ах! близко изнывает
Такой же Робинзон.
Пойдет взглянуть на сани,
На лыжи, на коня,
А после на диване
Сидит и ждет меня,
И шпорою короткой
Рвет коврик пополам.
Теперь улыбки кроткой
Не видеть зеркалам.

Осень 1916
Слепнево

Вижу, вижу лунный лук
Сквозь листву густых ракит,
Слышу, слышу ровный стук
Неподкованных копыт.

Что? И ты не хочешь спать,
В год не мог меня забыть,
Не привык свою кровать
Ты пустою находить?

Не с тобой ли говорю
В остром крике хищных птиц,
Не в твои ль глаза смотрю
С белых, матовых страниц?

Что же кружишь, словно вор,
У затихшего жилья?
Или помнишь уговор
И живую ждешь меня?

Засыпаю. В душный мрак
Месяц бросил лезвие.
Снова стук. То бьется так
Сердце теплое мое.

<1914>

Бесшумно ходили по дому,
Не ждали уже ничего.
Меня привели к больному,
И я не узнала его.

Он сказал: “Теперь слава богу, —
И еще задумчивей стал. —
Давно мне пора в дорогу,
Я только тебя поджидал.

Так меня ты в бреду тревожишь,
Все слова твои берегу.
Скажи: ты простить не можешь?”
И я сказала: “Могу”.

Казалось, стены сияли
От пола до потолка.
На шелковом одеяле
Сухая лежала рука.

А закинутый профиль хищный
Стал так страшно тяжел и груб,
И было дыханья не слышно
У искусанных темных губ.

Но вдруг последняя сила
В синих глазах ожила:
“Хорошо, что ты отпустила,
Не всегда ты доброй была”.

И стало лицо моложе,
Я опять узнала его
И сказала: “Господи боже,
Прими раба твоего”.

Июль 1914
Слепнево

Моей сестре

Подошла я к сосновому лесу.
Жар велик, да и путь не короткий.
Отодвинул дверную завесу,
Вышел седенький, светлый и кроткий.

Поглядел на меня прозорливец
И промолвил: “Христова невеста!
Не завидуй удаче счастливиц,
Там тебе уготовано место.

Позабудь о родительском доме,
Уподобься небесному крину.
Будешь, хворая, спать на соломе
И блаженную примешь кончину”.

Верно, слышал святитель из кельи,
Как я пела обратной дорогой

О моем несказанном весельи,
И дивяся, и радуясь много.

Июль 1914
Дарница

Так раненого журавля
Зовут другие: курлы, курлы! –
Когда осенние поля
И рыхлы, и теплы...

И я, больная, слышу зов,
Шум крыльев золотых
Из плотных, низких облаков
И зарослей густых:

“Пора лететь, пора лететь
Над полем и рекой.
Ведь ты уже не можешь петь
И слезы со щеки стереть
Ослабнувшей рукой”.

Февраль 1915

Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибегать –
Через речку и по горке,
Так что взрослым не догнать,
Издалека, мальчик зоркий,
Будешь крест мой узнавать.
Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припомнить:
Не браница, не ласкала,
Не водила причащать.

1915

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша — сон
И марево — столица эта.

Ты говоришь — моя страна грешна,
А я скажу — твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, —
Всё искупить и всё исправить можно.

Вокруг тебя — и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.

*1 января 1917
Слепнево*

Приду туда, и отлетит томленье.
Мне ранние приятны холода.
Таинственные, темные селенья —
Хранилища бессмертного труда.

Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне — как льдинка в пенистом вине.

И этого никак нельзя поправить,
Не растопил ее великий зной,
И что бы я ни начинала славить —
Ты, тихая, сияешь предо мной.

1916

Памяти 19 июля 1914

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня...
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

*Лето 1916
Слепнево*

IV

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг.
И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.

*Весна 1915
Слепнево*

То пятое время года,
Только его славословь.
Дыши последней свободой,
Оттого что это — любовь.
Высоко небо взлетело,
Легки очертанья вещей,
И уже не празднует тело
Годовщину грусти своей.

1913

Выбрала сама я долю
Другу сердца моего:
Отпустила я на волю
В Благовещенье его.
Да вернулся голубь сизый,
Бьется крыльями в стекло.
Как от блеска дивной ризы,
Стало в горнице светло.

*Весна 1915
Петербург*

Сон

Я знала, я снось тебе,
Оттого не могла заснуть.
Мутный фонарь голубел
И мне указывал путь.

Ты видел царицын сад,
Затейливый белый дворец
И черный узор оград
У каменных гулких крылец.

Ты шел, не зная пути,
И думал: "Скорей, скорей,

О, только б ее найти,
Не проснуться до встречи с ней".

А сторож у красных ворот
Окликнул тебя: "Куда!"
Хрустел и ломался лед,
Под ногой чернела вода.

"Это озеро, — думал ты, —
На озере есть островок..."
И вдруг из темноты
Поглядел голубой огонек.

В жестком свете скучного дня
Проснувшись, ты застонал
И в первый раз меня
По имени громко назвал.

*Март 1915
Царское Село*

Белый дом

Морозное солнце. С парада
Идут и идут войска.
Я полдню январскому рада,
И тревога моя легка.

Здесь помню каждую ветку
И каждый силуэт.
Сквозь инея белую сетку
Малиновый каплет свет.

Здесь дом был почти что белый,
Стеклянное крыльцо.
Столько раз рукой помертвелой
Я держала звонок-кольцо.

Столько раз... Играйте, солдаты,
А я мой дом отышу,
Узнаю по крыше покатой,
По вечному плющу.

Но кто его отодвинул,
В чужие унес города
Или из памяти вынул
Навсегда дорогу туда...

Волынки вдали замирают,
Снег летит, как вишневый цвет...
И, видно, никто не знает,
Что белого дома нет.

*Лето 1914
Слепнево*

Долго шел через поля и села,
Шел и спрашивал людей:
“Где она, где свет веселый
Серых звезд – ее очей?”

Ведь настали, тускло пламенея,
Дни последние весны.
Всё мне чаще снится, всё нежнее
Мне о ней бывают сны!”

И пришел в наш град угрюмый
В предвечерний тихий час.
О Венеции подумал
И о Лондоне зараз.

Стал у церкви темной и высокой
На гранит блестящих ступеней
И молил о наступлении срока
Встречи с первой радостью своей.

А над смуглым золотом престола
Разгорался божий сад лучей:
“Здесь она, здесь свет веселый
Серых звезд – ее очей”.

Май 1915

Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все-таки тебе я рада.

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь –
С моими детскими стихами.

Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.

*Весна 1915
Царское Село*

Я не знаю, ты жив или умер, –
На земле тебя можно искать
Или только в вечерней думе
По усопшем светло горевать.

Всё тебе: и молитва дневная,
И бессонницы млеющий жар,
И стихов моих белая стая,
И очей моих синий пожар.

Мне никто сокровенней не был,
Так меня никто не томил,

Даже тот, кто на муку предал,
Даже тот, кто ласкал и забыл.

Лето 1915
Слепнево

Нет, царевич, я не та,
Кем меня ты видеть хочешь.
И давно мои уста
Не целуют, а пророчат.

Не подумай, что в бреду
И замучена тоскою
Громко кличу я беду:
Ремесло мое такое.

А умею научить,
Чтоб нежданное случилось,
Как навеки приручить
Ту, что мельком полюбилась.

Славы хочешь? — у меня
Попроси тогда совета,
Только это — западня,
Где ни радости, ни света.

Ну, теперь иди домой
Да забудь про нашу встречу,
А за грех твой, милый мой,
Я пред господом отвечу.

10 июля 1915

Из памяти твоей я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный?

О, как ты часто будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане!

При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: “Вот она сама
Пришла на помошь моему неверью”.

4 апреля 1915
Царское Село

Не хулил меня, не славил,
Как друзья и как враги.
Только душу мне оставил
И сказал: побереги.

И одно меня тревожит:
Если он теперь умрет,
Ведь ко мне архангел божий
За душой его придет.

Как тогда ее я спрячу,
Как от бога утаю?
Та, что так поет и плачет,
Быть должна в его раю.

Июль 1915

Там тень моя осталась и тоскует,
Всё в той же синей комнате живет,
Гостей из города заполночь ждет
И образок эмалевый целует.
И в доме не совсем благополучно:
Огонь зажгут, а все-таки темно...
Не оттого ль хозяйке новой скучно,

Не оттого ль хозяин пьет вино
И слышит, как за тонкою стеной
Пришедший гость беседует со мною?

Январь 1917

Слепнево

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор всё как будто больна.

1917

Петербург

Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов день.

Нынче другу возвратиться
Из-за моря — крайний срок.
Всё мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок.

На одну из этих башен
Я взойду, встречая свет...

Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.

Только сяду на пороге,
Там еще густая тень.
Помоги моей тревоге,
Белый, белый Духов день!

Май 191

Слепнево

Я знаю, ты моя награда
За годы боли и труда,
За то, что я земным отрадам
Не предавалась никогда,
За то, что я не говорила
Возлюбленному: "Ты любим".
За то, что всем я всё простила,
Ты будешь ангелом моим.

1916

Милому

Голубя ко мне не присытай,
Писем беспокойных не пиши,
Ветром мартовским в лицо не вей.
Я вошла вчера в зеленый рай,
Где покой для тела и души
Под шатром тенистых тополей.

И отсюда вижу городок,
Будки и казармы у дворца,
Надо льдом китайский желтый мост.
Третий час меня ты ждешь — продрог,
А уйти не можешь от крыльца
И дивишься, сколько новых звезд.

Серой белкой прыгну на ольху,
Ласочкой пугливой пробегу,
Лебедью тебя я стану звать,
Чтоб не страшно было жениху
В голубом кружащемся снегу
Мертвую невесту поджидать.

27 февраля 1915

Царское Село

Юнни Андерен

Судьба ли так моя переменилась,
Иль вправду кончена игра?
Где зимы те, когда я спать ложилась
В шестом часу утра?

По-новому, спокойно и сурово,
Живу на диком берегу.
Ни праздного, ни ласкового слова
Уже промолвить не могу.

Не верится, что скоро будут святки.
Степь трогательно зелена.
Сияет солнце. Лижет берег гладкий
Как будто теплая волна.

Когда от счастья томной и усталой
Бывала я, то о такой тиши
С невыразимым трепетом мечтала,
И вот таким себе я представляла
Посмертное блуждание души.

Декабрь 1916

Севастополь (Бельбек)

Стихотворения

Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:
Оно — веселье и оно — страданье.

Мне кажется, что тот, кто близко взглянет
В мои глаза, его увидит сразу.
Печальней и задумчивее станет
Внимающего скорбному рассказу.

Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья,
Чтоб вечно жили дивные печали.
Ты превращен в мое воспоминанье.

5 июня 1916

Слепнево

Первый луч — благословенье Бога —
По лицу любимому скользнул,
И дремавший побледнел немного,
Но еще покойнее уснул.

Верно, поцелуем показалась
Теплота небесного луча...
Так давно губами я касалась
Милых губ и смуглого плеча...

А теперь, усопших бестелесней,
В неутешном странствии моем,
Я к нему влетаю только песней
И ласкаюсь утренним лучом.

14 мая 1916

Слепнево

<Дополнения>

• И мнится — голос человека
 Здесь никогда не прозвучит,
 Лишь ветер каменного века
 В ворота черные стучит.
 И мнится мне, что уцелела
 Под этим небом я одна —
 За то, что первая хотела
 Испить смертельный вина.

*Лето 1917**Слепнево*

Когда в мрачнейшей из столиц
 Рукою твердой, но усталой
 На чистой белизне страниц
 Я отречение писала

И ветер в круглое окно
 Вливался влажною струею, —
 Казалось, небо сожжено
 Червонно-дымною зарею.

Я не взглянула на Неву,
 На озаренные граниты,
 И мне казалось — наяву
 Тебя увижу, незабытый...

Но неожиданная ночь
 Покрыла город предосенний.
 Чтоб бегству моему помочь,
 Расплылись пепельные тени.

Я только крест с собой взяла,
 Тобою данный в день измены, —

Чтоб степь полынная цвела,
 А ветры пели, как сирены.

И вот он на пустой стене
 Хранит меня от горьких бредней,
 И ничего не страшно мне
 Припомнить — даже день последний.

Август 1916
Песочная бухта

Как площади эти обширны,
 Как гулки и круты мосты!
 Тяжелый, беззвездный и мирный
 Над нами покров темноты.

И мы, словно смертные люди,
 По свежему снегу идем.
 Не чудо ль, что нынче пробудем
 Мы час предразлучный вдвоем?

Безвольно слабеют колени,
 И кажется, нечем дышать...
 Ты — солнце моих песнопений,
 Ты — жизни моей благодать.

Вот черные зданья качнутся,
 И на землю я упаду, —
 Теперь мне не страшно очнуться
 В моем деревенском саду.

10 марта 1917
Петербург

Для того ль тебя носила
 Я когда-то на руках,
 Для того ль сияла сила

В голубых твоих глазах!
Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.

На Малаховой кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на божий свет.

1918
Петербург

Родилась я ни поздно, ни рано,
Это время блаженно одно,
Только сердцу прожить без обмана
Было господом не дано.

Оттого и темно в светлице,
Оттого и друзья мои,
Как вечерние грустные птицы,
О небывшей поют любви.

1913

Мне не надо счастья малого,
Мужа к милой провожу
И, довольного, усталого,
Спать ребенка уложу.

Снова мне в прохладной горнице
Богородицу молить...
Трудно, трудно жить затворницей,
Да трудней веселой быть.

Только б сон приснился пламенный,
Как войду в нагорный храм,
Пятиглавый, белый, каменный,
По запомненным тропам.

Май 1914
Петербург

Город сгинул, последнего дома
Как живое взглянуло окно...
Это место совсем незнакомо,
Пахнет гарью, и в поле темно.

Но когда грозовую завесу
Нерешительный месяц рассек,
Мы увидели: на гору, к лесу
Пробирался хромой человек.

Было страшно, что он обгоняет
Тройку сытых веселых коней,
Постоит и опять ковыляет
Под тяжелою ношей своей.

Мы заметить почти не успели,
Как он возле кибитки возник.
Словно звезды глаза голубели,
Освещая измученный лик.

Я к нему протянула ребенка,
Поднял руку со следом оков
И промолвил мне благостно-звонко:
“Будет сын твой и жив и здоров!”

1916
Слепнево

О, есть неповторимые слова,
Кто их сказал — истратил слишком много.
Неистощима только синева
Небесная и милосердье бога.

Зима 1916
Севастополь

Стал мне реже сниться, слава богу,
Больше не мерещится везде.
Лег туман на белую дорогу,
Тени побежали по воде.

И весь день не замолкали звоны
Над простором вспаханной земли,
Здесь всего сильнее от Ионы
Колокольни Лаврские вдали.

Подстригаю на кустах сирени
Ветки те, что нынче отцвели;
По валам старинных укреплений
Два монаха медленно прошли.

Мир родной, понятный и телесный,
Для меня, неэрячей, оживи.
Исцелил мне душу царь небесный
Ледяным покоем нелюбви.

1912
Киев

Не тайны и не печали,
Не мудрой воли судьбы —
Эти встречи всегда оставляли
Впечатление борьбы.

Я, с утра угадав минуту,
Когда ты ко мне войдешь,
Ощущала в руках согнутых
Слабо колющую дрожь.

И сухими пальцами мяла
Пеструю скатерть стола...
Я тогда уже понимала,
Как эта земля мала.

1914 или 1915

Будем вместе, милый, вместе,
Знают все, что мы родные,
А лукавые насмешки,
Как бубенчик отдаленный,
И обидеть нас не могут,
И не могут огорчить.

Где венчались мы — не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.

А теперь пора такая,
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?

Весна 1915
Петербург

Черная вилась дорога,
Дождик моросил,
Проводить меня немного
Кто-то попросил.

Анна Ахматова

Согласилась, да забыла
На него взглянуть,
А потом так странно было
Вспомнить этот путь.
Плыл туман, как фимиамы
Тысячи кадил.
Спутник песенкой упрямо
Сердце бередил.
Помню древние ворота
И конец пути —
Там со мною шедший кто-то
Мне сказал: "Прости..."
Медный крестик дал мне в руки,
Словно брат родной...
И я всюду слышу звуки
Песенки степной.
Ах, я дома как не дома —
Плачу и грущу.
Отзовись, мой незнакомый,
Я тебя ишу!

1913 (?)

Как люблю, как любила глядеть я
На закованные берега,
На балконы, куда столетья
Не ступала ничья нога.
И воистину ты, столица —
Для безумных и светлых нас;
Но когда над Невою длится
Тот особенный, чистый час
И проносится ветер майский
Мимо всех надводных колонн,
Ты — как грешник, видящий райский
Перед смертью сладчайший сон...

1916

Подорожник

1921

Узнай, по крайней мере, звуки.
Бывало, милые тебе.

Пушкин

Сразу стало тихо в доме,
Облетел последний мак,
Замерла я в долгой дреме
И встречаю ранний мрак.

Плотно заперты ворота,
Вечер черен, ветер тих.
Где веселье, где забота,
Где ты, ласковый жених?

Не нашелся тайный перстень,
Прождала я много дней,
Нежной пленницею песня
Умерла в груди моей.

Июль 1917
Слепнево

Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,

Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.

Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.

Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.

Лето 1917
Слепнево

Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зеленую волну,
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пухистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем,
Но, предчувствя свиданье
С тем, кто стал моей звездою,
От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.

Июль 1917
Слепнево

И в тайную дружбу с высоким,
Как юный орел темноглазым,
Я, словно в цветник предосенний,
Походкою легкой вошла.
Там были последние розы,
И месяц прозрачный качался
На серых, густых облаках...

Лето 1917
Петербург

Словно ангел, возмущивший воду,
Ты взглянул тогда в мое лицо,
Возвратил и силу, и свободу,
А на память чуда взял кольцо.
Мой румянец жаркий и недужный
Стерла богомольная печаль.
Памятным мне будет месяц вьюжный,
Северный встревоженный февраль.

Февраль 1916
Царское Село

Когда о горькой гибели моей
Весть поздняя его коснется слуха,
Не станет он ни строже, ни грустней,
Но, побледневши, улыбнется сухо.
И сразу вспомнит зимний небосклон
И вдоль Невы несущуюся выигу,
И сразу вспомнит, как поклялся он
Беречь свою восточную подругу.

1917

А ты теперь тяжелый и унылый,
Отрекшийся от славы и мечты,

Но для меня непоправимо милый,
И чем темней, тем трогательней ты.

Ты пьешь вино, твои нечисты ночи,
Что наяву, не знаешь, что во сне,
Но зелены мучительные очи, —
Покоя, видно, не нашел в вине.

И сердце только скорой смерти просит,
Кляня медлительность судьбы.
Всё чаще ветер западный приносит
Твои упреки и твои мольбы.

Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.

Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне господа молить?
Ты угадал: моя любовь такая,
Что даже ты не мог ее убить.

22 июля 1917
Слепнево

Пленник чужой! Мне чужого не надо,
Я и своих-то устала считать.
Так отчего же такая отрада
Эти вишневые видеть уста?

Пусть он меня и хулит, и бесславит,
Слыши в словах его сдавленный стон.
Нет, он меня никогда не заставит
Думать, что страстно в другую влюблен.

И никогда не поверю, что можно
После небесной и тайной любви
Снова смеяться и плакать тревожно
И проклинать поцелуи мои.

1917

Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу...
Сосен дрогнули верхушки,
Желтый луч упал в траву,
Но ни звука в чаще свежей...
Я иду домой,
И прохладный ветер нежит
Лоб горячий мой.

1 июня 1919
Царское Село

По неделе ни слова ни с кем не скажу,
Всё на камне у моря сижу,
И мне любо, что брызги зеленої волны,
Словно слезы мои, солоны.
Были весны и зимы, да что-то одна
Мне запомнилась только весна.
Стали ночи теплее, подтаивал снег,
Вышла я поглядеть на луну,
И спросил меня тихо чужой человек,
Междусосенок встретив одну:
“Ты не та ли, кого я повсюду ищу,
О которой с младенческих лет,
Как о милой сестре, веселись и грушу?”
Я чужому ответила: “Нет!”
А как свет поднебесный его озарил,
Я дала ему руки мои,
И он перстень таинственный мне подарил,

Чтоб меня уберечь от любви.
 И назвал мне четыре приметы страны,
 Где мы встретиться снова должны:
 Море, круглая бухта, высокий маяк,
 А всего непременней — полынь...
 И как жизнь началась, пусть и кончится так.
 Я сказала, что знаю: аминь!

Осень 1916
 Севастополь

В каждогох сутках есть такой
 Смутный и тревожный час.
 Громко говорю с тоской,
 Не раскрывши сонных глаз,
 И она стучит, как кровь,
 Как дыхание тепла,
 Как счастливая любовь,
 Рассудительна и зла.

1917

Земная слава как дым,
 Не этого я просила.
 Любовникам всем моим
 Я счастье приносила.
 Один и сейчас живой,
 В свою подругу влюбленный,
 И бронзовым стал другой
 На площади оснеженной.

Зима 1914

Это просто, это ясно,
 Это всячому понятно,
 Ты меня совсем не любишь,

Не полюбишь никогда.
 Для чего же так тянуться
 Мне к чужому человеку,
 Для чего же каждый вечер
 Мне молиться за тебя?
 Для чего же, бросив друга
 И кудрявого ребенка,
 Бросив город мой любимый
 И родную сторону,
 Черной нищенкой скитаюсь
 По столице иноземной?
 О, как весело мне думать,
 Что тебя увижу я!

Лето 1917
 Слепнево

О нет, я не тебя любила,
 Палима сладостным огнем,
 Так объясни, какая сила
 В печальном имени твоем.

Передо мною на колени
 Ты стал, как будто ждал венца,
 И смертные коснулись тени
 Спокойно-юного лица.

И ты ушел. Не за победой,
 За смертью. Ночи глубоки!
 О ангел мой, не знай, не ведай
 Моей теперешней тоски.

Но если белым солнцем рая
 В лесу осветится тропа,
 Но если птица полевая
 Взлетит с колючего снопа,

Я знаю: это ты, убитый,
Мне хочешь рассказать о том.
И снова вижу холм изрытый
Над окровавленным Днестром.

Забуду дни любви и славы,
Забуду молодость мою.
Душа темна, пути лукавы,
Но образ твой, твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.

19 июля 1917

Слепнево

Я слышу иволги всегда печальный голос
И лета пышного приветствую ущерб,
А к колосу прижатый тесно колос
С змеиным свистом срезывает серп.

И стройных жниц короткие подолы,
Как флаги в праздник, по ветру летят.
Теперь бы звон бубенчиков веселых,
Сквозь пыльные ресницы долгий взгляд.

Не ласки жду я, не любовной лести
В предчувствии неотвратимой тьмы,
Но приходи взглянуть на рай, где вместе
Блаженны и невинны были мы.

27 июля 1917

Слепнево

Как страшно изменилось тело,
Как рот измученный поблек!
Я смерти не такой хотела,
Не этот назначала срок.

Казалось мне, что туча с тучей
Сшибется где-то в высоте
И молнии огонь летучий
И голос радости могучей,
Как ангелы, сойдут ко мне.

1913

Я окошка не завесила,
Прямо в горницу гляди.
Оттого мне нынче весело,
Что не можешь ты уйти.
Называй же беззаконницей,
Надо мной глумись со зла:
Я была твоей бессонницей,
Я тоской твоей была.

5 марта 1916

Эта встреча никем не воспета,
И без песен печаль улеглась.
Наступило прохладное лето,
Словно новая жизнь началась.

Сводом каменным кажется небо,
Уязвленное желтым огнем,
И нужнее насущного хлеба
Мне единое слово о нем.

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи, —
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

17 мая 1916

Слепнево

И вот одна осталась я
Считать пустые дни.
О вольные мои друзья,
О лебеди мои!

И песней я не скличу вас,
Слезами не верну.
Но вечером в печальный час
В молитве помяну.

Настигнут смертною стрелой,
Один из вас упал,
И черным вороном другой,
Меня целуя, стал.

Но так бывает: раз в году,
Когда растает лед,
В Екатеринином саду
Стою у чистых вод

И слышу плеск широких крыл
Над гладью голубой.
Не знаю, кто окно раскрыл
В темнице гробовой.

1917

Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.

Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.

Зима 1919

Теперь никто не станет слушать песен.
Предсказанные наступили дни.
Моя последняя, мир больше не чудесен,
Не разрывай мне сердца, не звени.

Еще недавно ласточкой свободной
Свершила ты свой утренний полет,
А ныне станешь нищенкой голодной,
Не достучишься у чужих ворот.

1917

По твердому гребню сугроба
В твой белый, таинственный дом
Такие притихшие оба
В молчании нежном идем.
И слаще всех песен пропетых
Мне этот исполненный сон,
Качание веток задетых
И шпор твоих легонький звон.

Январь 1917

Теперь прощай, столица,
Прощай, весна моя,
Уже по мне томится
Корельская земля.

Поля и огороды
Спокойно зелены,
Еще глубоки воды
И небеса бледны.

Болотная русалка,
Хозяйка этих мест,
Глядит, вздыхая жалко,
На колокольный крест.

А иволга, подруга
Моих безгрешных дней,
Вчера вернувшись с юга,
Кричит среди ветвей,

Что стыдно оставаться
До мая в городах,
В театре задыхаться,
Скушать на островах.

Но иволга не знает,
Русалке не понять,
Как сладко мне бывает
Его поцеловать!

И все-таки сегодня
На тихом склоне дня
Уйду. Страна господня,
Прими к себе меня!

1917

Ждала его напрасно много лет.
Похоже это время на дремоту.
Но воссиял неугасимый свет
Тому три года в Вербную субботу.
Мой голос оборвался и затих —
С улыбкой предо мной стоял жених.

А за окном со свечками народ
Несспешно шел. О, вечер богомольный!
Слегка хрустел апрельский тонкий лед,
И над толпою голос колокольный,
Как утешенье вещее, звучал,
И черный ветер огоньки качал.

И белые нарциссы на столе,
И красное вино в бокале плоском
Я видела как бы в рассветной мгле.
Моя рука, закапанная воском,
Дрожала, принимая поцелуй,
И пела кровь: блаженная, ликуй!

1916

Ночью

Стоит на небе месяц, чуть живой,
Средь облаков струящихся и мелких,
И у дворца угремый часовой
Глядит, сердясь, на башенные стрелки.

Идет домой неверная жена,
Ее лицо задумчиво и строго,
А верную в тугих объятьях сна
Сжигает негасимая тревога.

Что мне до них? Семь дней тому назад,
Вздохнувши, я прости сказала миру,
Но душно там, и я пробралась в сад
Взглянуть на звезды и потрогать лиру.

Осень 1918

Москва

Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,

Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

Лето 1917
Слепнево

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловевающего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя не завитая челка.

И непохожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат.
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

1913

Песенка

Бывало, я с утра молчу
О том, что сон мне пел.
Румяной розе, и лучу,
И мне — один удел.
С покатых гор ползут снега,
А я белей, чем снег,

Но сладко снятся берега
Разливных мутных рек.
Еловой рощи свежий шум
Покойнее рассветных дум.

Март 1916

И целый день, своих пугаясь стонов,
В тоске смертельной мечется толпа,
А за рекой на траурных знаменах
Зловещие смеются черепа.
Вот для чего я пела и мечтала,
Мне сердце разорвали пополам,
Как после залпа сразу тихо стало,
Смерть выслала дозорных по дворам.

Лето 1917

Ты мог бы мне сниться и реже,
Ведь часто встречаемся мы,
Но грустен, взъярен и нежен
Ты только в святилище тьмы.

И слаше хвалы серафима
Мне губ твоих милая лесть...
О, там ты не путаешь имя
Мое. Не вздыхаешь, как здесь.

1914

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: “Иди сюда,
Оставь свой край глухой и гречный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,

А Н Н А А Х М А Т О В А

Я новым именем покрою
Боль поражений и обид".

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Осень 1917

A N N O D O M I N I
1921–1922

В ТЕ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА...

Тютчев

<Дополнение>

Зáре

(С пофтугальского)

Тот счастлив, кто прошел среди мучений,
Среди тревог и страсти жизни шумной,
Подобно розе, что цветет бездумно,
И легче по водам бегущей тени.
Так жизнь твоя была чужда заботе,
Как тонкий сон, но сладостный и нежный:
Проснулась... улыбнулась... и небрежно
Вернулась ты к нарушенной дремоте.

Июль 1920

I. После всего

Петроград, 1919

И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.

Бежецк

Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.

Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там строгая память, такая скучная теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь...
И город был полон веселым рождественским звоном.

26 декабря 1921

Предсказание

Видел я тот венец златокованый...
Не завидуй такому венцу!
Оттого, что и сам он ворованный
И тебе он совсем не к лицу.
Туго согнутой веткой тернововою
Мой венец на тебе заблестит.
Ничего, что росою багровою
Он изнеженный лоб освежит.

8 мая 1922

Другой голос

1

Я с тобой, мой ангел, не лукавил,
Как же вышло, что тебя оставил
За себя заложницей в неволе
Всей земной непоправимой боли?
Под мостами полынины дымятся,
Над кострами искры золотятся,
Грузный ветер окаянно воет,
И шальная пуля за Невою
Ищет сердце бедное твое.
И, одна в дому оледенелом,

162

Белая лежиши в сияньи белом,
Славя имя горькое мое.

7 декабря 1921
Петербург

2

В тот давний год, когда зажглась любовь,
Как крест престольный, в сердце обреченному,
Ты кроткою голубкой не прильнула
К моей груди, но коршуном когтила.
Изменой первою, вином проклятъя
Ты напоила друга своего.
Но час настал в зеленые глаза
Тебе глядеться, у жестоких губ
Молить напрасно сладостного дара
И клятв таких, каких ты не слыхала,
Каких еще никто не произнес.
Так отравивший воду родника
Для вслед за ним идущего в пустыне
Сам заблудился и, возжаждав сильно,
Источника во мраке не узнал.
Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной,
Но гибелю ли жажду утолить?

8 декабря 1921
Петербург

Сказал, что у меня соперниц нет.
Я для него не женщина земная,
А солнца зимнего утешный свет
И песня дикая родного края.
Когда умру, не станет он грустить,
Не крикнет, обезумевши: "Воскресни!" –
Но вдруг поймет, что невозможно жить

163

Без солнца телу и душе без песни.
...А что теперь?

1921

Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.

И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у бога ничего.

Декабрь 1921
Петербург

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнаник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...

Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Июль 1922
Петербург

ЧЕРНЫЙ СОН

1

Косноязычно славивший меня
Еще тощался на краю эстрады.
От дыма сизого и тусклого огня
Мы все уйти, конечно, были рады.

Но в путанных словах вопрос зажжен,
Зачем не стала я звездой любовной,
И стыдной болью был преображен
Над нами лик жестокий и бескровный.

Люби меня, припоминай и плачь!
Все плачущие не равны ль пред богом?
Прощай, прощай! меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.

1913

2

Ты всегда таинственный и новый.
Я тебе послушней с каждым днем,
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.

Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только б мне с тобою не расстаться,
Остальное всё равно!

Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою,
Словно ты у ада и у рая
Отнял душу вольную мою.

Декабрь 1917

3

От любви твоей загадочной,
Как от боли, в крик кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу.

Новых песен не насвистывай,
Песней долго ль обмануть,
Но когти, когти неистовой
Мне чахоточную грудь,

Чтобы кровь из горла хлынула
Поскорее на постель,
Чтобы смерть из сердца вынула
Навсегда проклятый хмель.

Июль 1918

4

Проплывают льдины, звеня,
Небеса безнадежно бледны.
Ах, за что ты караешь меня,
Я не знаю моей вины.

Если надо — меня убей,
Но не будь со мною суров.
От меня не хочешь детей
И не любишь моих стихов.

Всё по-твоему будет: пусты!
Обету верна своему,

Отдала тебе жизнь, — но грусть
Я в могилу с собою возьму.

Апрель 1918

5

Третий Зачатьевский

Переулочек, переул...
Горло петелькой затянул.

Тянет свежесть с Москва-реки,
В окнах теплится огоньки.

Как по левой руке — пустырь,
А по правой руке — монастырь,

А напротив — высокий клен
Ночью слушает долгий стон.

Покосился гнилой фонарь —
С колокольни идет звонарь...

Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок.

Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток.

1940

6

Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж — палач, а дом его — тюрьма.

Но видишь ли! Ведь я пришла сама...
Декабрь рождался, ветры выли в поле,
И было так светло в твоей неволе,
А за окошком сторожила тьма.

Так птица о прозрачное стекло
Всем телом бьется в зимнее ненастье,
И кровь пятнает белое крыло.

Теперь во мне спокойствие и счастье.
Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил
За то, что в дом свой странницу пустил.

Август 1921

Что ты бродишь неприкаянnyй,
Что глядишь ты не дыша?
Верно, понял: крепко спаяна
На двоих одна душа.

Будешь, будешь мной утешенным,
Как не снилось никому,
А обидишь словом бешеным –
Станет больно самому.

*Декабрь 1921
Петербург*

Веет ветер лебединый,
Небо синее в крови.
Наступают годовицыны
Первых дней твоей любви.

Ты мои разрушил чары,
Годы плыли, как вода.
Отчего же ты не старый,
А такой, как был тогда?

Даже звонче голос нежный,
Только времени крыло
Осенило славой снежной
Безмятежное чело.

1922

Ангел, три года хранивший меня,
Вознесся в лучах и огне,
Но жду терпеливо сладчайшего дня,
Когда он вернется ко мне.

Как щеки запали, бескровны уста,
Лица не узнать моего;
Ведь я не прекрасная больше, не та,
Что песней смущила его.

Давно на земле ничего не боюсь,
Прощальные помня слова.
Я в ноги ему, как войдет, поклонюсь,
А прежде кивала едва.

1922

Шепчет: “Я не пожалею
Даже то, что так люблю, –
Или будь совсем мою,
Или я тебя убью”.

Надо мной жужжит, как овод,
Непрестанно столько дней
Этот самый скучный довод
Черной ревности твоей.
Горе душит – не задушит,
Вольный ветер слезы сушит,

А веселье, чуть погладит,
Сразу с бедным сердцем сладит.

Февраль 1922

Слух чудовищный бродит по городу,
Забирается в дома, как тать.
Уж не сказку ль про Синюю Бороду
Перед тем, как засну, почитать?

Как седьмая всходила на лестницу,
Как сестру молодую звала,
Милых братьев иль страшную вестницу,
Затаивши дыханье, ждала...

Пыль взметается тучею снежною,
Скачут братья на замковый двор,
И над шеей безвинной и нежною
Не подымется скользкий топор.

Этой сказкою нынче утешена,
Я, наверно, спокойно усну.
Что же сердце колотится бешено,
Что же вовсе не клонит ко сну?

Зима 1922

Заболеть бы как следует, в жгучем бреду
Повстречаться со всеми опять,
В полном ветра и солнца приморском саду
По широким аллеям гулять.

Даже мертвые нынче согласны прийти,
И изгнанники в доме моем.
Ты ребенка за ручку ко мне приведи,
Так давно я скучаю о нем.

Буду с милыми есть голубой виноград,
Буду пить ледяное вино
И глядеть, как струится седой водопад
На кремнистое влажное дно.

Весна 1922

За озером луна остановилась
И кажется отворенным окном
В притихший, ярко освещенный дом,
Где что-то нехорошее случилось.

Хозяина ли мертвым привезли,
Хозяйка ли с любовником сбежала,
Иль маленькая девочка пропала
И башмачок у заводи нашли...

С земли не видно. Страшную беду
Почувствовав, мы сразу замолчали,
Заупокойно филины кричали,
И душный ветер буйствовал в саду.

1922

B. K. Шилейко

Как мог ты, сильный и свободный,
Забыть у ласковых колен,
Что грех карают первородный
Уничтожение и тлен.

Зачем ты дал ей на забаву
Всю тайну чудотворных дней, —
Она твою развеет славу
Рукою хищною своей.

Стыдись, и творческой печали
Не у земной жены моли.
Таких в монастыри ссылали
И на кострах высоких жгли.

1922

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ

1

Рахиль

*И служил Иаков за Рахиль семь лет;
и они показались ему за несколько
дней, потому что он любил ее.*

Книга Бытия

И встретил Иаков в долине Рахиль,
Он ей поклонился, как странник бездомный.
Стада подымали горячую пыль,
Источник был камнем завален огромным.
Он камень своею рукой отвалил
И чистой водою овец напоил.

Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана,
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет словно семь ослепительных дней.

Но много премудр сребролюбец Лаван,
И жалость ему незнакома.
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.

И Лию незрячую твердой рукой
Приводит к Иакову в брачный покой.

Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы,
Сестру проклинает и бога хулит,
И ангела смерти явиться велит.

И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины,
Веселые взоры Рахилиных глаз
И голос ее голубиный:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл?

25 декабря 1921 (ст. ст.)

2

Лотова жена

*Жена же Лотова оглянулась поза-
ди его и стала соляным столпом.*

Книга Бытия

И праведник шел за посланником бога,
Огромный и светлый, по черной горе,
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть

На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.

Взглянула, и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;

И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Кто женщину эту оплакивать будет,
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

24 февраля 1924

3

Мелхола

Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдаам ее за него, и она будет ему сетью.

Первая книга Царств

И отрок играет безумцу царю,
И ночь беспощадную рушит,
И властно победную кличет зарю,
И призраки ужаса душит.
И царь благосклонно ему говорит:
“Огонь в тебе, юноша, дивный горит,
И я за такое лекарство
Отдам тебе дочку и царство”.
А царская дочка глядит на певца,
Ей песен не нужно, не нужно венца,
В душе ее скорбь и обида,
Но хочет Мелхола Давида.
Бледнее, чем мертвая; рот ее сжат;
В зеленых глазах исступленье;
Сияют одежды, и стройно звенят
Запястья при каждом движенье.
Как тайна, как сон, как праматерь Лилит...
Не волей свою она говорит:
“Наверно, с отравой мне дали питье,

И мой помрачается дух.
Бесстыдство мое! Униженье мое!
Бродяга! Разбойник! Пастух!
Зачем же никто из придворных вельмож,
Увы, на него непохож?
А солнца лучи... а звезды в ночи...
А эта холодная дрожь...”

1959–1961

Причтание

В. А. Щегалевой

Господеви поклонитеся
Во святем дворе его.
Спит юродивый на паперти,
На него глядит звезда.
И, крылом задетый ангельским,
Колокол заговорил,
Не набатным, грозным голосом,
А прощаюсь навсегда.
И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим – в леса Саровские
Стадо сельское пасти,
Анна – в Кашин, уж не княжити,
Лен колючий теребить.
Провожает богородица,
Сына кутает в платок,
Старой нищенкой оброненный
У господнего крыльца.

24 мая 1922
Петербург

Вот и берег северного моря,
 Вот граница наших бед и слав, —
 Не пойму, от счастья или горя
 Плачешь ты, к моим ногам припав.
 Мне не надо больше обреченных —
 Пленников, заложников, рабов,
 Только с милым мне и непреклонным
 Буду я делить и хлеб и кров.

Осень 1922

Хорошо здесь: и шелест, и хруст;
 С каждым утром сильнее мороз,
 В белом пламени клонится куст
 Ледяных ослепительных роз.
 И на пышных парадных снегах
 Лыжный след, словно память о том,
 Что в каких-то далеких веках
 Здесь с тобою прошли мы вдвоем.

1922

Сказка о черном кольце

1

Мне от бабушки-татарки
 Были редкостью подарки;
 И зачем я крещена,
 Горько гневалась она.
 А пред смертью подобрела
 И впервые пожалела,
 И вздохнула: “Ах, года!
 Вот и внучка молода”.
 И, простиивши нрав мой вздорный,
 Завещала перстень черный.

176

Так сказала: “Он по ней,
 С ним ей будет веселей”.

2

Я друзьям моим сказала:
 “Горя много, счастья мало”, —
 И ушла, закрыв лицо;
 Потеряла я кольцо.
 И друзья мои сказали:
 “Мы кольцо везде искали,
 Возле моря на песке
 И меж сосен на лужке”.
 И, догнав меня в аллее,
 Тот, кто был других смелее,
 Уговаривал меня
 Подождать до склона дня.
 Я совету удивилась
 И на друга рассердилась,
 Что глаза его нежны:
 “И на что вы мне нужны?
 Только можете смеяться,
 Друг пред другом похваляться
 Да цветы сюда носить”.
 Всем велела уходить.

3

И, придя в свою светлицу,
 Застонала хищной птицей,
 Повалилась на кровать
 Сотый раз припомнить:
 Как за ужином сидела,
 В очи темные глядела,
 Как не ела, не пила
 У дубового стола,
 Как под скатертью узорной
 Протянула перстень черный,

177

Как взглянул в мое лицо,
Встал и вышел на крыльцо.

Не придут ко мне с находкой!
Далеко над быстрой лодкой
Заалели небеса,
Забелели паруса.

1917-1936

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивились люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?..
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней,
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный подснежник...
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Сентябрь 1922

II. МCMXXI

Наталии Рыковой

Всё расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Всё голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,

Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, —

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.

Июнь 1921

Путник милый, ты далече,
Но с тобою говорю.
В небесах зажглися свечи
Провожающих зарю.

Путник мой, скорей направо
Обрати свой светлый взор:
Здесь живет дракон лукавый,
Мой правитель с давних пор.

А в пещере у дракона
Нет пощады, нет закона,
И висит на стенке плеть,
Чтобы песен мне не петь.

И дракон крылатый мучит,
Он меня смиренью учит,
Чтоб забыла дерзкий смех,
Чтобы стала лучше всех.

Путник милый, в город дальний
Унеси мои слова,
Чтобы сделался печальней
Тот, кем я еще жива.

22 июня 1921
Петербург

Сослужу тебе верную службу, —
Ты не бойся, что горько люблю!
Я за нашу веселую дружбу
Всех святителей нынче молю.

За тебя отдала первородство
И взамен ничего не прошу,
Оттого и лохмотья сиротства
Я, как брачные ризы, ношу.

Июль 1921

Нам встречи нет. Мы в разных станах,
Туда ль зовешь меня, наглец,
Где брат поник в кровавых ранах,
Принявші ангельский венец?

И ни молящие улыбки,
Ни клятвы дикие твои,
Ни призрак млеющий и зыбкий
Моей счастливейшей любви
Не обольстят...

Июнь 1921

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий —
Что там, крысы, призрак или вор?

В душной кухне плещется водою,
Половицам шатким счет ведет,
С глянцевитой черной бородою
За окном чердачным промелькнет —

И притихнет. Как он зол и ловок,
Спички спрятал и свечу задул.

Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!
Запах тленья обмороочно сладкий
Веет от прохладной простыни.

27–28 августа 1921

Царское Село

Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом,
Ни даже предчувствием тайным моим.
Зачем же в ночи перед темным порогом
Ты медлишь, как будто счастьем томим?
Не выйду, не крикну: “О, будь единственным,
До смертного часа будь со мной!”
Я только голосом лебединым
Говорю с неправедною луной.

1915

О, жизнь без завтрашнего дня!
Ловлю измену в каждом слове,
И убывающей любови
Звезда восходит для меня.

Так незаметно отлетать,
Почти не узнавать при встрече.
Но снова ночь. И снова плечи
В истоме влажной целовать.

Тебе я милой не была,
Ты мне постыл. А пытка длилась,
И, как преступница, томилась
Любовь, исполненная зла.

То словно брат. Молчишь, сердит.
Но если встретимся глазами —
Тебе клянусь я небесами,
В огне расплывится гранит.

29 августа 1921

Кое-как удалось разлучиться
И постылый огонь потушить.
Враг мой вечный, пора научиться
Вам кого-нибудь вправду любить.

Я-то вольная. Всё мне забава, —
Ночью Муза слетит утешать,
А наутро притащится слава
Погремушкой над ухом трещать.

Обо мне и молиться не стоит,
И, уйдя, оглянуться назад...
Черный ветер меня успокоит,
Веселит золотой листопад.

Как подарок, приму я разлуку
И забвение, как благодать.
Но, скажи мне, на крестную муку
Ты другую посмеешь послать?

Август 1921

А, ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня

И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе страшный подарок —
Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

*Июль 1921
Петербург*

Пусть голоса органа снова грянут,
Как первая весенняя гроза:
Из-за плеча твоей невесты глянут
Мои полузакрытые глаза.

Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный,
Верну тебе твой сладостный обет,
Но берегись твоей подруге страстной
Поведать мой неповторимый бред, —

Затем что он пронижет жгучим ядом
Ваш благостный, ваш радостный союз.
А я иду владеть чудесным садом,
Где шелест трав и восклицанья муз.

Август 1921

Чугунная ограда,
Сосновая кровать.

Как сладко, что не надо
Мне больше ревновать.

Постель мне стелют эту
С рыданьем и мольбой;
Теперь гуляй по свету,
Где хочешь, бог с тобой!

Теперь твой слух не ранит
Неистовая речь,
Теперь никто не станет
Свечу до утра жечь.

Добились мы покою
И непорочных дней...
Ты плачешь — я не стою
Одной слезы твоей.

27 августа 1921
Царское Село

А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травою стелется,
И струится пене панихиидное,
Не печальное нынче, а светлое.
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчиков и девочек
Поглядеть на могилы отцовские,
А кладбище — роща соловьиная,
От сияния солнечного замерло.
Принесли мы Смоленской заступнице,
Принесли пресвятой богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее, —
Александра, лебедя чистого.

Август 1921

О. А. Глебовой-Судейкиной

Пророчишь, горькая, и руки уронила,
Прилипла прядь волос к бескровному челу,
И улыбаешься — о, не одну пчелу
Румяная улыбка соблазнила
И бабочку смущила не одну.

Как лунные глаза светлы, и напряженно
Далеко видящий остановился взор.
То мертвому ли сладостный укор,
Или живым прощаешь благосклонно
Твое изнеможенье и позор?

27 августа 1921

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.

Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

16 августа 1921

Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжет.

Упрямая, жду, что случится,
Как в песне случится со мной, —
Уверенно в дверь постучится
И, прежний, веселый, дневной,

Войдет он и скажет: "Довольно,
Ты видишь, я тоже простил", —
Не будет ни страшно, ни больно.
Ни роз, ни архангельских сил.

Затем и в беспамятстве смути
Я сердце мое берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.

30 августа 1921

На пороге белом рая,
Оглянувшись, крикнул: "Жду!"
Завещал мне, умирая,
Благостность и нищету.

И когда прозрачно небо,
Видит, крыльями звенья,
Как делюсь я коркой хлеба
С тем, кто просит у меня.

А когда, как после битвы,
Облака плавят в крови,
Слышил он мои молитвы
И слова моей любви.

Июль 1921

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
Предсказаны словом моим.
Как вороны кружатся, чуя
Горячую свежую кровь,
Так дикие песни, ликуя,
Моя насыпала любовь.

С тобою мне сладко и знайно,
Ты близок, как сердце в груди.
Дай руки мне, слушай спокойно.
Тебя заклинаю: уйди,
И пусть не узнаю я, где ты.
О Муза, его не зови,
Да будет живым, невоспетым
Моей не узнавший любви.

Осень 1921
Петербург

Долгим взглядом твоим истомленная,
И сама научилась томить.
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить?

Быть твою сестрою отрадною
Мне завещано древней судьбой,
А я стала лукавой и жадною
И сладчайшей твою работой.

Но когда замираю, смиренная,
На груди твоей снега белей,
Как ликует твое умудренное
Сердце — солнце отчизны моей!

25 сентября 1921

Клевета

И всюду клевета сопутствовала мне,
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,

То как предательство, то как невинный страх.
 Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
 Есть у меня ответ достойный и суровый,
 Но неизбежный день уже предвижу я, —
 На утренней заре придут ко мне друзья,
 И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
 И образок на грудь остывшую положат,
 Никем не знаема, тогда она войдет,
 В моей крови ее неутоленный рот
 Считать не устает небывшие обиды,
 Виляет голос свой в моленья панихиды.
 И станет вялен в всем ее постыдный бред,
 Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,
 Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
 Чтобы в последний раз душа моя горела
 Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
 И дикой жалостью к оставленной земле.

1 (14) января 1922

III. Голос памяти

Широко распахнуты ворота,
 Липы нищенски обнажены,
 И темна сухая позолота
 Нерушимой вогнутой стены.

Гулом полны алтари и склепы,
 И за Днепр широкий звон летит.
 Так тяжелый колокол Мазепы
 Над Софийской площадью гудит.

Всё грозней бушует, непреклонный,
 Словно здесь еретиков казнят,
 А в лесах заречных, примиренный,
 Веселит пушистых лисенят.

15 сентября 1921

Почернел, искривился бревенчатый мост,
 И стоят лопухи в человеческий рост,
 И крапивы дремучей поют леса,
 Что по ним не пройдет, не блеснет коса.
 Вечерами над озером слышен вздох,
 И по стенам расползся корявый мох.

Я встречала там
 Двадцать первый год,
 Сладок был устам
 Черный, душный мед.

Сучья рвали мне
 Платья белый шелк,
 На кривой сосне
 Соловей не молк.

На условный крик
 Выйдет из норы,
 Словно леший дик,
 А нежней сестры.

На гору бегом,
 Через речку вплыв,
 Да зато потом
 Не скажу: оставь.

1917

Тот август как желтое пламя,
 Пробившееся сквозь дым,
 Тот август поднялся над нами,
 Как огненный серафим.

И в город печали и гнева
 Из тихой Корельской земли

Мы двое — воин и дева —
Студеным утром вошли.

Что сталося с нашей столицей,
Кто солнце на землю низвел?
Казался летящей птицей
На штандарте черный орел.

На дикий лагерь похожим
Стал город пышных смотров,
Слепило глаза прохожим
Сверканье пик и штыков.

И серые пушки гремели
На Троицком гулком мосту,
А липы еще зеленели
В таинственном Летнем саду.

И брат мне сказал: настали
Для меня великие дни.
Теперь ты наши печали
И радость одна храни.

Как будто ключи оставил
Хозяйке усадьбы своей,
А ветер восточный славил
Ковыли приволжских степей.

1915

Призрак

Зажженных рано фонарей
Шары висячие скрежещут,
Всё праздничнее, всё светлей
Снежинки, пролетая, блещут.

И, ускоряя ровный бег,
Как бы в предчувствии погони,
Сквозь мягко падающий снег
Под синей сеткой мчатся кони.

И раззолоченный гайдук
Стоит недвижно за санями,
И странно царь глядит вокруг
Пустыми светлыми глазами.

Зима 1919

Три стихотворения •

1

Да, я любила их, те сборища ночные, —
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

2

Соблазна не было. Соблазн в тиши живет,
Он постника томит, святителя гнетет

И в полночь майскую над молодой черницей
Кричит истомно раненой орлицей.

А сим распутникам, сим грешницам любезным
Неведомо объятье рук железных.

3

Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой,
Смотрю взволнованно на темные палаты?

Уже привыкшая к высоким, чистым звонам,
Уже судимая не по земным законам,
Я, как преступница, еще влекусь туда,
На место казни долгой и стыда.
И вижу дивный град, и слышу голос милый,
Как будто нет еще таинственной могилы,
Где, день и ночь, склоняясь, в жары и холода,
Должна я ожидать последнего суда.

Январь 1917

Колыбельная

Далеко в лесу огромном,
Возле синих рек,
Жил с детьми в избушке темной
Бедный дровосек.

Младший сын был ростом с пальчик, —
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

1915

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит.

Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой...
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало.

15 сентября 1921
Царское Село

Буду черные грядки холить,
Ключевой водой поливать;
Полевые цветы на воле,
Их не надо трогать и рвать.

Пусть их больше, чем звезд зажженных
В сентябрьских небесах, —
Для детей, для бродяг, для влюбленных
Вырастают цветы на полях.

А мои — для святой Софии
В тот единственный светлый день,
Когда возгласы литургии
Возлетят под дивную сень.

И, как волны приносят на сушу
То, что сами на смерть обрекли,
Принесу покаянную душу
И цветы из Русской земли.

Лето 1916
Слепнево

Новогодняя баллада

И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.

Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.

Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?

Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
“Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!”

А друг, поглядевши в лицо мое
И вспомнив бог весть о чем,
Воскликнул: “А я за песни ее,
В которых мы все живем!”

Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: “Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет”.

1923

О, знала ль я, когда в одежде белой
Входила Муза в тесный мой приют,
Что к лире, навсегда окаменелой,
Мои живые руки припадут.

О, знала ль я, когда неслась, играя,
Моей души последняя гроза,
Что лучшему из юношей, рыдая,
Закрою я орлиные глаза.

О, знала ль я, когда, томясь успехом,
Я искушала дивную судьбу,
Что скоро люди беспощадным смехом
Ответят на предсмертную мольбу.

1925

Многим

Я – голос ваш, жар вашего дыханья,
Я – отраженье вашего лица,
Напрасных крыл напрасны трепетанья,
Ведь всё равно я с вами до конца.

Вот отчего вы любите так жадно
Меня в грехе и в немоши моей;
Вот отчего вы дали неоглядно
Мне лучшего из ваших сыновей;
Вот отчего вы даже не спросили
Меня ни слова никогда о нем
И чадными хвалами задымили
Мой навсегда опустошенный дом.
И говорят – нельзя теснее слиться,
Нельзя непоправимее любить...

Как хочет тень от тела отделиться,
Как хочет плоть с душою разлучиться,
Так я хочу теперь – забытой быть.

Сентябрь 1922

ТРОСТИК
1924—1940

Я ИГРАЮ В НИХ ВО ВСЕХ ПЯТИ.

Б. П.

Надпись на книге

М. Лозинскому

Почти от залетейской тени
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары,
Чтоб та, над временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена, —
Мне улынулась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад...
И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград
Возникли, словно в книге этой
Из мглы магических зеркал,
И над задумчивою Летой
Тростник оживший зазвучал.

Май 1940

Муз

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.

196

Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостью с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: “Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?” Отвечает: “Я”.

1924

Художнику

Мне всё твоя мерещится работа,
Твои благословенные труды:
Лип, навсегда осенних, позолота
И синь сегодня созданной воды.

Подумай, и тончайшая дремота
Уже ведет меня в твои сады,
Где, каждого пугаясь поворота,
В беспамятстве ищу твои следы.

Войду ли я под свод преображеный,
Твоей рукою в небо превращенный,
Чтоб остудился мой постылый жар?..

Там стану я блаженною навеки,
И, раскаленные смежая веки,
Там снова обрету я слезный дар.

1924

Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось

197

У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час —
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.

1927
Кисловодск

Если плещется лунная жуть,
Город весь в ядовитом растворе.
Без малейшей надежды заснуть
Вижу я сквозь зеленую муть
И не детство мое, и не море,
И не бабочек брачный полет
Над грядой белоснежных нарциссов
В тот какой-то шестнадцатый год...
А застывший навек хоровод
Надмогильных твоих кипарисов.

1 октября 1928

Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.

Всё, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать —

Всё унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал...
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.

И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый
Всходил со мною на крыльца.

1929

Двустишие

От других мне хвала — что зола,
От тебя и хула — похвала.

1931

Заклинание

Из высоких ворот,
Из заохтенских болот,
Путем нехоженым,
Лугом некошеным,
Сквозь ночной кордон,
Под пасхальный звон,
Незваный,
Несуженый, —
Приди ко мне ужинать.

15 апреля 1936

Не прислал ли лебедя за мною,
Или лодку, или черный плот?
Он в шестнадцатом году весною

Обещал, что скоро сам придет.
 Он в шестнадцатом году весною
 Говорил, что птицей прилечу
 Через мрак и смерть к его покою,
 Прикоснусь крылом к его плечу.
 Мне его еще смеются очи
 И теперь шестнадцатой весной.
 Что мне делать! Ангел полуночи
 До зари беседует со мной.

Февраль 1936
 Москва

Одни глядятся в ласковые взоры,
 Другие пьют до солнечных лучей,
 А я всю ночь веду переговоры
 С неукротимой совестью своей.

Я говорю: "Твое несу я бремя
 Тяжелое, ты знаешь, сколько лет".
 Но для нее не существует времени,
 И для нее пространства в мире нет.

И снова черный масленичный вечер,
 Зловещий парк, неспешный бег коня
 И полный счастья и веселья ветер,
 С небесных круч слетевший на меня.

А надо мной спокойный и двурогий
 Стоит свидетель... о, туда, туда,
 По древней подкапризовой дороге,
 Где лебеди и мертвая вода.

3 ноября 1935
 Фонтанный Дом

От тебя я сердце скрыла,
 Словно бросила в Неву...
 Прирученной и бескрылой
 Я в дому твоем живу.
 Только... ночью слышу скрипы.
 Что там — в сумраках чужих?
 Шереметевские липы...
 Перекличка домовых...
 Осторожно подступает,
 Как журчание воды,
 К уху жарко приникает
 Черный шепоток беды —
 И бормочет, словно дело
 Ей всю ночь возиться тут:
 "Ты уюта захотела,
 Знаешь, где он — твой уют?"

1936

Поэт

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
 Косится, смотрит, видит, узнает,
 И вот уже расплавленным алмазом
 Сияют лужи, изнывает лед.

В лиловой мгле покоятся задворки,
 Платформы, бревна, листья, облака.
 Свист паровоза, хруст арбузной корки,
 В душистой лайке робкая рука.

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
 И вдруг притихнет — это значит, он
 Пугливо пробирается по хвоям,
 Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.

И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец...
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец?

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф, —

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

19 января 1936

Воронеж

О. М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталиям я прохожу несмелю.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,

Как будто пьют за ликование наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

4 марта 1936

Годовщину последнюю праздную —
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы — той, алмазной —
Повторяется снежная ночь.

Пар валит из-под царских конюшен,
Погружается Мойка во тьму,
Свет луны как нарочно притущен,
И куда мы идем — не пойму.

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.

В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталиях...
Чья с мою сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх.

И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом.
И внезапным согретый лучом
Снежный прах так тепло серебрится.

1939

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот,
А золото — ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком — любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом,
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...

1933

Всё это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врываются во тьму декабряской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Отвествуют каким-то странным эхом...
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

1938

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...

Ночь.

1940

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

22 июня 1939
Фонтанский Дом

Данте

Il mio bel San Giovanni.
Dante¹

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,

¹ Мой прекрасный Сан-Джованни.
Данте (им.).

Этому я эту песнь пою.
 Факел, ночь, последнее объятье,
 За порогом дикий волль судьбы.
 Он из ада ей послал проклятье
 И в раю не мог ее забыть, —
 Но босой, в рубахе покаянной,
 Со свечой зажженной не прошел
 По своей Флоренции желанной,
 Вероломной, низкой, долгожданной...

17 августа 1936

Клеопатра

*Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.*

Пушкин

Уже целовала Антония мертвые губы,
 Уже на коленях пред Августом слезы лила...
 И предали слуги. Грохочут победные трубы
 Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.
 И входит последний плененный ее красотою,
 Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
 “Тебя — как рабыню... в триумфе пошлет пред
 собою...”
 Но шеи лебяжьей всё так же спокоен наклон.

А завтра детей закуют. О, как мало осталось
 Ей дела на свете — еще с мужиком попутить
 И черную змейку, как будто прощальную жалость,
 На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

7 февраля 1940

Ива

И дряхлый пук дерев.
Пушкин

А я росла в узорной тишине,
 В прохладной детской молодого века.
 И не был мил мне голос человека,
 А голос ветра был понятен мне.
 Я лопухи любила и крапиву,
 Но больше всех серебрянью иву.
 И, благодарная, она жила
 Со мной всю жизнь, плакучими ветвями
 Бессонницу овеивала снами.
 И — странно! — я ее пережила.
 Там пень торчит, чужими голосами
 Другие ивы что-то говорят
 Под нашими, под теми небесами.
 И я молчу... Как будто умер брат.

18 января 1940

Из цикла “Юность”

Мои молодые руки
 Тот договор подписали
 Среди цветочных киосков
 И граммофонного треска,
 Под взглядом косым и пьяным
 Газовых фонарей.
 И старше была я века
 Ровно на десять лет.

А на закат наложен
 Был белый траур черемух,
 Что осипался мелким

Душистым сухим дождем...
И облака сквозили
Кровавой цусимской пеной,
И плавно ландо катили
Теперешних мертвцевов...

А нам бы тогдашний вечер
Показался бы маскарадом,
Показался бы карнавалом,
Феерией grand gala...¹

От дома того — ни щепки,
Та вырублена аллея,
Давно опочили в музее
Те пляпты и башмачки.
Кто знает, как пусто небо
На месте упавшей башни,
Кто знает, как тихо в доме,
Куда не вернулся сын.

Ты неотступен, как совесть,
Как воздух, всегда со мною,
Зачем же зовешь к ответу?
Свидетелей знаю твоих.
То Павловского вокзала
Раскаленный музыкой купол
И водопад белогривый
У Баболовского дворца.

1940

Подвал памяти

Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.

¹ Пышное торжество (*фр.*).

Не часто я у памяти в гостях,
Да и она меня всегда морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется — опять глухой обвал
Уже по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда, к врагу.
И я прошу, как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два зеленых изумруда.
И котмяукнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

18 января 1940

Так отлетают темные души...
“Я буду бредить, а ты не слушай.

Зашел ты нечаянно, ненароком,
Ты никаким ведь не связан сроком,

Побудь же со мною теперь подольше.
Помнишь, мы были с тобою в Польше?

Первое утро в Варшаве... Кто ты?
Ты уж другой или третий?” — “Сотый”.

“А голос совсем такой, как прежде.
Знаешь, я годы жила в надежде,

Что ты вернешься, и вот — не рада.
Мне ничего на земле не надо:

Ни громов Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый,

И Троя не пала, и жив Эабани.
И всё потонуло в душистом тумане.

Я б задремала под ивой зеленою,
Да нет мне покоя от этого звона.

Что он? — то с гор возвращается стадо?
Только в лицо не дохнула прохлада.

Или идет священник с дарами?
А звезды на небе и ночь над горами...

Или сзывают народ на вече?"
— "Нет, это твой последний вечер".

1940

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

21 мая 1940

РАЗРЫВ

1

Не недели, не месяцы — годы
Расставались. И вот наконец
Холодок настоящей свободы
И седой над висками венец.

Больше нет ни измен, ни предательств,
И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

1940

2

И, как всегда бывает в дни разрыва,
К нам постучался призрак первых дней,
И ворвалась серебряная ива
Седым великолением ветвей.

Нам, исступленным, горьким и надменным,
Не смеющим глаза поднять с земли,
Запела птица голосом блаженным
О том, как мы друг друга берегли.

25 сентября 1944

3

ПОСЛЕДНИЙ ТОСТ

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших губ,

За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что бог не спас.

27 июня 1934

Маяковский в 1913 году

Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Всё, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты, — разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
Одинок и часто недоволен,
С нетерпением торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

3–10 марта 1940

Надпись на книге “Подорожник”

Совсем не тот таинственный художник,
Избороздивший Гофмановы сны, —
Из той далекой и чужой весны
Мне чудится смиренный подорожник.

Он всюду рос, им город зеленел,
Он украшал широкие ступени,
И с факелом свободных песнопений
Психея возвращалась в мой придел.

А в глубине четвертого двора
Под деревом плясала детвора
В восторге от шарманки одногой,

И била жизнь во все колокола...
А бешеная кровь меня к тебе вела
Сужденной всем, единственной дорогой.

18 января 1941

Ленинград в марте 1941 года

Cadran solaire¹ на Меньшиковом доме.
Подняв волну, проходит пароход.
О, есть ли что на свете мне знакомей,
Чем шпилей блеск и отблеск этих вод!
Как щелочка, чернеет переулок.
Садятся воробы на провода.
У наизусть затверженных прогулок
Соленый привкус — тоже не беда.

1941

¹ Солнечные часы (фото).

СЕДЬМАЯ КНИГА

<1936—1964>

ПАЛА СЕДЬМАЯ ЗАВЕСА ТУМАНА, —
ТА, ЗА КОТОРОЙ ПРИХОДИТ ВЕСНА.

T.K.

ТАЙНЫ РЕМЕСЛА

1

Творчество

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Не узнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, всё победивший звук.
Так вокруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

5 ноября 1936

214

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах всё быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

21 января 1940

3

Муза

Как и жить мне с этой обузой,
А еще называют Музой,
Говорят: "Ты с ней на лугу..."
Говорят: "Божественный лепет..."
Жестче, чем лихорадка, отрешил,
И опять весь год ни гу-гу.

4

Поэт

Подумаешь, тоже работа —
Беспечное это жит'е:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.

215

И, чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Покляться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.

А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.

Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой,
И всё — у ночной тишины.

*Лето 1959
Комарово*

5

Читатель

Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытым. О нет!
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

И рампа торчит под ногами,
Всё мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта холодное пламя
Его заклеймило чело.

А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там всё, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.

Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят,

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной....
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

*Лето 1959
Комарово*

6

Последнее стихотворение

Одно, словно кем-то встревоженный гром,
С дыханием жизни врывается в дом,
Смеется, у горла трепещет,
И кружится, и рукоплещет.

Другое, в полночной родясь тишине,
Не знаю откуда крадется ко мне,
Из зеркала смотрит пустого
И что-то бормочет сурово.

А есть и такие: средь белого дня,
Как будто почти что не видя меня,
Струятся по белой бумаге,
Как чистый источник в овраге.

А вот еще: тайное бродит вокруг —
Не звук и не цвет, не цвет и не звук,
Гранится, меняется, вьется,
А в руки живым не дается.

Но это!.. по капельке выпило кровь,
Как в юности злая девчонка — любовь,
И, мне не сказавши ни слова,
Безмолвием сделалось снова.

И я не знавала жесточе беды.
Ушло, и его протянулись следы
К какому-то крайнему краю,
А я без него... умираю.

1 декабря 1959
Ленинград

7

Эпиграмма

Могла ли Биче, словно Дант, творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, боже, как их замолчать заставить!

1958

8

Про стихи

Владимиру Нафту

Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар,
Это — сотен белых звонниц

218

Первый утренний удар...
Это — теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это — пчелы, это — донник,
Это — пыль, и мрак, и зной.

Апрель 1940
Москва

9

Осипу Мандельштаму

О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там —
Там, где кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам;

Там, где наши проносятся тени,
Над Невой, над Невой, над Невой;
Там, где плещет Нева о ступени, —
Это пропуск в бессмертие твой.

1957

10

Многое еще, наверно, хочет
Быть воспетым голосом моим:
То, что, бессловесное, грохочет,
Иль во тьме подземный камень точит,
Или пробивается сквозь дым.
У меня не выяснены счеты
С пламенем, и ветром, и водой...
Оттого-то мне мои дремоты
Вдруг такие распахнут ворота
И ведут за утренней звездой.

1942
Ташкент

219

А в книгах я последнюю страницу
 Всегда любила больше всех других, —
 Когда уже совсем неинтересны
 Герой и героиня, и прошло
 Так много лет, что никого не жалко,
 И, кажется, сам автор
 Уже начало повести забыл,
 И даже “вечность поседела”,
 Как сказано в одной прекрасной книге,
 Но вот сейчас, сейчас
 Всё кончится, и автор снова будет
 Бесповоротно одинок, а он
 Еще старается быть остроумным
 Или язвит — прости его господь! —
 Прилаживая пышную концовку,
 Такую, например:
 ...И только в двух домах
 В том городе (название неясно)
 Остался профиль (кем-то обведенный
 На белоснежной извести стены),
 Не женский, не мужской, но полный тайны.
 И, говорят, когда лучи луны —
 Зеленой, низкой, среднеазиатской —
 По этим стенам в полночь пробегают,
 В особенности в новогодний вечер,
 То слышится какой-то легкий звук,
 Причем одни его считают плачем,
 Другие разбирают в нем слова.
 Но это чудо всем поднадоело,
 Приезжих мало, местные привыкли,
 И, говорят, в одном из тех домов
 Уже ковром закрыт проклятый профиль.

25 ноября 1943
 Ташкент

Пушкин

Кто знает, что такое слава!
 Какой ценой купил он право,
 Возможность или благодать
 Над всем так мудро и лукаво
 Щутить, таинственно молчать
 И ногу ножкой называть?..

7 марта 1943
 Ташкент

Наше священное ремесло
 Существует тысячи лет...
 С ним и без света миру светло.
 Но еще ни один не сказал поэт,
 Что мудрости нет, и старости нет,
 А может, и смерти нет.

25 июня 1944
 Ленинград

Учитель

Памяти Иннокентия Анненского

А тот, кого учителем считаю,
 Как тень прошел и тени не оставил,
 Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
 И славы ждал, и славы не дождался,
 Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
 Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
 И задохнулся...

16 января 1945

В СОРОКОВОМ ГОДУ

1

Когда погребают эпоху,
 Надгробный псалом не звучит,
 Крапиве, чертополоху
 Украсить ее предстоит.
 И только могильщики лихо
 Работают. Дело не ждет!
 И тихо, так, господи, тихо,
 Что слышно, как время идет.
 А после она выплывает,
 Как труп на весенней реке, —
 Но матери сын не узнает,
 И внук отвернется в тоске.
 И клонятся головы ниже,
 Как маятник, ходит луна.

Так вот — над погибшим Парижем
 Такая теперь тишина.

5 августа 1940

2

Лондонцам

Двадцать четвертую драму Шекспира
 Пишет время бесстрастной рукой.
 Сами участники грозного пира,
 Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
 Будем читать над свинцовой рекой;
 Лучше сегодня голубку Джульетту
 С пеньем и факелом в гроб провожать.
 Лучше заглядывать в окна к Макбету,
 Вместе с наемным убийцей дрожать, —
 Только не эту, не эту, не эту,
 Этую уже мы не в силах читать!

1940

3

Тень

*Что знает женщина одна
 о смертном часе?*

О. Мандельштам

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
 Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
 И память хищная передо мной колышет
 Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
 Как спорили тогда — ты ангел или птица!
 Соломинкой тебя назвал поэт.
 Равно на всех сквозь черные ресницы
 Дарьядльских глаз струился нежный свет.
 О тень! Прости меня, но ясная погода,
 Флобер, бессонница и поздняя сирень
 Тебя — красавицу тринацатого года —
 И твой безоблачный и равнодушный день
 Напомнили... А мне такого рода
 Воспоминанья не к лицу. О тень!

9 августа 1940. Вечером

4

Уж я ль не знала бессонницы
 Все пропасти и тропы,
 Но эта как топот конницы
 Под вой одичалой трубы.
 Вхожу в дома опустелые,
 В недавний чай-то уют.
 Всё тихо, лишь тени белые
 В чужих зеркалах плывут.
 И что там в тумане — Дания,
 Нормандия или тут
 Сама я бывала ранее,

И это — переиздание
Навек забытых минут?

1940

5

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковою водой,
Ни колокольным звоном —
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.

1940

ВЕТЕР ВОЙНЫ

1

Клятва

И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

Июль 1941

Ленинград

2

Важно с девочками простились,
На ходу целовали мать,
Во всё новое нарядились,
Как в солдатики шли играть.

224

Ни плохих, ни хороших, ни средних.
Все они по своим местам,
Где ни первых нет, ни последних...
Все они опочили там.

1943

3

Первый дальнобойный
в Ленинграде

И в пестрой суете людской
Всё изменилось вдруг.
Но это был не городской,
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов —
Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить — по тому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.

Сентябрь 1941

4

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он всё слышит:

225

Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: "Хлеба!" –
До седьмого доходят неба...

Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.

28 сентября 1941 (самолет)

5

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько оставаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

23 февраля 1942

Ташкент

6–7

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!

* 226

Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбезку слышится
Детский голосок.

2

Постучись кулачком – я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда...
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

23 апреля 1942
Ташкент

8

НОХ

Статуя "Ночь" в Летнем саду

Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой...
Доченька!
Как мы тебя укрывали
Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви...

227

Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

30 мая 1942

9

Победителям

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла "берг".
Вот о вас и напишут книжки:
"Жизнь свою за други своя",
Незатейливые парнишки,—
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —
Внуки, братики, сыновья!

29 февраля 1944
Ташкент

10

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!

Ведь всё равно — вы с нами!
Все на колени, все!

Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.

Август 1942
Дюремень

11

Справа раскинулись пустыри
С древней, как мир, полоской зари.

228

Слева, как виселица, фонари.
Раз, два, три...

А надо всем еще галочий крик
И помертвевшего месяца лик
Совсем ни к чему возник.

Это — из жизни не той и не той,
Это — когда будет век золотой,

Это — когда окончится бой,
Это — когда я встречусь с тобой.

29 апреля 1944
Ташкент

12-16

Победа

1

Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родные березы
Тянут ветки, и ждут, и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сокрушим строем идут.

Январь 1942

2

Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча, —
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.

229

Победа у наших стоит дверей...
 Как гостю желанную встретим?
 Пусть женщины выше поднимут детей,
 Спасенных от тысячи тысяч смертей, —
 Так мы долгожданной ответим.

1942—1945

<4>. 27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА

И в ночи январской беззвездной,
 Сам дивясь небывалой судьбе,
 Возвращенный из смертной бездны,
 Ленинград салютует себе.

<5>. Освобожденная

Чистый ветер ели колышет,
 Чистый снег заметает поля.
 Больше вражьего шага не слышит,
 Отдыхает моя земля.

Февраль 1945

Памяти друга

И в День Победы, нежный и туманный,
 Когда заря, как зарево, красна,
 Вдовою у могилы безымянной
 Хлопочет запоздалая весна.
 Она с колен подняться не спешит,
 Дохнет на почку и траву погладит,
 И бабочку с плеча на землю ссадит,
 И первый одуванчик распустит.

8 ноября 1945

ЛУНА В ЗЕНИТЕ

ТАШКЕНТ 1942—1944

Заснуть огорченной,
 Проснуться влюбленной,
 Увидеть, как красен мак.
 Какая-то сила
 Сегодня входила
 В твое святилище, мрак!
 Мангaloчий дворик,
 Как дым твой горек
 И как твой тополь высок...
 Шехерезада
 Идет из сада...
 Так вот ты какой, Восток!

Апрель 1942

С грозных ли площадей Ленинграда
 Иль с блаженных летейских полей
 Ты прислал мне такую прохладу,
 Тополями украсил ограды,
 И азийских светил мириады
 Расстелил над печалью моей?

Март 1942

Всё опять возвратится ко мне:
 Раскаленная ночь и томленье
 (Словно Азия бредит во сне),
 Халимы соловьиное пенье,
 И библейских нарциссов цветенье,

И незримое благословенье
Ветерком шелестнет по стране.

10 декабря 1943

4

И в памяти, словно в узорной укладке:
Седая улыбка всезнающих уст,
Могильной чалмы благородные складки
И царственный карлик – гранатовый куст.

16 марта 1944

5

Третью весну встречаю вдали
От Ленинграда.
Третью? И кажется мне, она
Будет последней.
Но не забуду я никогда
До часа смерти,
Как был отраден мне звук воды
В тени древесной.
Персик зацвел, а фиалок дым
Всё благовонней.
Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине?!

1944–1956

6

Я не была здесь лет семьсот,
Но ничего не изменилось...
Всё так же льется божья милюсть
С непрекаемых высот,

Всё те же хоры звезд и вод,
Всё так же своды неба черны,

И так же ветерносит зерна,
И ту же песню мать поет.

Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоем.

5 мая 1944

7

Явление луны

A. K.

Из перламутра и агата,
Из задымленного стекла,
Так неожиданно покато
И так торжественно плыла, –
Как будто “Лунная соната”
Нам сразу путь пересекла.

25 сентября 1944

8

Как в трапезной – скамейки, стол, окно
С огромною серебряной луною.
Мы кофе пьем и черное вино,
Мы музыкою бредим...
Всё равно...
И зацветает ветка над стеной.
И в этом сладость острая была,
Неповторимая, пожалуй, сладость.
Бессмертных роз, сухого винограда
Нам родина пристанище дала.

Май 1945

Еще одно
лирическое отступление

Всё небо в рыжих голубях,
Решетки в окнах — дух гарема...
Как почка, набухает тема.
Мне не уехать без тебя —
Беглянка, беженка, поэма.

Но, верно, вспомню на лету,
Как запылал Ташкент в цвету,
Весь белым пламенем объят,
Горяч, пахуч, замысловат,
Невероятен...

Так было в том году проклятом,
Когда опять мамзель Фифи
Хамила, как в семидесятом.
А мне переводить Лютфи
Под огнедышащим закатом.

И яблони, прости их боже,
Как от венца, в любовной дрожи.
Арык на местном языке,
Сегодня пущенный, лепечет.
А я дописываю "Нечет",
Опять в предпесенной тоске.

До середины мне видна
Моя поэма. В ней прохладно,
Как в доме, где душистый мрак
И окна заперты от зноя,
И где пока что нет героя,
Но кровлю кровью залил мак.

8 ноября 1943
Ташкент. Балахана

СМЕРТЬ

1

Я была на краю чего-то,
Чему верного нет названья...
Зазывающая дремота,
От себя самой ускользанье...

2

А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достается всем, но разною ценой...
На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной.

1942
Дюрмень

Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни
На краешке окна и духота кругом,
Когда закрыта дверь, и заколдован дом
Воздушной веткой голубых глициний,
И в чашке глиняной холодная вода,
И полотенца снег, и свечка восковая
Горит, как в детстве, мотыльков сзываая,
Грохочет тишина, моих не слыша слов, —
Тогда из черноты рембрандтовских углов

Склубится что-то вдруг и спрячется туда же,
Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже...
Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.

28 марта 1944
Ташкент

Это рыси глаза твои, Азия,
 Что-то высмотрели во мне,
 Что-то выдразнили подспудное
 И рожденное тишиной,
 И томительное, и трудное,
 Как полдневный термезский зной.
 Словно вся память в сознание
 Раскаленной лавой текла,
 Словно я свои же рыдания
 Из чужих ладоней пила.

1945

ТАШКЕНТ ЗАЦВЕТАЕТ

1

Словно по чьему-то повелению,
 Сразу стало в городе светло —
 Это в каждый двор по привидению
 Белому и легкому вошло.
 И дыханье их понятней слова,
 А подобье их обречено
 Среди неба жгуче-голубого
 На арычное ложиться дно.

2

Я буду помнить звездный кров
 В сиянье вечных слав
 И маленьких баранчиков
 У чернокосых матерей
 На молодых руках.

1944

С САМОЛЕТА

1

На сотни верст, на сотни миль,
 На сотни километров
 Лежала соль, шумел ковыль,
 Чернели рощи кедров.
 Как в первый раз я на нее,
 На Родину, глядела.
 Я знала! это всё мое —
 Душа моя и тело.

2

Белым камнем тот день отмечу,
 Когда я о победе пела,
 Когда я победе навстречу,
 Обгоняя солнце, летела.

3

И весеннего аэродрома
 Шелестит под ногой трава.
 Дома, дома — ужели дома!
 Как всё ново и как знакомо,
 И такая в сердце истома,
 Сладко кружится голова...
 В свежем грохоте майского грома
 Победительница Москва!

Май 1944

Новоселье

1

Хозяйка

E. С. Булгаковой

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолуния.
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

*5 августа 1943
Ташкент*

2

Гости

“...ты пьян,
И всё равно пора нах хауз...”
Состарившийся Дон Жуан
И вновь помолодевший Фауст
Столкнулись у моих дверей —
Из кабака и со свиданья!..
Иль это было лишь ветвей
Под черным ветром колыханье,
Зеленою магией лучей,
Как ядом, залитых, и всё же —
На двух знакомых мне людей
До отвращения похожих?

11 ноября 1943

Измена

Не оттого, что зеркало разбилось,
Не оттого, что ветер выл в трубе,
Не оттого, что в мысли о тебе
Уже чужое что-то просочилось, —
Не оттого, совсем не оттого
Я на пороге встретила его.

27 февраля 1944

4

Встреча

Как будто страшной песенки
Веселенький припев —
Идет по шаткой лесенке,
Разлуку одолев.
Не я к нему, а он ко мне —
И голуби в окне...
И двор в плюще, и ты в плаще
По слову моему.
Не он ко мне, а я к нему —
во тьму,
во тьму,
во тьму.

*16 октября 1943
Ташкент*

ВЕРЕНИЦА ЧЕТВЕРОСТИШИЙ

<1>

Что войны, что чума? — конец им виден скорый,
Их приговор почти произнесен.

Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?

1962

<2>

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле – печаль
И долговечней – царственное слово.

1945

<3>

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

1946

<4>

К стихам

Вы так вели по бездорожью,
Как в мрак падучая звезда.
Вы были горечью и ложью,
А утешеньем – никогда.

<5>

...И на этом сквозняке
Исчезают мысли, чувства...
Даже вечное искусство
Нынче как-то налегке.

Ташкент

<6>

И скоро оно и богато,
То сердце... богатство тай!
Чего ж ты молчишь виновато?
Глаза б не глядели мои!

Десятие годы

<7>

Имя

Татарское, дремучее
Пришло из никуда,
К любой беде липучее,
Само оно – беда.

<8>

Конец демона

Словно Врубель наш вдохновенный,
Лунный луч тот профиль чертил.
И поведал ветер блаженный
То, что Лермонтов утаил.

1961

<9>

И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной...
“Онегина” воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной.

<10>

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле

Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

1962

<11>

Взоры огненной огня
И усмешка Леля...
Не обманывай меня,
Первое апреля!

1963

<12>

И слава лебедью плыла
Сквозь золотистый дым.
А ты, любовь, всегда была
Отчаяньем моим.

Десятие годы

Три осени

Мне летние просто невнятны улыбки,
И тайны в зиме не найду.
Но я наблюдала почти без ошибки
Три осени в каждом году.

И первая — праздничный беспорядок
Вчерашнему лету назло,
И листья летят, словно ключья тетрадок,
И запах дымка так ладанно-сладок,
Всё влажно, пестро и светло.

И первыми в танец вступают березы,
Накинув сквозной убор,

Стряхнув второпях мимолетные слезы
На соседку через забор.

Но эта бывает — чуть начата повесть.
Секунда, минута — и вот
Приходит вторая, бесстрастна, как совесть.
Мрачна, как воздушный налет.

Все кажутся сразу бледнее и старше,
Разграблен летний уют,
И труб золотых отдаленные марши
В пахучем тумане плывут...

И в волнах холодных его фимиама
Закрыта высокая твердь,
Но ветер рванул, распахнулось — и прямо
Всем стало понятно: кончается драма,
И это не третья осень, а смерть.

*6 ноября 1943
Ташкент*

Под Коломной

Шервинским

..Где на четырех высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись, где в поле мятный запах,
И гуляют маки в красных шляпах,
И течет московская река, —
Всё бревенчато, дощато, гнуто...
Полноземно щедится минута
На часах песочных. Этот сад
Всех садов и всех лесов дремучей,
И над ним, как над бездонной кручей,

Солнца древнего из сизой тучи
Пристален и нежен долгий взгляд.

1 сентября 1943
Ташкент

Все души милых на высоких звездах.
Как хорошо, что некого терять
И можно плакать. Царскосельский воздух
Был создан, чтобы песни повторять.

У берега серебряная ива
Касается сентябрьских ярких вод.
Из прошлого восставши, молчаливо
Ко мне навстречу тень моя идет.

Здесь столько лир повешено на ветки,
Но и моей как будто место есть.
А этот дождик, солнечный и редкий,
Мне утешенье и благая весть.

1921

Пятым действием драмы
Веет воздух осенний,
Каждая клумба в парке
Кажется свежей могилой.
Справлена чистая тризна,
И больше нечего делать.
Что же я медлю, словно
Скоро свершится чудо?
Так тяжелую лодку долго
У пристани слабой рукою
Удерживать можно, прощаясь
С тем, кто остался на суще.

1921
Царское Село

Вторая годовщина

Нет, я не выплакала их.
Они внутри скипелись сами.
И всё проходит пред глазами
Давно без них, всегда без них.

Без них меня томит и душит
Обиды и разлуки боль.
Проникла в кровь — трезвит и сушит
Их всесжигающая соль.

Но мнится мне: в сорок четвертом,
И не в июня ль первый день,
Как на шелку возникла стертом
Твоя страдальческая тень.

Еще на всем печать лежала
Великих бед, недавних гроз, —
И я свой город увидала
Сквозь радугу последних слез.

31 мая 1946
Ленинград

Последнее возвращение

У меня одна дорога:
От окна и до порога.

Песня

День шел за днем — и то и се
Как будто бы происходило
Обыкновенно — но через все
Уж одиночество сквозило.
Припахивало табаком,
Мышами, сундуком открытым

И обступало ядовитым
Туманцем...

25 июля 1944
Ленинград

Надпись на портрете

T. B-ой

Дымное исчадье полнолуния,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Розовая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камей.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.

Лето 1946

Прошло пять лет, — и залечила раны,
Жестокой нанесенные войной,
Страна моя,
и русские поляны
Опять полны студеной тишиной.

И маяки сквозь мрак приморской ночи,
Путь указя моряку, горят.
На их огонь, как в дружеские очи,
Далеко с моря моряки глядят.

Где танк гремел — там ныне мирный трактор,
Где выл пожар — благоухает сад,
И по изрытому когда-то тракту
Автомобили легкие летят.

Где елей искалеченные руки
Взвали к мицению — зеленеет ель,
И там, где сердце ныло от разлуки, —
Там мать поет, качая колыбель.

Ты стала вновь могучей и свободной,
Страна моя!

Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
Войной испепеленные года.

Для мирной жизни юных поколений,
От Каспия и до полярных льдов,
Как памятники выжженных селений,
Встают громады новых городов.

Май 1950

Приморский парк Победы

Еще недавно плоская коса,
черневшая уныло в невской дельте,
как при Петре, была покрыта мхом
и ледяною пеной омыта.

Скучали там две-три плачущих ивы,
и дряхлая рыбацкая ладья
в песке прибрежном грустно догнивала.
И буйный ветер гостем был единственным
бездонного и мертвого болота.

Но ранним утром вышли ленинградцы
бесчисленными толпами на взморье.
И каждый посадил по деревцу
на той косе, и топкой и пустынной,
на память о великом Дне Победы.

И вот сегодня — это светлый сад,
привольный, ясный, под огромным небом:
курчавятся и зацветают ветки,
жужжат шмели, и бабочки порхают,
и соком наливаются дубки,
а лиственницы нежные и липы
в спокойных водах тихого канала,
как в зеркале, любуются собой...
И там, где прежде парус одинокий
белел в серебряном тумане моря, —
десятка быстрокрылых, легких яхт
на воле тешатся...

Издалека
восторженные клики с стадиона
доносятся...

Да, это парк Победы.

1950

Песня мира

Качаясь на волнах эфира,
Минуя горы и моря,
Лети, лети голубкой мира,
О песня звонкая моя!
И расскажи тому, кто слышит,
Как близок долгожданный век,
Чем ныне и живет и дышит
В твоей Отчизне человек.
Ты не одна — их будет много,
С тобой летящих голубей, —
Вас у далекого порога
Ждет сердце ласковых друзей.
Лети в закат багрово-алый,
В удущливый фабричный дым,
И в негритянские кварталы,
И к водам Ганга голубым.

1950

Говорят дети

В садах впервые загорелись маки,
И лету рад, и вольно дышит город
Приморским ветром свежим и соленым.
По рекам лодки пестрые скользят,
И юных липок легонькие тени —
Пришлици милых — на сухом асфальте,
Как свежая улыбка...
Вдруг горькие ворвались в город звуки,
Из хора эти голоса — из хора сирот, —
И звуков нет возвышенней и чище,
Негромкие, но слышны на весь мир.
И в рупоре сегодня этот голос,
Пронзительный, как флейта. Он несется
Из-под каштанов душного Парижа,
Из опустевших рейнских городов,
Из Рима древнего.

И он доходчив,
Как жаворонка утренняя песня.

Он — всем родной и до конца понятный...
О, это тот сегодня говорит,
Кто над своей увидел колыбелью
Безумьем искаженные глаза,
Что прежде на него всегда глядели,
Как две звезды, —

и это тот,
Кто спрашивал:
“Когда отца убили?”
Ему никто не смеет возразить,
Остановить его и переспорить.

Вот он, светлоголовый, ясноглазый,
Всеобщий сын, всеобщий внук.

Клянемся,
Его мы сохраним для счастья мира!

1 июня 1950

В пионерлагере

Ане Каминской

Здравствуй, племя младое,
незнакомое...

Пушкин

Как будто заблудившись в нежном лете,
Бродила я вдоль липовых аллей
И увидала, как плясали дети
Под легкой сеткой молодых ветвей.
Среди деревьев этот резвый танец,
И сквозь загар пробившийся румянец,
И быстрые движенья смуглых рук
На миг заворожили все вокруг.
Алмазами казались солнца блики,
Волшебный ветерок перелетал
И то лесною веял земляникой,
То соснами столетними дышал.
Под ярко-голубыми небесами
Огромный парк был полон голосами,
И даже эхо стало молодым...
... Там дети шли с знаменами своими,
И Родина сама,
любуясь ими,
Незримое чело склонила к ним.

Июль 1950
ПавловскCINQUE¹Autant que toi sans doute il te sera fidèle
Et constant jusques à la mort.Baudelaire²

1

Как у облака на краю,
Вспоминаю я речь твою,А тебе от речи моей
Стали ночи светлее дней.Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.Ни отчаянья, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.Но живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову.И ту дверь, что ты приоткрыл,
Мне захлопнуть не хватит сил.

26 ноября 1945

2

Истилают звуки в эфире,
И заря притворилась тьмой.
В навсегда онемевшем мире
Два лишь голоса: твой и мой.¹ Пять <пятерка> (*ut.*).² Как ты сама, несомненно, будет он тебе верным
И постоянным до смерти.Бодлер (*фр.*).

И под ветер с незримых Ладог,
Сквозь почти колокольный звон,
В легкий блеск перекрестных радуг
Разговор ночной превращен.

20 декабря 1945

3

Я не любила с давних дней,
Чтобы меня жалели,
А с каплей жалости твоей
Иду, как солнцем в теле.
Вот отчего вокруг заря.
Иду я, чудеса творя,
Вот отчего!

20 декабря 1945

4

Знаешь сам, что не стану славить
Нашей встречи горчайший день.
Что тебе на память оставить?
Тень мою? На что тебе тень?
Посвященье сожженной драмы,
От которой и пепла нет,
Или вышедший вдруг из рамы
Новогодний страшный портрет?
Или слышимый еле-еле
Звон березовых угольков,
Или то, что мне не успели
Досказать про чужую любовь?

6 января 1946

5

Не дышали мы сонными маками,
И своей мы не знаем вины.

Под какими же звездными знаками
Мы на горе себе рождены?

И какое кромешное варево
Поднесла нам январская тьма?
И какое незримое зарево
Нас до света сводило с ума?

11 января 1946

Шиповник цветет

Из сожженной тетради

And thou art distant in Humanity.

Keats¹

Вместо праздничного поздравленья
Этот ветер, жесткий и сухой,
Принесет вам только запах тленья,
Привкус дыма и стихотворенья,
Что моей написаны рукой.

24 декабря 1961

1

Сожженная тетрадь

Уже красуется на книжной полке
Твоя благополучная сестра,
А над тобою звездных стай осколки,
И под тобою угольки костра.
Как ты молила, как ты жить хотела,
Как ты боялась едкого огня!
Но вдруг твое затрепетало тело,

¹ А ты находишься далеко среди людей.
Keats (англ.)

А голос, улетая, клял меня.
И сразу все зашелестели сосны
И отразились в недрах лунных вод.
А вокруг костра священнейшие весны
Уже вели надгробный хоровод.

1961

2

На яву

И время прочь, и пространство прочь,
Я всё разглядела сквозь белую ночь:
И нарцисс в хрустале у тебя на столе,
И сигары синий дымок,
И то зеркало, где, как в чистой воде,
Ты сейчас отразиться мог.
И время прочь, и пространство прочь...
Но и ты мне не можешь помочь.

13 июня 1946

3

Во сне

Черную и прочную разлуку
Янесу с тобою наравне.
Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку,
Обещай опять прийти во сне.

Мне с тобою как горе с горою...
Мне с тобой на свете встречи нет.
Только б ты полночною порою
Через звезды мне приспал привет.

15 февраля 1946

254

Первая песенка

Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слезы рады,
Что можно долго течь.
Шиповник Подмосковья,
Увы! при чем-то тут...
И это всё любовью
Бессмертной назовут.

1956

5

Другая песенка

*Несказанные речи
Я больше не твержу,
Но в память той
невстречи
Шиповник посажу.*

Как сияло там и пело
Нашей встречи чудо,
Я вернуться не хотела
Никуда оттуда.
Горькой было мне усладой
Счастье вместо долга,
Говорила с кем не надо,
Говорила долго.

Пусть влюбленных страсти душат.
Требуя ответа,

255

Мы же, милый, только души
У предела света.

1956

6

Сон

Сладко ль видеть неземные сны?

А. Блок

Был вещим этот сон или не вещим...
Марс вossиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим, —
А мне в ту ночь приснился твой приезд.

Он был во всем... И в баходской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.

И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!

Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожженную тетрадь.

14 августа 1956

Под Коломной

7

По той дороге, где Донской
Вел рать великую когда-то,

256

Где ветер помнит супостата,
Где месяц желтый и рогатый, —

Я шла, как в глубине морской...
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал.

8

Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, ни утолит поэт, —
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли миры силы,
Всё было в трауре, всё никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей как смоль был черен невский вал,
Глухая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама еще не понимала.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженных стая.

18 августа 1956

Старки

9

В разбитом зеркале

Непоправимые слова
Я слушала в тот вечер звездный,
И закружилась голова,
Как над пылающею бездной.

257

И гибель выла у дверей,
 И ухал черный сад, как филин,
 И город, смертно обессилен,
 Был Трои в этот час древней.
 Тот час был нестерпимо ярок
 И, кажется, звенел до слез.
 Ты отдал мне не тот подарок,
 Который издалека вез.
 Казался он пустой забавой
 В тот вечер огненный тебе.
 И стал он медленной отравой
 В моей загадочной судьбе.
 И он всех бед моих предтеча, —
 Не будем вспоминать о нем!..
 Несостоявшаяся встреча
 Еще рыдает за углом.

1956

10

Ты опять со мной, подруга осень!

Ин. Анненский

Пусть кто-то еще отдыхает на юге
 И нежится в райском саду.
 Здесь северно очень — и осень в подруги
 Я выбрала в этом году.

Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,
 Где, может быть, я умерла,
 Где странное что-то в вечерней истоме
 Хранят для себя зеркала.

Иду между черных приземистых елок,
 Там вереск на ветер похож,
 И светится месяца тусклый осколок,
 Как старый зазубренный нож.

258

Сюда принесла я блаженную память
 Последней невстречи с тобой —
 Холодное, чистое, легкое пламя
 Победы моей над судьбой.

1956

Комарово

11

Против вали я твой, царица, берег покинул.
 "Энеида", песнь 6

Не пугайся, — я еще похожей
 Нас теперь изобразить могу.
 Призрак ты — иль человек прохожий,
 Тень твою зачем-то берегу.

Был недолго ты моим Энеем, —
 Я тогда отделалась костром.
 Друг о друге мы молчать умеем.
 И забыл ты мой проклятый дом.

Ты забыл те, в ужасе и в муке,
 Сквозь огонь протянутые руки
 И надежды окаянной весть.

Ты не знаешь, что тебе простили...
 Создан Рим, плывут стада флотилий,
 И победу славословит лесть.

1962

Комарово

12

Ты стихи мои требуешь прямо...
 Как-нибудь проживешь и без них.
 Пусть в крови не осталось и грамма,
 Не впитавшего горечи их.

259

Мы сжигаем несбыточной жизни
 Золотые и пышные дни,
 И о встрече в небесной отчизне
 Нам ночные не шепчут огни.

И от наших великолепий
 Холодочка струится волна,
 Словно мы на таинственном склоне
 Чьи-то, вздрогнув, прочли имена.

Не придумать разлуку бездонней,
 Лучше б сразу тогда — наповал...
 И, наверное, нас разлученней
 В этом мире никто не бывал.

1962
 Москва

13

И это станет для людей
 Как времена Веспасиана,
 А было это — только рана
 И муки облачко над ней.

18 декабря 1964. Ночь
 Рим

Один идет прямым путем,
 Другой идет по кругу
 И ждет возврата в отчий дом,
 Ждет прежнюю подругу.
 А я иду — за мной беда,
 Не прямо и не косо,
 А в никуда и в никогда,
 Как поезда с откоса.

1940

260

Н. П.

И сердце то уже не отзовется
 На голос мой, ликуя и скорбя.
 Всё кончено... И песнь моя несется
 В пустую ночь, где больше нет тебя.

1953

...А человек, который для меня
 Теперь никто, а был моей заботой
 И утешеньем самых горьких лет, —
 Уже бредет как призрак по окрайкам,
 По закоулкам и задворкам жизни,
 Тяжелый, одурманенный безумьем,
 С оскалом волчьим...

Боже, боже, боже!
 Как пред тобой я тяжко согрешила!
 Оставь мне жалость хоть...

13 января 1945

Вот она, плодоносная осень!
 Поздновато ее привели.
 А пятнадцать блаженнейших весен
 Я подняться не смела с земли.
 Я так близко ее разглядела,
 К ней припала, ее обняла,
 А она в обреченное тело
 Силу тайную тайно лила.

13 сентября 1962
 Комарово

261

При непосылке поэмы

Приморские порывы ветра,
И дом, в котором не живем,
И тень заветнейшего кедра
Перед запретнейшим окном...
На свете кто-то есть, кому бы
Послать все эти строки. Что ж!
Пусть горько улыбнутся губы,
А сердце снова тронет дрожь.

1963

Трилистник московский

1

Почти в альбом

Услышишь гром и вспомнишь обо мне,
Подумаешь: она грозы желала...
Полоска неба будет твердо-алой,
А сердце будет как тогда — в огне.
Случится это в тот московский день,
Когда я город навсегда покину
И устремлюсь к желанному притину,
Свою меж вас еще оставив тень.

2

Без названия

Среди морозной праздничной Москвы,
Где протекает наше расставанье
И где, наверное, прочтете вы
Прошальных песен первое изданье —
Немного удивленные глаза:

262

Стихотворения

“Что? Что? Уже?.. Не может быть!”
— “Конечно!..”

И святочного неба бирюза,
И всё кругом блаженно и безгрешно...

Нет, так не расставался никогда
Никто ни с кем, и это нам награда
За подвиг наш.

3

Еще тост

За веру твою! И за верность мою!
За то, что с тобою мы в этом краю!
Пускай навсегда заколдованы мы,
Но не было в мире прекрасней зимы,

И не было в небе узорней крестов,
Воздушней цепочек, длиннее мостов...
За то, что всё плыло, беззвучно скользя.
За то, что нам видеть друг друга нельзя.

1961-1963

Полночные стихи

Семь стихотворений

Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит...

Решка

Вместо посвящения

По волнам блуждаю и прячусь в лесу,
Мерещусь на чистой эмали,

263

Разлуку, наверно, неплохо снесу,
Но встречу с тобою — едва ли.

Лето 1963

1

Предвесенняя элегия

...toi qui m'as consolée.

Gerard de Nerval¹

Меж сосен метель присмирела,
Но, пьяная и без вина,
Там, словно Офелия, пела
Всю ночь нам сама тишина.

А тот, кто мне только казался,
Был с той обручен тишиной,
Простишись, он щедро остался,
Он насмерть остался со мной.

10 марта 1963
Комарово

2

Первое предупреждение

Какое нам, в сущности, дело,
Что всё превращается в прах,
Над сколькими безднами пела
И в скольких жила зеркалах.
Пускай я не сон, не отрада
И меньше всего благодать,
Но, может быть, чаще, чем надо,
Придется тебе вспоминать —

1 ...ты, который утешил меня.
Жéраф de Nerval (фр.).

И гул затихающих строчек,
И глаз, что скрывает на дне
Тот ржавый колючий веночек
В тревожной своей тишине.

6 июля 1963
Москва

3

В зазеркалье

*O quae beatam, Diva, tenes
Cyprum et Memphis...*

Ног.¹

Красотка очень молода,
Но не из нашего столетья,
Вдвоем нам не бывать — та, третья,
Нас не оставит никогда.
Ты подвигаешь кресло ей,
Я щедро с ней делиюсь цветами...
Что делаем — не знаем сами,
Но с каждым мигом нам страшней.
Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.

5 июля 1963
Комарово

4

Тринадцать строчек

И наконец ты слово произнес
Не так, как те... что на одно колено, —

1 О, богиня, которая владычествует над счастливым Кипром и Мемфисом.

Гор^{<аций>} (лат.).

А так, как тот, кто вырвался из плена
 И видит сень священную берез
 Сквозь радугу невольных слез.
 И вокруг тебя запела тишина,
 И чистым солнцем сумрак озарился,
 И мир на миг один преобразился,
 И странно изменился вкус вина.
 И даже я, кому убийцей быть
 Божественного слова предстояло,
 Почти благовейно замолчала,
 Чтоб жизнь благословенную продлить.

8-12 августа 1963

5

Зов

В которую-то из сонат
 Тебя я спрячу осторожно.
 О! как ты позовешь тревожно,
 Непоправимо виноват
 В том, что приблизился ко мне
 Хотя бы на одно мгновенье...
 Твоя мечта — исчезновенье,
 Где смерть лишь жертва тишине.

1 июля 1963

6

Ночное посещение

Все ушли, и никто не вернулся.

Не на листопадовом асфальте
 Будешь долго ждать.
 Мы с тобой в Адажио Бивальди

266

Встретимся опять.
 Снова свечи станут тускло-желты
 И закляты сном,
 Но смычок не спросит, как вошел ты
 В мой полночный дом.
 Протекут в немом смертельном стоне
 Эти полчаса,
 Прочитаешь на моей ладони
 Те же чудеса.
 И тогда тебя твоя тревога,
 Ставшая судьбой,
 Уведет от моего порога
 В ледяной прибой.

10-13 сентября 1963

Камарово

7

И последнее

Была над нами, как звезда над морем,
 Ища лучом девятый смертный вал.
 Ты называл ее бедой и горем,
 А радостью ни разу не назвал.

Днем перед нами ласточкой кружила,
 Улыбкой расцветала на губах,
 А ночью ледяной рукой душила
 Обоих разом. В разных городах.

И, никаким не внemля словесьям,
 Перезабыв все прежние грехи,
 К бессоннейшим припавши изголовьям,
 Бормочет окаянные стихи.

23-25 июля 1963

267

Вместо послесловия

А там, где сочиняют сны,
Обоим – разных не хватило,
Мы видели один, но сила
Была в нем, как приход весны.

1965

Нечет

Приморский сонет

Здесь всё меня переживает,
Всё, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И всё похоже на аллею
У царскосельского пруда.

*Июнь 1958
Комарово*

Музыка

Д.Д.Ш.

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

1957–1958

Отрывок

...И мне показалось, что это огни
Со мною летят до рассвета,
И я не дозналась – какого они,
Глаза эти странные, цвета.

И всё трепетало и пело вокруг,
И я не узнала – ты враг или друг,
Зима это или лето.

*21 июня 1959
Москва*

Летний сад

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любаясь красотой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.

А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

И всё перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.

9 июля 1959

Ленинград

M. 3.

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плаクучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят...

Лето 1958

Комарово

Не страшай меня грозной судьбой
И великою северной скукой.

Нынче праздник наш первый с тобой,
И зовут этот праздник – разлукой.
Ничего, что не встретим зарю,
Что луна не блуждала над нами,
Я сегодня тебя одарю
Небывалыми в мире дарами:
Отраженьем моим на воде
В час, как речке вечерней не спится,
Взглядом тем, что падучей звезде
Не помог в небеса возвратиться,
Эхом голоса, что изнемог,
А тогда был и свежий и летний, –
Чтоб ты слышать без трепета мог
Воронья подмосковного сплетни,
Чтобы сырость октябрьского дня
Стала слаще, чем майская нега...
Вспоминай же, мой ангел, меня,
Вспоминай хоть до первого снега.

15 октября 1959

Ярославское шоссе

ГОРОДУ ПУШКИНА

И царскосельские хранительные сени...

Пушкин

1

О, горе мне! Они тебя сожгли...
О, встреча, что разлуки тяжелее!..
Здесь был фонтан, высокие аллеи,
Громада парка древнего вдали,
Заря была себя самой алее,
В апреле запах прели и земли,
И первый поцелуй...

8 ноября 1945

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли,
Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ.
Одичалые розы пурпурным шиповником стали,
А лицейские гимны все так же заздравно звучат.

Полстолетья прошло... Щедро взыскана дивной судьбою,
Я в беспамятстве дней забывала теченье годов, —
И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою
Очертанья живые моих царскосельских садов.

4 октября 1957
Москва

ПЕСЕНКИ

Дорожная, или Голос из темноты

Кто чего боится,
То с тем и случится, —
Ничего бояться не надо.
Эта песня пета,
Пета, да не эта,
А другая, тоже
На нее похожа...
Боже!

1943
Ташкент

Лишняя

Тешил — ужас. Грела — выюга.
Вел вдоль смерти — мрак.

Отняты мы друг у друга...
Разве можно так?

Если хочешь — расколдую,
Доброй быть позволь:
Выбирай себе любую,
Но не эту боль.

Июль 1959
Комарово

Прощальная

Не смеялась и не пела,
Целый день молчала,
А всего с тобой хотела
С самого начала:
Беззаботной первой ссоры,
Полной светлых бредней,
И безмолвной, черствой, скорой
Трапезы последней.

1959

Последняя

Услаждала бредами,
Пением могил.
Наделяла бедами
Свыше всяких сил.
Занавес неподнятый,
Хоровод теней, —
Оттого и отнятый
Был мне всех родней.
Это всё поведано
Самой глуби роз.

Но забыть мне не дано
Вкус вчерашних слез.

1964

Из цикла "Ташкентские страницы"

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, —
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы! не Варшава, не Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...

И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.

1 декабря 1959
Ленинград

Мартовская элегия

Прошлогодних сокровищ моих
Мне надолго, к несчастию, хватит.

Знаешь сам, половины из них

Злая память никак не истратит:

Набок сбившийся куполок,

Грай вороний, и вопль паровоза,
И как будто отбывшая срок

Ковылявшая в поле береза,

И огромных библейских дубов

Полуночная тайная сходка,

И из чых-то припльвшая снов
И почти затонувшая лодка.

Побелив эти пашни чуть-чуть,
Там предзимье уже побродило,

Дали все в непроглядную муть
Ненароком оно превратило.

И казалось, что после конца
Никогда ничего не бывает...

Кто же бродит опять у крыльца
И по имени нас окликает?

Кто приник к ледяному стеклу
И рукою, как веткою, машет?..

А в ответ в паутинном углу
Зайчик солнечный в зеркале пляшет.

Февраль 1960
Ленинград

Рисунок на книге стихов

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной

Черно-белый легкий венок,
А под ним тот профиль горбатый,
И парижской челки атлас,
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.

1958

Эхо

В прошлое давно пути закрыты,
И на что мне прошлое теперь?
Что там? — окровавленные плиты,
Или замурованная дверь,
Или эхо, что еще не может
Замолчать, хотя я так прошу...
С этим эхом приключилось то же,
Что и с тем, что в сердце я ношу.

1960

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там всё теперь сияет, всё в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока...

1944-1950

2

И, в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный, и сладкий.

И ветер с залива. А там, между строк,
Миняя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

1960 (?)

3

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

7 июня 1946

АНТИЧНАЯ СТРАНИЧКА

1

Смерть Софокла

Тогда царь понял, что умер Софокл.

Легенда

На дом Софокла в ночь слетел с небес орел,
И мрачно хор цикад вдруг зазвенел из сада.

А в этот час уже в бессмертье гений шел,
Минуя вражий стан у стен родного града.
Так вот когда царю приснился странный сон:
Сам Дионис ему снять повелел осаду,
Чтоб шумом не мешать обряду похорон
И дать афинянам почтить его отраду.

1961

2

Александр у Фив

Наверно, страшен был и грозен юный царь,
Когда он произнес: “Ты уничтожишь Фивы”.
И старый вождь узрел тот город горделивый,
Каким он знал его еще когда-то встарь.
Всё, всё предать огню! И царь перечислял
И башни, и врата, и храмы — чудо света,
Но вдруг задумался и, просветлев, сказал:
“Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта”.

Октябрь 1961

Ленинград. Больница в Гавани

Опять подошли “незабвенные даты”,
И нет среди них ни одной не проклятой.

Но самой проклятой восходит заря...
Я знаю: колотится сердце не зря —

От звонкой минуты перед бурей морскою
Оно наливается мутной тоскою.

На прошлом я черный поставила крест,
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,

Что ломятся в комнату липы и клены,
Гудит и бесчинствует тabor зеленый

И к брюху мостов подкатила вода?
И всё, как тогда, и все, как тогда.

16 июня 1945

Ленинград. Фонтанный Дом

Если б все, кто помочи душевной
У меня просил на этом свете,
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Каторжники и самоубийцы
Мне прислали б по одной копейке, —
Стала б я богаче всех в Египте,
Как говоривал Кузмин покойный.
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой.
И я стала всех сильней на свете,
Так что даже *это* мне не трудно.

1960

Б. П.

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.

Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Всё равно что мир оглох...
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

1947

Фонтанный Дом

Памяти поэта

Как птица мне ответит эхо.

Б. П.

1

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное... Земли.

*11 июня 1960**Москва.**Боткинская больница*

2

Словно дочка слепого Эдипа,
Музу к смерти провидца вела.
И одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела —
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Въется путь золотой и крылатый,
Где он вышею волей храним.

*11 июня 1960**Москва.**Боткинская больница*

Царскосельская ода

Девяностые годы

А в переулке забор дощатый...

Н. Г.

Настоящую оду
Нашептало... Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск — Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интенданцкие склады
И извозчичий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертovка
Там гадает гостям.

Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая...
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот призрачный мир...
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

*3 августа 1961
Комарово*

Родная земля

*И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.*

1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованым раем,
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

1961

Ленинград. Больница в Гавани

Комаровские наброски

*О Муз Плача...
М. Цветаева*

...И отступилась я здесь от всего.
От земного всякого блага.
Духом, хранителем "места сего"
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить — это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузвины...
Это — письмо от Марины.

*19-20 ноября 1961
Гавань (больница)*

Последняя роза

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Диони,
Чтобы с Жанной на костер опять.

Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Всё возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

*9 августа 1962
Комарово*

Всем обещаньям вопреки
 И перстень сняв с моей руки,
 Забыл меня на дне...
 Ничем не мог ты мне помочь.
 Зачем же снова в эту ночь
 Свой дух прислал ко мне?
 Онстроен был, и юн, и рыж,
 Он женщиною был,
 Шептал про Рим, манил в Париж,
 Как плакальщица выл...
 Он больше без меня не мог:
 Пускай позор, пускай острог...

Я без него могла.

1961
 Комарово

Памяти В.С. Срезневской

Почти не может быть, ведь ты была всегда:
 В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
 В тюремной камере и там, где злые птицы,
 И травы пышные, и страшная вода.
 О, как менялось всё, но ты была всегда,
 И мнится, что души отъяли половину,
 Ту, что была тобой, — в ней знала я причину
 Чего-то главного. И всё забыла вдруг...
 Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
 И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
 Ну что ж! попробую.

9 сентября 1964
 Комарово

В Выборге

О. А. Л-ской

Огромная подводная ступень,
 Ведущая в Нептуновы владенья, —
 Там стынет Скандинавия, как тень,
 Вся — в ослепительном одном виденье.
 Безмолвна песня, музыка нема,
 Но воздух жжется их благоуханьем,
 И на коленях белая зима
 Следит за всем с молитвенным вниманьем.

24 сентября 1964
 Комарово (Озерная, днем.)

Земля хотя и не родная,
 Но памятная навсегда,
 И в море нежно-ледяная
 И несоленая вода.

На дне песок белее мела,
 А воздух пьяный, как вино,
 И сосен розовое тело
 В закатный час обнажено.

А сам закат в волнах эфира
 Такой, что мне не разобрать,
 Конец ли дня, конец ли мира,
 Иль тайна тайн во мне опять.

1964

Стихотворения,
не вошедшие
в основное собрание

На руке его много блестящих колец –
Покоренных им девичьих нежных сердец.

Там ликует алмаз и мечтает опал,
И красивый рубин так причудливо ал.

Но на бледной руке нет кольца моего,
Никому, никогда не отдам я его.

Мне сковал его месяца луч золотой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:

“Сохрани этот дар, будь мечтою горда!”
Я кольца не отдам никому никогда.

1907

Киев

Ночь моя – бред о тебе,
День – равнодушное: пусты!
Я улыбнулась судьбе,
Мне посылающей грусть.
Тяжек вчерашний угар,
Скоро ли я догорю,
Кажется, этот пожар
Не превратится в зарю.

Долго ль мне биться в огне,
Дальнего тайно пленя?..
В страшной моей западне
Ты не увидишь меня.

1907

Киев

Из первой тетради

Отрывок

Всю ночь не давали заснуть,
Говорили тревожно, звонко,
Кто-то ехал в далекий путь,
Увозил больного ребенка,
А мать в полутемных сенях
Ломала иссохшие пальцы
И долго искала в потьмах
Чистый чепчик и одеяльце...

1909

Киев

То ли я с тобой осталась,
То ли ты ушел со мной,
Но оно не состоялось,
Разлученье, ангел мой!
И не вздох печали томной,
Не затейливый укор,
Мне внушает ужас темный
Твой спокойный ясный взор.

1909 (?)

1

Пришли и сказали: “Умер твой брат”,
Не знаю, что это значит...

Как долго сегодня алый закат
Над морем вечерним плачет.

Брата из странствий вернуть могу,
Любимого брата найду я.
Я прошлое в доме моем берегу,
Над прошлым тайно колдую.

2

“Брат! Дождалася я светлого дня,
В каких ты скитался странах?”
— “Сестра, отвернись, не смотри на меня,
Эта грудь в кровавых ранах”.

25 января 1910
Киев

На столике чай, печения сдобные,
В серебряной вазочке драже.
Подобрала ноги, села удобнее,
Равнодушно спросила: “Уже?”
Протянула руку. Мои губы дотронулись
До холодных гладких колец.
О будущей встрече мы не условились.
Я знал, что это конец.

9 ноября 1910
Киев

“Я смертельна для тех, кто нежен и юн.
Я птица печали. Я — Гамаюн.
Но тебя, сероглазый, не трону, иди.
Глаза я закрою, я крылья сложу на груди,
Чтоб, меня не заметив, ты верной дорогой пошел.
Я замру, я умру, чтобы ты свое счастье нашел...”

Так пел Гамаюн среди черных осенних ветвей,
Но путник свернул с осиянной дороги своей.

7 декабря 1910
Царское Село

В лесу

Четыре алмаза — четыре глаза,
Два совиных и два моих.
О, страшен, страшен конец рассказа
О том, как умер мой жених.

Лежу в траве я, густой и влажной,
Бессвязно-звонки мои слова,
А сверху смотрит такою важной,
Их чутко слушает сова.

Нас ели тесно обступили,
Над ними небо — черный квадрат.
Ты знаешь, знаешь, его убили,
Его убил мой старший брат —

Не на кровавом поединке
И не в сраженьи, не на войне,
А на пустынной лесной тропинке,
Когда влюбленный шел ко мне.

<1911>

Старый портрет

Скала тебя золотистым овалом
Узкая, старая рама;
Негр за тобой с голубым опахалом,
Стройная белая дама.

Тонки, по-девичьи, нежные плечи,
Смотрит надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма.

Возле на бронзовом столике цитра,
Роза в граненом бокале...
В чьих это пальцах дрожала палитра,
В этом торжественном зале?

И для кого твои жуткие губы
Стали смертельной отравой?
Негр за тобою, нарядный и грубый,
Смотрит лукаво.

<1911>
Киев

Шелестит о прошлом старый дуб.
Лунный луч лениво протянулся.
Я твоих благословенных губ
Никогда мечтою не коснулся.

Бледный лоб чадрой лиловой сжат.
Ты со мною. Тихая, больная.
Пальцы холдеют и дрожат,
Тонкость рук твоих припомненная.

Я молчал так много тяжких лет.
Пытка встреч еще неотвратима.
Как давно я знаю твой ответ:
Я люблю и не была любима.

Февраль (?) 1911

Снова со мной ты. О мальчик-игрушка!
Буду ли нежной опять, как сестра?

В старых часах притаилась кукушка.
Выглядит скоро. И скажет: "Пора".

Чутко внимаю бездумным рассказам.
Не научился ты только молчать.
Знаю, таким вот, как ты, сероглазым
Весело жить и легко умирать.

Март (?) 1911
Царское Село

В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает "Фигаро".
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.

Тебе велела я, чтоб ты ушел.
Мне сразу все твои глаза сказали...
Опилки густо устилают пол
И пахнет спиртом в полуокруглой зале.

И это юность — светлая пора

Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.

Весна 1911
Париж

Целый день провела у окошка
И томилась: "Скорей бы гроза".
Раз у дикой затравленной кошки
Я такие заметил глаза.

Верно, тот, кого ждешь, не вернется
И последние сроки прошли.

Душный зной, словно олово, льется
От небес до иссохшей земли.

Ты тоской только сердце измучишь,
Глядя в серую тускую мглу.
И мне кажется — вдруг замяушишь,
Изгибаясь на грязном полу.

Лето 1911

Слепнево

Словно тяжким огромным молотом
Раздробили слабую грудь.
Откупиться бы ярким золотом, —
Только раз, только раз отдохнуть!
Приподняться бы над подушками,
Снова видеть широкий пруд,
Снова видеть, как над верхушками
Сизых елей тучи плывут.
Всё приму я: боль и отчаянье,
Даже жалости острие.
Только пыльный свой плащ раскаянья
Не клади на лицо мое!

Осень 1911

Приходи на меня посмотреть.
Приходи. Я живая. Мне больно.
Этих рук никому не согреть,
Эти губы сказали: "Довольно!"
Каждый вечер подносят к окну
Мое кресло. Я вижу дороги.
О, тебя ли, тебя ль упрекну
За последнюю горечь тревоги!
Не боюсь на земле ничего,

В задыханьях тяжелых бледнея.
Только ночи страшны оттого,
Что глаза твои вижу во сне я.

<1912>

<Ф. К. Сологубу>

Твоя свирель над тихим миром пела,
И голос смерти тайно вторил ей,
А я, безвольная, томилась и пьяна
От сладостной жестокости твоей.

16 марта 1912

Царское Село

Загорелись иглы венчика
Вокруг безоблачного лба.
Ах! улыбчивого птенчика
Подарила мне судьба.

Октябрь 1912

Георгию Иванову

Бисерным почерком пишете, Lise,
Уже не подруге, не старой тетке.
Голуби взлетели на карниз,
Луч заиграл на балконной решетке.

Ваше окошко опять найду
Под веночком, длинной стрелой пронзенным.
Как хорошо в осеннем саду!
Как хорошо быть совсем влюбленным!

Желтое солнце светло блестит,
Желтое платье в окне золотится...

Знаю — она никогда не простит,
Если осмелюсь я ей поклониться.

<1913>

Ничего не скажу, ничего не открою.
Буду молча смотреть, наклонившись, в окно.
Как-то раз и меня повели к аналою,
С кем — не знаю. Но помню — давно...

Из окна моего вижу красные трубы,
А над трубами легкий клубящийся дым.
Но глаза я закрою. И нежные губы
Прикоснулись к ресницам моим.

То не сон, утешитель тревоги влюбленной,
И не тихий привет ветерка...
Это — ранивший душу взглянул напряженно.
Так ли рана, как прежде, ярка.

<1913>

Последнее письмо

О спутник мой неосторожный,
Мой друг ревнивый и тревожный,
Ты не пришел за мной сюда.
Сентябрь, печаль и холода,
А возвращенье невозможно
В таинственные города —
Их два, один другому равен
Суровой красотой своей
И памятью священной славен,
Улыбкой освящен твоей.
Несносен ты и своимравен,
Но почему-то всех милей.

Мне нестерпимо здесь томиться,
По четкам костяным молиться
И точно знать, что на обед
Ко мне приедет мой сосед.
Подумай, день идет за днем,
Снег выпал, к вечеру растает,
И за последним журавлем
Моя надежда улетает.
К моей тоске сосед приучен,
И часто сам вздыхает он:
“Простите, грустен я и скучен”.
А в самом деле он влюблен.
В саду под шум берез корельских
О днях мечтаю царскосельских,
О долгих спорах, о стихах
И о пленильных губах.
Но чувствую у локтя руку
Ведущего меня домой
И снова слышу, что со мной
Нельзя перенести разлуку;
Какою страшною виной
Я заслужила эту скучу?
Когда камин в гостиной топят
И гость мой стройный не торопит
Свою коляску подавать,
А словно что-то вспоминая,
Глядит на пламя не мигая,
И я люблю припомнить...
Уже, друзья, мою божницу
Устали видеть вы пустой,
И каждый новую царицу
Подводит к двери золотой.
А ты, конечно, всех проворней,
Твоя избранница покорней
Других; и скоро фимиам
Волной прильнет к ее ногам...

Тогда припомни час единый,
Вечерний удаленный час,
И крик печали лебединой,
И взор моих прощальных глаз.
Мне больше ничего не надо —
Мне это верная отрада.

Осень 1913
Слепнево

Я видел поле после града
И зачумленные стада,
Я видел грозди винограда,
Когда настали холода.

Еще я помню, как виденье,
Степной пожар в ночной тиши...
Но страшно мне опустошенье
Твоей замученной души.

Так много нищих. Будь же нищей —
Открой бесслезные глаза.
Да озарит мое жилище
Их неживая бирюза!

1913

И жар по вечерам, и утром вялость,
И губ растрескавшихся вкус кровавый.
Так вот она — последняя усталость,
Так вот оно — преддверье царства славы.
Гляжу весь день из круглого окошка:
Белеет потеплевшая ограда
И лебедою заросла дорожка,
И мне б идти по ней — такая радость.
Чтобы песок хрустел и лапы елок,

296

И черные и влажные, шуршали,
Чтоб месяца бесформенный осколок
Опять увидеть в голубом канале.

Декабрь 1913

Я любимого нигде не встретила:
Столько стран прошла напрасно.
И, вернувшись, я Отцу ответила:
“Да, Отец! — твоя земля прекрасна.

Нежило мне тело море синее,
Звонко, звонко пели птицы томные.
А в родной стране от ласки инея
Поседели сразу косы темные.

Там в глухих скитах монахи молятся
Длинными молитвами, искусными...
Знаю я, когда земля расколется,
Поглядишь ты вниз очами грустными.

Я завет твой, господи, исполнила
И на зов твой радостно ответила,
На твоей земле я всё запомнила,
И любимого нигде не встретила”.

<1914>

Вечерний звон у стен монастыря,
Как некий благовест самой природы...
И бледный лик в померкнувшие воды
Склоняет сизокрылая заря.

Над дальним лугом белые челны
Нездешние сопровождают тени...

297

Час горьких дум, о, час разуверений
При свете возникающей луны.

<1914>

Цветы, холодные от рос
И близкой осени дыханья,
Я рву для пышных, жарких кос,
Еще не знавших увяданья.
В их ночи душно-смоляной,
Повитой сладостною тайной,
Они надышатся весной
Ее красы необычайной.
Но в вихре звуков и огней
С главы сияющей, порхая,
Они падут – и перед ней
Умрут, едва благоухая.
И, движим верною тоской,
Их уладит мой взор покорный, –
Благоговеющей рукой
Сберет любовь их прах тлетворный.

<1914>

Ал. Блоку

Ты первый, ставший у источника
С улыбкой мертвый и сухой,
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжелый – полунощника.
Но годы страшные пройдут,
Ты скоро будешь снова молод,
И сохраним мы тайный холод
Тебе отсчитанных минут.

Междугодие 1912 и 1914

Пустые белые святки.
Мети, метель, мети.
Пусть дороги гладки, –
Мне не к кому идти!

Январь 1914

Тамаре Платоновне Карсавиной

Как песню, слагаешь ты легкий танец –
О славе он нам сказал, –
На бледных щеках розовеет румянец,
Темней и темней глаза.

И с каждой минутой всё больше пленных,
Забывших свое бытие,
И клонится снова в звуках блаженных
Гибкое тело твое.

Март 1914

Белая ночь

Небо бело страшной белизною,
А земля как уголь и гранит.
Под иссохшей этою луною
Ничего уже не заблестит.

Женский голос, хриплый и задорный,
Не поет, кричит, кричит.
Надо мною близко тополь черный
Ни одним листком не шелестит.

Для того ль тебя я целовала,
Для того ли мучилась, любя,

Чтоб теперь спокойно и устало
С отвращеньем вспоминать тебя?

17 июня 1914
Слепнево

На Казанском или на Волковом
Время землю пришло покупать.
Ах! под небом северным шелковым
Так легко, так прохладно спать.

Новый мост еще не достроят,
Не вернется еще зима,
Как руки мои покроет
Парчовая бахрома.

Ничьего не вспугну веселья,
Никого к себе не зову.
Мне одной справлять новоселье
В свежевыкопанном рву.

8 июля 1914
Слепнево

Кому-то желтый гроб несут,
Счастливый кто-то будет с богом,
А я забочусь о немногом,
И тесен мой земной приют.

1914

За то, что я грех прославляла,
Отступника жадно хвалия,
Я с неба ночного упала
На эти сухие поля.

И встала. И к дому чужому
Пошла, притворилась своей,
И терпкую злую истому
Принесла с июльских полей.

И матерью стала ребенку,
Женою тому, кто пел.
Но гневно и хрюплю вдогонку
Мне горный ветер свистел.

1914

В промежутке между грозами,
Мрачной яркостью богатые,
Над притихшими березами
Облака стоят крылатые.
Чуть гроза на запад спрячется
И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная.

1915
Слепнево

Отрывок

.....
О боже, за себя я всё могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.

1916 (?)

С первым звуком, слетевшим с рояля,
Я шепчу тебе: "Здравствуй, князь".
Это ты, веселя и печалия,
Надо мною стоишь, наклоняясь.

Но во взоре упорном и странном
Угадать ничего не могу,
Только в сердце моем окаянном
Золотые слова берегу.

Ты когда-нибудь, скучой томимый,
Их прочтешь на чужом языке
И подумаешь, мне серафимы
Оснащают корабль на реке.

1917

Я горькая и старая. Морщины
Покрыли сетью желтое лицо,
Спина согнулась, и трясутся руки.
А мой палач глядит веселым взором
И хвалится искусною работой,
Рассматривая на поблекшей коже
Следы побоев. Господи, прости!

1919

Петербург. Шереметевский дом

За узором дымным стекол
Хвойный лес под снегом бел.
Отчего мой ясный сокол
Не простишись улетел?

Слушаю людские речи.
Говорят, что ты колдун.
Стал мне узок с нашей встречи
Голубой шушун.

А дорога до погоста
Во сто раз длинней,
Чем тогда, когда я просто
Шла бродить по ней.

1910-е годы

Из старых стихов
(10-е годы)

Сочтенных дней осталось мало,
Уже не страшно ничего,
Но как забыть, что я слыхала
Биение сердца твоего?
Спокойно знаю — в этом тайна
Неугасимого огня.
Пусть мы встречаемся случайно
И ты не смотришь на меня.

1910-е годы

Не смущаюсь речью обидною,
Никого ни в чем не виню.
Ты кончину мне дай не постыдную
За постыдную жизнь мою.

1910-е годы

И через всё и каждый миг,
Через дела, через безделье
Сквозит, как тайное веселье,
Один непостижимый лик.
О боже! Для чего возник
Он в одинокой этой келье.

1910-е годы

Улыбнулся, вставши на пороге,
Умерло мерцание свечи.
Сквозь него я вижу пыль дороги
И косые лунные лучи.

1910-е годы

Как вышедший из западных ворот
Родного города и землю обошедший
К восточным воротам смущенно подойдет
И думает: “Где дух, меня так мудро ведший?” —
Так я...

1910-е годы

Слепнево

Не странно ли, что знали мы его?
Был скончан на похвалы, но чужд хулы и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта своего.

Август 1921

Вечер тот казни достоин,
С ним я не справлюсь никак.
Будь совершенно спокоен —
Ты ведь мужчина и враг,

Тот, что молиться мешает,
Муке не хочет помочь,
Тот, что твой сон нарушает,
Тихая, каждую ночь.

Ты ль не корил маловерных
И обличал, и учил!
Ты ли от всякия скверны
Избавить тебя не молил!

Сам я не знаю, что сталось,
К гибели, что ли, иду?
Ведь как ребенок металась
Передо мною в бреду.

Выпил я светлые капли
С глаз ее — слезы стыда.
Верно, от них и ослабли
Руки твои навсегда.

<1922>

Дьявол не выдал. Мне всё удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.

Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымоляю слова.
Нет настоящего, — прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.

Сентябрь 1922

Скучно мне оберегать
От себя людей,
Скучно кликать благодать
На чужих друзей.

1922 (?)

(Из альбома Е. Султановой-Летковой)

И ты мне всё простишь:
И даже то, что я не молодая,
И даже то, что с именем моим,

Как с благостным огнем тлетворный дым,
Слилась навеки клевета глухая.

1925

Кавказское

Десять лет и год твоя подруга
Не слыхала, как поет гроза.
Десять лет и год святого юга
Не видали греческие глаза.

1927
Кисловодск

И неоплаканною тенью
Я буду здесь блуждать в ночи,
Когда зацветшою сиренью
Играют звездные лучи.

1920-е годы
Шереметевский сад

.....
Я знаю, с места не сдвинуться
От тяжести Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать.

А после на дровнях, в сумерки,
В навозном снегу тонуть.

Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

1939

Памяти М. Б-ВА

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил,
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и всё вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всё потерявшей, всех забывшей, —
Придется поминать того, кто, полный сил
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

Март 1940
Фонтанный Дом

Уложила сыночка кудрявого
И пошла на озеро по воду,
Песни пела, была веселая,
Зачерпнула воды и слушаю:
Мне знакомый голос прислыпался,

Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже.
Вот большие бьют у Егория,
А меньшие с башни Благовещенской,
Говорят они грозным голосом:
“Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола божьего.
Что же ты на земле замешкалась
И венец надеть не торопишься?
Распустился твой крин во полуночи,
И фата до пят тебе соткана.
Что ж печалишь ты брата-воина
И сестру-голубицу схимницу,
Своего печалишь ребеночка?..”

Как последнее слово услышала,
Света я пред собою невзвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.

Март 1940

Соседка из жалости – два квартала,
Старухи, как водится, – до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.
И станет совсем один на свете
Над рыхлой, черной, родной землей,
И громче спросит, но не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

15 августа 1940

И все, кого сердце мое не забудет,
Но кого нигде почему-то нет,

И страшные дети, которых не будет,
Которым не будет двадцать лет,

А было восемь, а девять было,
А было... – Довольно, не мучь себя,
И все, кого ты вправду любила,
Живыми останутся для тебя.

1940

Жить – так на воле,
Умирать – так дома.
Волково поле,
Желтая солома.

(*День объявления войны*)
22 июня 1941

И осталось из всего земного
Только хлеб насущный твой,
Человека ласковое слово,
Чистый голос полевой.

1941

Какая есть. Желаю вам другую –
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики.
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!..

Над Азией – весенние туманы,
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.

О, что мне делать с этой чистотою
Природы и с невинностью святою,
О, что мне делать с этими людьми!..

Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества,
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова.

Седой венец достался мне недаром,
И щеки, опаленные загаром,
Уже людей пугают смуглотой.
Но близится конец моей гордыни:
Как той, другой — страдалице Марине,
Придется мне напиться пустотой.

И ты придешь под черной епанчою,
С зеленоватой страшною свечою,
И не откроешь предо мной лица.
Но мне недолго мучиться загадкой:
Чья там рука под белою перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца?

24 июня 1942

Ташкент

Любо вам под половицей
Перекликнуться с синицей
И присниться кой-кому,
Кто от вас во сне застонет,
Но и слова не проронит
Даже другу своему.

Июнь 1942

Если ты смерть — отчего же ты плачешь сама,
Если ты радость — то радость такой не бывает.

Ноябрь 1942
Ташкент

В тифу

Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная...
Ой худая, ой худая
Голова тифозная.

Про себя воображает,
На подушке мечется,
Знать не знает, знать не знает,
Что во всем ответчица,

Что за речкой, что за садом
Кляча с гробом тащится.
Меня под землю не надо б,
Я одна — рассказчица.

Ноябрь 1942
Ташкент

Глаза не свожу с горизонта,
Где метели пляшут чардаш.
Между нами, друг мой, три фронта:
Наш и вражий и снова наш.

1942 или 1943 (?)
Ташкент

Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,

Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина...

8 ноября 1943

А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет
И думает, что он незаменим,
Что всё на свете он переиначит,
Что Пастернака перепастерначит,
А я не знаю, что мне делать с ним.

1943

Ташкент

Надпись на поэме “Триптих”

И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленою веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда...
Я не такой тебя когда-то знала,
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.
Не буду я делить с тобой удачу,
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь почему.
И ночь идет, и сил осталось мало.
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму.

6 января 1944

Ташкент

Послесловие к “Ленинградскому циклу”

Разве не я тогда у креста,
Разве не я тонула в море,

Разве забыли мои уста
Вкус твой, горе!

16 января 1944

Смерть

И комната, в которой я болею,
В последний раз болею на земле,
Как будто упирается в аллею
Высоких белоствольных тополей.
А этот первый – этот самый главный,
В величии своем самодержавный,
Но как заплещет, возликует он,
Когда, минуя тусклое оконце,
Моя душа взлетит, чтобы встретить солнце,
И смертный уничтожит сон.

Январь 1944

Ташкент

De profundis...¹ Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленыи,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой горы,
До неистового цветеня
Оставалось лишь раз вздохнуть...
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

23 марта 1944

Ташкент

¹ Из глубин... <воззвал> (лат.).

От странной лирики, где каждый шаг – секрет,
Где пропасти налево и направо,
Где под ногой, как лист увядший, слава,
По-видимому, мне спасенья нет.

.....
Осень 1944

Причтание

Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
За версту я обойду
Ленинградскую беду.
Я не взглядом, не намеком,
Я не словом, не попреком,
Я земным поклоном
В поле зеленом
Помяну.

1944
Ленинград

И очертанья Фауста вдали –
Как города, где много черных башен
И колоколен с гулкими часами,
И полночей, наполненных грозою,
И старицков с негётевской судьбою,
Шарманщиков, менял и букинистов,
Кто вызвал черта, кто с ним вел торговлю
И обманул его, а нам в наследство
Оставил эту сделку...
И выли трубы, зазывая смерть,
Пред смертию смычки благоговели,
Когда какой-то странный инструмент

Предупредил, и женский голос сразу
Ответствовал, и я тогда проснулась.

1945

И увидел месяц лукавый,
Притаившийся у ворот,
Как свою посмертную славу
Я меняла на вечер тот.
Теперь меня позабудут,
И книги скроют в шкафу.
Ахматовской звать не будут
Ни улицу, ни строфи.

27 января 1946

Дорогою ценой и нежданной
Я узнала, что помнишь и ждешь.
А быть может, и место найдешь
Ты – могилы моей безымянной.

1946
Фонтанный Дом

Колыбельная

Я над этой колыбелью
Наклонилась черной елью.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай...

Я не вижу сокола
Ни вдали, ни около.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай.

26 августа 1949 (днем)
Фонтанный Дом

Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца... Я нищей
В него вошла и нищей выхожу...

1952

Из цикла "Тайны ремесла"

Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата,

4 сентября 1956

Из цикла "Сожженная тетрадь"

Пусть мой корабль пошел на дно,
Дом превратился в дым...
Читайте все — мне всё равно,
Я говорю с одним,
Кто был ни в чем не виноват,
А впрочем, мне ни сват, ни брат
.....
Как в сердце быть укоты姆
И слышать крик: умри!
Что на Фонтанке золотом
Писали фонари?

1956

Забудут? — вот чём удивили!
Меня забывали сто раз,

Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Музя и глухла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

21 февраля 1957
Ленинград

Не мудрено, что не веселым звоном
Звучит порой мой непокорный стих
И что грущу. Уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих.

А вы, друзья! Осталось вас немного, —
Мне оттого вы с каждым днем милей...
Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней.

3 марта 1958
Болшево

Позвони мне хотя бы сегодня,
Ведь ты все-таки где-нибудь есть,
А я стала безродных безродней
И не слышу крылатую весть.

9 июня 1958

Опять проходит полонез Шопена.
О, боже мой! — как много вееров,
И глаз потупленных, и нежных ртов,
Но как близка, как шелестит измена.
Тень музыки мелькнула по стене,

Но прозелени лунной не задела.
О, сколько раз вот здесь я холодела
И кто-то страшный мне кивал в окне.

.....
И как ужасен взор безносых статуй,
Но уходи и за меня не ратуй,
И не молись так горько обо мне.

.....
И голос из тринадцатого года
Опять кричит: я здесь, я снова твой...
Мне ни к чему ни слава, ни свобода,
Я слишком знаю... но молчит природа,
И сыростью пахнуло гробовой.

1958
Комарово

От меня, как от той графини,
Шел по лесенке винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий,
Страшный час над страшной Невой.

1958 (?)

Непогребенных всех – я хоронила их,
Я всех оплакала, а кто меня оплачет?

1958 (?)

Недуг томит три месяца в постели,
И смерти я как будто не боюсь.
Случайной гостьей в этом страшном теле
Я, как сквозь сон, сама себе кажусь.

<1959>

Надпись на книге

Что отдал – то твое.

Шота Руставели

Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала,
Как в негашеной извести горю
Под сводами зловонного подвала.

Я притворюсь беззвучною зимой
И вечные навек захлопну двери,
И все-таки узнают голос мой,
И все-таки ему опять поверят.

13 января 1959
Ленинград

Скорость

Бедствие это не знает предела...
Ты, не имея ни духа, ни тела,
Коршуном злобным на мир налетела,
Всё исказила и всем овладела,
И ничего не взяла.

8 августа 1959. Утро
Комарово

Четыре времени года

Сегодня я туда вернусь,
Где я была весной.
Я не горюю, не сержуясь,
И только мрак со мной.

Как он глубок и бархатист,
Он всем всегда родной,
Как дерева летящий лист,
Как ветра одинокий свист
Над гладью ледяной.

12 октября 1959
Ордынка

Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на всё свои законы
И, быть может, одицальный нрав.
Всякому зато могу присниться,
И не надо мне лететь на "Ты",
Чтобы где попало очутиться,
Покорить любую высоту.

24 октября 1959
Красная Конница
Ленинград

Творчество

...говорит оно:

Я помню всё в одно и то же время,
Вселенную перед собой, как бремя
Нетрудное в протянутой руке,
Как дальний свет на дальнем маяке,
Несу, а в недрах тайно зреет семя
Грядущего...

14 ноября 1959
Ленинград

Наследница

От царскосельских лип...

Пушкин

Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую всё это:
Фелицу, лебедя, мосты,
И все китайские затеи,
Дворца сквозные галереи
И липы дивной красоты.
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

20 ноября 1959
Ленинград

Что нам разлука? — Лихая забава,
Беды скучают без нас.
Спьяну ли ввалится в горницу слава,
Бьет ли тринадцатый час?
Или забыты, забиты, за... кто там
Так научился стучать?
Вот и идти мне обратно к воротам
Новое горе встречать.

1959

Хвалы эти мне не по чину,
И Сафо совсем ни при чем,
Я знаю другую причину,
О ней мы с тобой не прочтем.
Пусть кто-то спасается бегством,

Другие кивают из ниш,
Стихи эти были с подтекстом
Таким, что как в бездну глядишь.
А бездна та манит и тянет,
И ввек не доищешься дна,
И ввек говорить не устанет
Пустая ее тишина.

1959 (?)

Из набросков

Даль рухнула, и пошатнулось время,
Бес скорости стал пяткою на темя
Великих гор и повернул поток,
Отравленным в земле лежало семя,
Отравленный бежал по стеблям сок.
Людское мощно вымирало племя,
Но знали все, что очень близок срок.

1950-е годы

Чей-то голос звучит у крыльца
И по имени нас окликает,
И в ответ ему в темном углу
В мутн зеркала что-то мигнуло
И, шутя, золотую иглу
Прямо в сердце мое окунуло.

29 марта 1960
Москва

И это могла, и то бы могла,
А сама, как береза в поле, легла,
И кругом лишь седая мгла.

1960

Памяти Анты

Пусть это даже из другого цикла...
Мне видится улыбка ясных глаз,
И "умерла" так жалостно проникло
К прозванию милому, как будто первый раз
Я слышала его.

1960

И анютиных глазок стая
Бархатистый хранит силуэт –
Это бабочки, улетая,
Им оставили свой портрет.
Ты – другое... Ты б постыдился
Быть, где слезы живут и страх,
И случайно сам отразился
В двух зеленых пустых зеркалах.

3 июня 1961
Комарово

Угощу под заветнейшим кленом
Я беседой тебя не простой –
Тишиною с серебряным звоном
И колодезной чистой водой, –
И не надо страдальческим стоном
Отвечать... Я согласна, – постой, –
В этом сумраке темно-зеленом
Был предчувствий таинственный знай.

1961
Комарово

Слушая пение

Женский голос как ветер несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется —
Всё становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

19 декабря 1961 (Никола Зимний)
Больница им. Ленина
(Вишневская пела "Бразильскую баховиану"
или "бахиану")

Прав, что не взял меня с собой
И не назвал своей подругой.
Я стала песней и судьбой,
Ночной бессонницей и выногой.

.....
Меня бы не узнали вы
На пригородном полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке.

1961 (?)
Комарово

Почти в альбом

...и третье, что нами владеет всегда
И кажется призрачным раем...

Чувство оно или просто беда —
Мы никогда не знаем.
Может быть, где-нибудь вместе живем,
Бродим по мягкому лугу,
Здесь мы помыслить не можем о том,
Чтобы присниться друг другу.

12 июня 1962
Ленинград

Выход книги

(Из цикла "Тайны ремесла")

Тот день всегда необычен.
Скрывая скуку, горечь, злость,
Поэт — приветливый хозяин,
Читатель — благосклонный гость.

Один ведет гостей в хоромы,
Другой — под своды шалаша,
А третий — прямо в ночь истомы,
Моим — и дыба хороша.

Зачем, какие и откуда
И по дороге в никуда,
Что их влечет — какое чудо,
Какая черная звезда?

Но всем им несомненно ясно,
Каких за это ждать наград,
Что оставаться здесь опасно,
Что это не Эдемский сад.

А вот поди ж! Опять нахлынут,
И этот час неотвратим...

И мимоходом сердце вынут
Глухим сочувствием своим.

13 августа 1962 (днем)
Комарово

Еще об этом лете

Отрывок

И требовала, чтоб кусты
Участвовали в бреде,
Всех я любила, кто не ты
И кто ко мне не едет...
Я говорила облакам:
“Ну, ладно, ладно, по рукам”.
А облака — ни слова,
И ливень льется снова.
И в августе зацвел жасмин,
И в сентябре — шиповник,
И ты приснился мне — один
Всех бед моих виновник.

Осень 1962
Комарово

Через 23 года

Я гашу те заветные свечи,
Мой окончен волшебный вечер, —
Палачи, самозванцы, предтечи
И, увы, прокурорские речи,
Всё уходит — мне снишься ты.
Доплясавший свое пред ковчегом,
За дождем, за ветром, за снегом
Тень твоя над бессмертным берегом,
Голос твой из недр темноты.

И по имени! Как неустанно
Вслух зовешь меня снова... “Анна!”
Говоришь мне, как прежде, — “Ты”.

13 мая 1963
Комарово
Холодно, сырое, мелкий дождь

Полночная стихи

Вступление

Если бы брызги стекла,
что когда-то звенья разметались,
Снова срослись — вот бы что
в них уцелело теперь.

20 августа 1963
Будка

И было этим летом так отрадно
Мне отыкать от собственных имен
В той тишине почти что виноградной
И в яви, отработанной под сон.

И музыка со мной покой делила,
Сговорчивей нет в мире никого.
Она меня нередко уводила
К концу существованья моего.

И возвращалась я одна оттуда,
И точно знала, что в последний раз
Несу с собой, как ощущенье чуда,
Что...

21 августа 1963. Утро
Будка

Пятая роза

Дм. Б-еву

1

Звалась Soleil¹ ты или Чайной
И чем еще могла ты быть,
Но стала столь необычайной,
Что не хочу тебя забыть.

2

Ты призрачным сияла светом,
Напоминая райский сад,
Быть и петрарковским сонетом
Могла, и лучшей из сонат.

3

И губы мы в тебе омочим,
А ты мой дом благослови,
Ты как любовь была... Но, впрочем,
Тут дело вовсе не в любви.

*Нач. 3 августа (пайден),
под "Венгерский дивертисмент" Шуберта
Оконч. 30 сентября 1963. Будка*

Всё в Москве пропитано стихами,
Рифмами проколото насквозь.
Пусть безмолвие царит над нами,
Пусть мы с рифмой поселимся врозь,
Пусть молчанье будет тайным знаком
Тех, кто с вами, а казался мной,
Вы ж соединитесь тайным браком
С девственной горчайшей тишиной,
Что во тьме гранит подземный точит

Стихотворения

И волшебный замыкает круг,
А в ночи над ухом смерть пророчит,
Заглушая самый громкий звук.

1963

Москва

Я играю в ту самую игру,
От которой я и умру.
Но лучшего ты мне придумать не мог,
Зачем же такой переполох?

17 декабря 1963

Rosa moretur.¹

Ног. I, I, посл. ода

Ты — верно, чей-то муж и ты любовник чей-то,
В шкатулке без тебя еще довольно тем,
И просит целый день божественная флейта
Ей подарить слова, чтоб льнули б к звукам тем.
И загляделась я не на тебя совсем,
Но сколько предо мной ночных аллей-то,
И сколько в сентябре прощальных хризантем.

Пусть всё сказал Шекспир, милее мне Гораций,
Он сладость бытия таинственно постиг...
А ты поймал одну из сотых интонаций,
И всё недолжное случилось в тот же миг.

1963 (?)

Из большой исповеди

Я званье то приобрела
За сотни преступлений,

1 Солнце (фр.).

1 Роза еще медлит. *Гораций*, кн. I (лат.).

Живым изменницей была,
И верной — только тени.

1963 (?)

. В сочельник (24 декабря)

Последний день в Риме

Заключенье небывшего цикла
Часто сердцу труднее всего,
Я от многоного в жизни отвыкла,
Мне не нужно почти ничего, —

Для меня комаровские сосны
На своих языках говорят
И совсем как отдельные весны
В лужах, выпивших небо, — стоят.

1964

Из “Дневника путешествия”

Стихи на случай

Светает — это Страшный суд.
И встреча горестней разлуки.
Там мертвой славе отдадут
Меня — твои живые руки.

Декабрь 1964

Из “Итальянского дневника”

(Мэчелли)

Мы по ошибке встретили год —
Это не тот, не тот, не тот...
Что мы наделали, боже, с тобой,

С кем еще мы поменялись судьбой?
Лучше б нас не было на земле,
Лучше б мы были в небесном кремле,
Летели, как птицы, цвели, как цветы,
Но всё равно были — я и ты.

Декабрь 1964

Так уж глаза опускали,
Бросив цветы на кровать,
Так до конца и не знали,
Как нам друг друга назвать.
Так до конца и не смели
Имя произнести,
Словно замедлив у цели
Сказочного пути.

Февраль 1965
Москва

Отрывок

Так вот где ты скитаться должна,
Тень от тени, чужая невеста!
Неужели же ты не нашла
Для прогулок отраднее места?
Эти пашни пригудрив чуть-чуть,
Здесь предзимье уже побродило,
Дали все в непроглядную муть
Ненароком оно превратило.
Разве плохо казалось тебе
У зеленого темного моря,
Что, покорствуя страшной судьбе,
Ты пошла на такое, не споря?
Ты, запретнейшая из роз,
Ты, на царство венчанная дважды,

Здесь убьет тебя первый мороз.

Набок съехавший куполок,
Лужи, гуси и поезда звуки.
А сожженный луной тополек
Тянет к небу распятые руки

Звезд загадочные изумруды,
Ржавой прелой душистой листвы
Под ногою шуршащие груды.

Но молчит, заколдованна, тень,
Мне ни слова не отвечает.

* * *

На стеклах нарастает лед.
Часы твердят: "Не трусь!"
Услышать, что ко мне идет,
И мертвой я боюсь.

Как идола, молю я дверь:
"Не пропускай беду!"
Кто воет за стеной, как зверь,
Что прячется в саду?

Песенка

А ведь мы с тобой
Не любилися,
Только всем тогда
Поделилися.
Тебе — белый свет,
Пути вольные,

Тебе зорюшки
Колокольные.
А мне ватничек
И ушаночку.
Не жалей меня,
Каторжаночку.

* * *

Мы до того отравлены друг другом,
Что можно и погибнуть невзначай,
Мы черным унизительным недугом
Наш называем несравненный рай.
В нем всё уже прильнуло к преступлению —
К какому, боже милостив, прости,
Что вопреки всевышнему терпенью
Скрестились два запретные пути.
Ее несем мы, как святой вериги,
Глядим в нее, как в адский водоем.
Всего страшнее, что две дивных книги
Возникнут и расскажут всем о всём.

* * *

Я подымаю трубку — я называю имя,
Мне отвечает голос — какого на свете нет...
Я не так одинока, проходит тот смертный холод,
Тускло вокруг струится, едва голубея, свет.
Я говорю: "О боже, нет, нет, я совсем не верю,
Что будет такая встреча в эфире двух голосов".
И ты отвечаешь: "Долго ж ты помнишь свою потерю,
Я даже в смерти услышу твой, ангел мой, дальний зов".
Похолодев от страха, свой собственный слышу стон.

* * *

Еще говорящую трубку
Она положила обратно,
И ей эта жизнь показалась
И незаслуженно долгой,
И очень заслуженно — горькой
И будто чужою. Увы!
И разговор телефонный...

* * *

Нет, ни в шахматы, ни в теннис...
То, во что с тобой играю,
Называют по-другому,
Если нужно называть...

Ни разлукой, ни свиданьем,
Ни беседой, ни молчаньем...
И от этого немного
Холодеет кровь твоя.

Москва

* * *

Отпусти меня хоть на минуту,
Хоть для смеха или просто так,
Чтоб не думать, что досталась спруту
И кругом морской полночный мрак.
Знаю, как твое иссохло горло,
Как обутлен, как не дышит рот,
И какая ночь крыла простила
И томится у твоих ворот.

* * *

И странный спутник был мне послан адом.
Гость из невероятной пустоты,

Казалось, под его недвижным взглядом
Замолкли птицы, умерли цветы.
В нем смерть цвела какой-то жизнью черной.
Безумие и мудрость были в нем тлетворны.

* * *

Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой...
Увы! лирический поэт
Обязан быть мужчиной,
Иначе всё пойдет вверх дном
До часа расставанья —
И сад — не сад, и дом — не дом,
Свиданье — не свиданье.

* * *

Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.

* * *

...За ландышевый май
В моей Москве стоглавой
Отдам я звездных стай
Сияние и славу.

* * *

Мир не ведал такой нищеты,
Существа он не знает бесправней,
Даже ветер со мною на ты
Там, за той оборвавшейся ставней.

* * *

А я иду, где ничего не надо,
Где самый милый спутник — только тень,
И веет ветер из глухого сада,
А под ногой холодная ступень.

* * *

Глаза безумные твои
И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.

* * *

Сколько б другой мне ни выдумал пыток,
Верной ему не была.
А ревность твою, как волшебный напиток,
Не отрываясь, пила.

* * *

Любовь всех раньше станет смертным прахом,
Смирится гордость, и умолкнет лесть.
Отчаянье, приправленное страхом,
Почти что невозможно перенести.

* * *

Мы не встречаться больше научились,
Не подымаем друг на друга глаз,
Но даже сами бы не поручились
За то, что с нами будет через час.

* * *

Уходи опять вочные чащи,
Там поет бродяга соловей,
Слаще меда, земляники слаще,
Даже слаще ревности моей.

* * *

Там оперный еще томится Зибель
И заклинает милые цветы,
А здесь уже вошла хозяйкой — гибель,
И эта гибель — это тоже ты.

* * *

Как! Только десять лет, ты шутишь, боже мой!
О, как ты рано возвратился.
Я вовсе не ждала — ты так со мной простился
Какой-то странной и чужой зимой.

* * *

И черной музыки безумное лицо
На миг появится и скроется во мраке,
Но я разобрала таинственные знаки
И черное мое опять ношу кольцо.

* * *

И яростным вином блудодеяния
Они уже упились до конца.
Им чистой правды не видать лица
И слезного не ведать покаянья.

А Н Н А А Х М А Т О В А

* * *

Кто его сюда прислал
Сразу изо всех зеркал?

* * *

А как музыка зазвучала
И очнулась вокруг зима,
Стало ясно, что у причала
Государыня — смерть сама.

* * *

И в недрах музыки я не нашла ответа,
И снова тишина, и снова призрак лета.

* * *

...что с кровью рифмуется,
кровь отправляет
и самой кровавою в мире бывает.

* * *

Не давай мне ничего на память:
Знаю я, как память коротка.

* * *

Молитесь на ночь, чтобы вам
Вдруг не проснуться знаменитым.

Э П И Ч Е С К И Е
И Д Р А М А Т И Ч Е С К И Е
О Т Р Ы В К И

Из прapoэмы

*В городе райского ключа,
В городе мертвого царя.*

И в черном саду между древних лип
Мне мачт корабельных слышен скрип.
Вольно я выбрала дивный град,
Жаркое сердце земных отрад,
И всё мне казалось, что в раю
Я песню последнюю пою.

1916–1917 (?)

ЭПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

Я пою, и лес зеленеет.

Б.А.

1

В то время я гостила на земле.
Мне дали имя при крещенье – Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.
Так дивно знала я земную радость
И праздников считала не двенадцать,

А столько, сколько было дней в году.
 Я, тайному велению покорна,
 Товарища свободного избрав,
 Любила только солнце и деревья.
 Однажды поздним летом иностранку
 Я встретила в лукавый час зари,
 И вместе мы купались в теплом море.
 Ее одежда странной мне казалась,
 Еще страннее — губы, а слова —
 Как звезды падали сентябрьской ночью.
 И, стройная, меня учила плавать,
 Одной рукой поддерживая тело
 Неопытное на тугих волнах.
 И часто, стоя в голубой воде,
 Она со мной неспешно говорила,
 И мне казалось, что вершины леса
 Слегка шумят, или хрустит песок,
 Иль голосом серебряным волынка
 Вдали поет о вечере разлук.
 Но слов ее я помнить не могла
 И часто ночью с болью просыпалась.
 Мне чудился полуоткрытый рот,
 Ее глаза и гладкая прическа.
 Как вестника небесного, молила
 Я девушку печальную тогда:
 “Скажи, скажи, зачем угасла память,
 И, так томительно лаская слух,
 Ты отняла блаженство повторенья?..”
 И только раз, когда я виноград
 В плетеную корзинку собирала,
 А смуглая сидела на траве,
 Глаза закрыв и распустивши косы,
 И томною была и утомленной
 От запаха тяжелых синих ягод
 И пряного дыханья дикой мяты, —
 Она слова чудесные вложила
 В сокровищницу памяти моей.
 И, полную кораинку уронив,

Припала я к земле сухой и душной,
 Как к милому, когда поет любовь.

Осень 1913

2

Покинув рощи родины священной
 И дом, где Муза Плача изнывала,
 Я, тихая, веселая, жила
 На низком острове, который, словно плот,
 Остановился в пышной невской дельте.
 О, зимние таинственные дни,
 И милый труд, и легкая усталость,
 И розы в умывальном кувшине!
 Был переулок снежным и недлинным.
 И против двери к нам стеной алтарной
 Воздвигнут храм Святой Екатерины.
 Как рано я из дома выходила,
 И часто по нетронутому снегу,
 Свои следы вчерашние напрасно
 На бледной, чистой пелене исца,
 И вдоль реки, где шхуны, как голубки,
 Друг к другу нежно-нежно прижимаясь,
 О сером взморье до весны тоскуют, —
 Я подходила к старому мосту.
 Там комната, похожая на клетку,
 Под самой крышей в грязном, шумном доме,
 Где он, как чиж, свистал перед мольбертом
 И жаловался весело, и грустно
 О радости небывшей говорил.
 Как в зеркало глядела я тревожно
 На серый холст, и с каждою неделей
 Всё горше и страннее было сходство
 Мое с моим изображеньем новым.
 Теперь не знаю, где художник милый,
 С которым я из голубой мансарды
 Через окно на крышу выходила

И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.

3

Смеркается, и в небе темно-синем,
Где так недавно храм Ерусалимский
Таинственным сиял великолепьем,
Лишь две звезды над путаницей веток,
И снег летит откуда-то не сверху,
А словно подымается с земли,
Ленивый, ласковый и осторожный.
Мне странною в тот день была прогулка.
Когда я вышла, ослепил меня
Прозрачный отблеск на вещах и лицах,
Как будто всюду лепестки лежали
Тех желто-розовых, некрупных роз,
Название которых я забыла.
Безветренный, сухой, морозный воздух
Так каждый звук лелеял и хранил,
Что мнилось мне: молчанья не бывает.
И на мосту, сквозь ржавые перила
Просовывая руки в рукавичках,
Кормили дети пестрых жадных уток,
Что кувыркались в проруби чернильной.
И я подумала: не может быть,
Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете — припомнить
Закат неистовый, и полноту
Душевных сил, и прелесть милой жизни.

1914–1916

На Смоленском кладбище

А все, кого я на земле застала,
Вы, века прошлого дряхлеющий посея!

Вот здесь кончалось всё: обеды у Донона,
Интриги и чины, балет, текущий счет...
На ветхом цоколе — дворянская корона
И ржавый ангелок сухие слезы льет.
Восток еще лежал непознанным пространством
И громыхал вдали, как грозный вражий стан,
А с Запада несло викторианским чванством,
Летели конфетти и подывывал канкан.

1942

Дюрмень

СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕГИИ

Всё в жертву памяти твоей...

Пушкин

<1>

Первая

Предыстория

Я теперь живу не там...

Пушкин

Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольней.
Торгуют кабаки, летят пролетки,
Пятиэтажные растут громады
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.
Везде танцклассы, вывески менял,
А рядом: "Henriette", "Basile", "André"

И пышные гроба: "Шумилов-старший".
Но, впрочем, город мало изменился.
Не я одна, но и другие тоже
Заметили, что он подчас умеет
Казаться литографией старинной,
Не первоклассной, но вполне пристойной,
Семидесятых, кажется, годов.

Особенно зимой, перед рассветом
Иль в сумерки — тогда за воротами
Темнеет жесткий и прямой Литейный,
Еще не опозоренный модерном,
И визави меня живут — Некрасов
И Салтыков... Обоим по доске
Мемориальной. О, как было б страшно
Им видеть эти доски! Прохожу.
А в Старой Руссе пышные канавы,
И в садиках подгнившие беседки,
И стекла окон так черны, как прорубь,
И мнится, там такое приключилось,
Что лучше не заглядывать, уйдем.
Не с каждым местом говориться можно,
Чтобы оно свою открыло тайну
(А в Оптиной мне больше не бывать...).

Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
Ореховые рамы у зеркал,
Каренинской красою изумленных,
И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве,
Под желтой керосиновою лампой,
И тот же плюш на креслах...
Всё разночинно, наспех, как-нибудь...,
Отцы и деды непонятны. Земли
Заложены. И в Бадене — ruletka.

И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море

Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила, —
Ненужный дар моей жестокой жизни...

Страну знобит, а омский каторжанин
Всё понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемешает всё
И сам над первозданным беспорядком,
Как некий дух, взнесется. Полночь бьет.
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем.

Так вот когда мы вздумали родиться
И, безошибочно отмерив время,
Чтоб ничего не пропустить из зрелиц
Невиданных, простились с небытьем.

3 сентября 1940
Ленинград
Октябрь 1943
Ташкент

<2>

Вторая

Так вот он — тот осенний пейзаж,
Которого я так всю жизнь боялась:
И небо — как пылающая бездна,
И звуки города — как с того света
Услышанные, чуждые навеки,
Как будто всё, с чем я внутри себя
Всю жизнь боролась, получило жизнь
Отдельную и вошлотилось в эти
Слепые стены, в этот черный сад...
А в ту минуту за плечом моим

Мой бывший дом еще следил за мною
Прищуренным, неблагосклонным оком,
Тем навсегда мне памятным окном.
Пятнадцать лет — пятнадцатью веками
Гранитными как будто притворились,
Но и сама была я как гранит:
Теперь моли, терзайся, называй
Морской царевной. Всё равно. Не надо...
Но надо было мне себя уверить,
Что это всё случалось много раз,
И не со мной одной — с другими тоже,
И даже хуже. Нет, не хуже — лучше.
И голос мой — и это, верно, было
Всего страшней — сказал из темноты:
“Пятнадцать лет назад какой ты песней
Встречала этот день, ты небеса,
И хоры звезд, и хоры вод молила
Приветствовать торжественную встречу
С тем, от кого сегодня ты ушла...”

Так вот твоя серебряная свадьба:
Зови ж гостей, красуйся, торжествуй!”

Март 1942

Ташкент

<3>

Третья

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
О, как я много зрелиц пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей

Своих ни разу в жизни не встречала,
И сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызывать слезы,
А я один на свете город знаю
И ощущу его во сне найду.
И сколько я стихов не написала,
И тайный хор их бродит вокруг меня,
И, может быть, еще когда-нибудь
Меня задушит...
Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что-то,
О чем теперь не надо вспоминать.
И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, всё, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.

.....
Но если бы откуда-то взглянула
Я на свою теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть наконец...

2 сентября 1945

Ленинград

<4>

Четвертая

Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая — как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословленным,
И тело в их блаженствует тени.
Еще не замер смех, струятся слезы,
Пятно чернил не стерто со стола, —
И, как печать на сердце, поцелуй,
Единственный, прощальный, незабвенный...

Но это продолжается недолго...
Уже не свод над головой, а где-то
В глухом предместье дом уединенный,
Где холодно зимой, а летом жарко,
Где есть пыль и пыль на всем лежит,
Где истлевают пламенные письма,
Исподтишка меняются портреты,
Куда как на могилу ходят люди,
А возвратившись, моют руки мылом,
И стряхивают беглую слезинку
С усталых век — и тяжело вздыхают...
Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там всё другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали... Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Всё к лучшему...

5 февраля 1945
Ленинград

<Дополнения>

<5>

(О десятых годах)

И никакого розового детства...
Веснушечек, и мишек, и кудряшек,
И добрых теть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чым-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины.
Уже я знала список преступлений,
Которые должна я совершить.
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь:
Она передо мною стояла лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина,
Передо мной, безродной, неумелой,
Открылись неожиданные двери,
И выходили люди, и кричали:
“Она пришла, она пришла сама!”
А я на них глядела с изумлением
И думала: “Они с ума сошли!”
И чем сильней они меня хвалили,
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить
И тем сильней хотелось пробудиться,
И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, — но длилась пытка счастьем.

4 июля 1955
Москва

<6>

В том доме было очень страшно жить,
 И ни камина свет патриархальный,
 Ни колыбелька моего ребенка,
 Ни то, что оба молоды мы были
 И замыслов исполнены...
 Не уменьшало это чувство страха.
 И я над ним смеяться научилась,
 И оставляла капельку вина
 И крошки хлеба для того, кто ночью
 Собакою царапался у двери
 Иль в низкое заглядывал окошко,
 В то время как мы, замолчав, старались
 Не видеть, что творится в зазеркалье,
 Под чьими тяжеленными шагами
 Стонали темной лестницы ступени,
 Как о пощаде жалостно моля.
 И говорил ты, странно улыбаясь:
 "Кого *они* по лестнице несут?"

Теперь ты там, где знают все, скажи:
 Что в этом доме жило кроме нас?

1921
 Царское Село

Из пьесы "Пролог"

<1>

Говорит он а:

Никого нет в мире бесприютней
 И бездомнее, наверно, нет.
 Для тебя я словно голос лютни
 Сквозь загробный призрачный рассвет.
 Ты с собой научишься бороться,

Ты, проникший в мой последний сон.
 Проклинай же снова скрип колодца,
 Шорох сосен, черный грай ворон,
 Землю, по которой я ступала,
 Желтую звезду в моем окне,
 То, чем я была и чем я стала,
 И тот час, когда тебе сказала,
 Что ты, кажется, приснился мне.
 И в дыхании твоих проклятий
 Мне иные чудятся слова:
 Те, что туже и хмельней объятий,
 А нежны, как первая трава.

<2>

Говорит о н:

Будь ты трижды ангелов прелестней,
 Будь родной сестрой заречных ив,
 Я убью тебя мою песней,
 Кровь твою на землю не пролив.
 Я рукой своей тебя не трону,
 Не взглянув ни разу, разлюблю,
 Но твоим невероятным стоном
 Жажду наконец я утолю.
 Ты, что до меня блуждала в мире,
 Льда суровей, огненней огня,
 Ты, что и сейчас стоит в эфире, —
 От нее освободишь меня.

<3>

Слышно издали:

Лаской страшишь, оскорбляешь мольбой,
 Входишь без стука.
 Всё наслаждением будет с тобой —
 Даже разлука.

Пусть разольется в зловещей судьбе
 Алая пена,
 Но прозвучит как присяга тебе
 Даже измена...
 Той, что познала и ужас и честь
 Жизни загробной...
 Имя твое мне сейчас произнесть –
 Смерти подобно.

<4>

Песенка слепого:

Не бери сама себя за руку...
 Не веди сама себя за реку...
 На себя пальцем не показывай...
 Про себя сказку не рассказывай...
 Идешь, идешь – и споткнешься.

<6>

Говорит он:

Оттого, что я делил с тобою
 Первозданный мрак,
 Чьей бы ты ни сделалась женою,
 Продолжался (я теперь не скрою)
 Наш преступный брак.
 Мы его скрывали друг от друга,
 От себя, от бога, от конца,
 Помня место дантовского круга,
 Словно лавр победного венца.

1963

<Дополнения>

<5>

Первый:

Мы запретного вкусили знанья,
 И в бездонных пропастях сознанья
 Чем прозрачней, тем страшнее зданья,
 И уже сквозит последний час...

Второй:

И уже грохочет дальний гром...
 А та, кого мы музыкой зовем
 За неименьем лучшего названья,
 Спасет ли нас?

1946

Поэмы

У САМОГО МОРЯ

1

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне припльвала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это — счастье.
В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,
И уплывала далеко в море,
На темных, теплых волнах лежала.
Когда возвращалась, маяк с востока
Уже сиял переменным светом,
И мне монах у ворот Херсонеса
Говорил: "Что ты бродишь ночью?"

Знали соседи — я чую воду,
И если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место
И люди напрасно не трудились.
Я собирала французские пули,
Как собирают грибы и чернику,
И приносила домой в подоле

Осколки ржавые бомб тяжелых.
И говорила сестре сердито:
“Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтобы бухты мои охраняли
До самого Фиолента”.
А вечером перед кроватью
Молилась темной иконке,
Чтоб град не побил черешен,
Чтоб крупная рыба ловилась
И чтобы хитрый бродяга
Не заметил желтого платья.

Я с рыбаками дружбу водила.
Под опрокинутой лодкой часто
Во время ливня с ними сидела,
Про море слушала, запоминала,
Каждому слову тайно веря.
И очень ко мне рыбаки привыкли.
Если меня на пристани нету,
Старший за мною слал девчонку,
И та кричала: “Наши вернулись!
Нынче мы камбалу жарить будем”.

Сероглаз был высокий мальчик,
На полгода меня моложе.
Он принес мне белые розы,
Мускатные белые розы,
И спросил меня кротко: “Можно
С тобой посидеть на камнях?”
Я смеялась: “На что мне розы?
Только колются больно!” — “Что же,
Он ответил, — тогда мне делать,
Если так я в тебя влюбился”.
И мне стало обидно: “Глупый! —
Я спросила. — Что ты — царевич?”

Это был сероглазый мальчик,
На полгода меня моложе.
“Я хочу на тебе жениться, —
Он сказал, — скоро стану взрослым
И поеду с тобой на север...”
Заплакал высокий мальчик,
Оттого что я не хотела
Ни роз, ни ехать на север.

Плохо я его утешала:
“Подумай, я буду царицей,
На что мне такого мужа?”
— “Ну, тогда я стану монахом, —
Он сказал, — у вас в Херсонесе”.
— “Нет, не надо лучше: монахи
Только делают, что умирают.
Как придешь — одного хоронят,
А другие, знаешь, не плачут”.

Ушел не простившись мальчик,
Унес мускатные розы,
И я его отпустила,
Не сказала: “Побудь со мною”.
А тайная боль разлуки
Застонала белою чайкой
Над серой полынной степью,
Над пустынной, мертвей Корсунью.

Бухты изрезали низкий берег,
Дымное солнце упало в море.
Вышла цыганка из пещеры,
Пальцем меня к себе поманила:
“Что ты, красавица, ходишь боса?
Скоро веселой, богатой станешь.
Знатного гостя жди до Пасхи,

Знатному гостю кланяться будешь;
Ни красотой твоей, ни любовью,
Песней одною гостя приманишь".
Я отдала цыганке цепочку
И золотой крестильный крестик.
Думала радостно: "Вот он, милый,
Первую весть о себе мне подал".

Но от тревоги я разлюбила
Все мои бухты и пещеры;
Я в камыше гадюк не пугала,
Крабов на ужин не приносила,
А уходила по южной балке
За виноградники в каменоломню, —
Туда не короткой была дорога.
И часто случалось, что хозяйка
Хутора нового мне кивала,
Кликала издали: "Что не заходишь?
Все говорят — ты приносишь счастье".
Я отвечала: "Приносят счастье
Только подковы да новый месяц,
Если он справа в глаза посмотрит".
В комнаты я входить не любила.

Дули с востока сухие ветры,
Падали с неба крупные звезды,
В нижней церкви служили молебны
О моряках, уходящих в море,
И заплывали в бухту медузы —
Словно звезды, упавшие за ночь,
Глубоко под водой голубели.
Как журавли курлыкают в небе,
Как беспокойно трещат цикады,
Как о печали поет солдатка —
Всё я запомнила чутким слухом,
Да только песни такой не знала,
Чтобы царевич со мной остался.

Девушка стала мне часто сниться,
В узких браслетах, в коротком платье,
С дудочкой белой в руках прохладных.
Сядет спокойная, долго смотрит,
И о печали моей не спросит,
И о печали своей не скажет,
Только плечо мое нежно гладит.
Как же царевич меня узнает,
Разве он помнит мои приметы?
Кто ему дом наш старый укажет?
Дом наш совсем вдали от дороги.

Осень сменилась зимой дождливой,
В комнате белой от окон дуло;
И плющ мотался по стенке сада.
Приходили на двор чужие собаки,
Под окошком моим до рассвета выли.
Трудное время для сердца было.
Так я шептала, на двери глядя:
"Боже, мы мудро царствовать будем,
Строить над морем большие церкви
И маяки высокие строить.
Будем беречь мы воду и землю,
Мы никого обижать не станем".

Вдруг подобрело темное море,
Ласточки в гнезда свои вернулись,
И сделалась красной земля от маков,
И весело стало опять на взморье.
За ночь одну наступило лето, —
Так мы весны и не видали.
И я совсем перестала бояться,
Что новая доля минет.
А вечером в вербную субботу,
Из церкви прия, я сестре сказала:

“На тебе свечку мою и четки,
Библию нашу дома оставлю.
Через неделю настанет Пасха,
И мне давно пора собираться,—
Верно, царевич уже в дороге,
Морем за мной он сюда приедет”.
Молча сестра на слова дивилась,
Только вздохнула, — помнила, верно,
Речи цыганкины у пещеры.
“Он привезет тебе ожерелье
И с голубыми камнями кольца?”
— “Нет, — я сказала, — мы не знаем,
Какой он подарок мне готовит”.

Были мы с сестрой однолетки,
И так друг на друга похожи,
Что маленьких нас различала
Только по родинкам наша мама.
С детства сестра ходить не умела,
Как восковая кукла лежала;
Ни на кого она не сердилась
И вышивала плащаницу.
Бредила даже во сне работой;
Слышала я, как она шептала:
“Плащ Богородицы будет синим...
Боже, апостолу Иоанну
Жемчужин для слез достать мне негде...”
Дворик зарос лебедой и мятой,
Ослик щипал траву у калитки,
И на соломенном длинном кресле
Лена лежала, раскинув руки,
Всё о работе своей скучала, —
В праздник такой грешно трудиться.
И приносил к нам соленый ветер
Из Херсонеса звон пасхальный.
Каждый удар отдавался в сердце,
С кровью по жилам растекался.

“Леночка, — я сестре сказала, —
Я ухожу сейчас на берег.
Если царевич за мной приедет,
Ты объясни ему дорогу.
Пусть он меня в степи нагонит,
Хочется на море мне сегодня”.
— “Где же ты песенку услыхала,
Ту, что царевича приманит? —
Глаза приоткрыв, сестра спросила. —
В городе ты совсем не бываешь,
А здесь поют не такие песни”.
К самому уху ее склонившись,
Я прошептала: “Знаешь, Лена,
Ведь я сама придумала песню,
Лучше которой нет на свете”.
И не поверила мне, и долго,
Долго с упреком она молчала.

Солнце лежало на дне колодца,
Грелись на камнях сколопендры,
И убегало перекати-поле,
Словно паяц горбатый кривляясь,
А высоко взлетевшее небо,
Как богородицын плащ, синело, —
Прежде оно таким не бывало.
Легкие яхты с полдня гонялись,
Белых бездельниц столпилось много
У Константиновской батареи, —
Видно, им ветер нынче удобный.
Тихо пошла я вдоль бухты к мысу,
К черным, разломанным, острым скалам,
Пеною покрытым в часы прибоя,
И повторяла новую песню.
Знала я: с кем бы царевич ни был,
Слышит он голос мой, смущившись, —

И оттого мне каждое слово,
Как божий подарок, было мило.
Первая яхта не шла — летела,
И догоняла ее вторая,
А остальные едва виднелись.

Как я легла у воды — не помню,
Как задремала тогда — не знаю,
Только очнулась и вижу: парус
Близко полощется. Передо мною,
По пояс стоя в воде прозрачной,
Шарит руками старик огромный
В щелях глубоких скал прибрежных,
Голосом хриплым зовет на помощь.
Громко я стала читать молитву,
Как меня маленькую учили,
Чтобы мне страшное не приснилось,
Чтоб в нашем доме бед не бывало.
Только я молвила: "Ты Хранитель!" —
Вижу — в руках старика белеет
Что-то, и сердце мое застыло...
Вынес моряк того, кто правил
Самой веселой, крылатой яхтой,
И положил на темные камни.

Долго я верить себе не смела,
Пальцы кусала, чтобы очнуться:
Смуглый и ласковый мой царевич
Тихо лежал и глядел на небо.
Эти глаза зеленее моря
И кипарисов наших темнее, —
Видела я, как они погасли...
Лучше бы мне родиться слепою.
Он застонал и невнятно крикнул:
"Ласточка, ласточка, как мне больно!"
Верно, я птицей ему показалась.

В сумерки я домой вернулась.
В комнате темной было тихо,
И над лампадкой стоял высокий,
Узкий малиновый огонечек.
"Не приходил за тобой царевич, —
Лена сказала, шаги услышав, —
Я прождала его до вечерни
И посыпала детей на пристань".
— "Он никогда не придет за мною,
Он никогда не вернется, Лена.
Умер сегодня мой царевич".
Долго и часто сестра крестилась;
Вся повернувшись к стене, молчала.
Я догадалась, что Лена плачет.
Слышала я — над царевичем пели:
"Христос воскресе из мертвых", —
И несказанным светом сияла
Круглая церковь.

1914

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ПОЭМА “Русский Трианон”

1

В тени елизаветинских боскетов
 Гуляют пушкинских красавиц внучки,
 Все в скромных канотье, в тугих корсетах,
 И держат зонтик сморщенными ручки.
 Мопс на цепочке, в сумочке драже,
 И компаньонка с Жипп или Бурже.

2

Как я люблю пологий склон зимы,
 Ее огни, и мраки, и истому,
 Сухого снега круглые холмы
 И чувство, что вовек не будешь дома.
 Черна вдали рождественская ель,
 Кричит ворона, кончилась метель.

3

И рушилась твердыня Эрзерума,
 Кровь заливалась горло Дарданелл,
 Но в этом парке не слыхали шума,
 Хор за обедней так прекрасно пел;
 Но в этом парке мрачно и угрюмо
 Сияет месяц, снег алмазно бел.

368

4

Прикинувшись солдаткой, выло горе,
 Как конь, вставал дредноут на дыбы,
 И ледяные пенные столбы
 Взбесенное выбрасывало море —
 До звезд нетленных — из груди своей,
 И не считали умерших людей.

5

На Белой башне дремлет пулемет,
 Вокруг дворца — гусарские разъезды,
 Внимательные северные звезды
 (Совсем не те, что будут через год),
 Прищурившись, глядят в окно Лицея,
 Где тень Его над томом Апулея.

<6>

О, знал ли он, любимец двух столетий,
 Как страшно третьим будет встречен он.
 Мне суждено запомнить этот сон,
 Как помнят мать, осиротевши, дети...

<7>

Иланг-илангом весь пропах вокзал,
 Не тот последний, что сгорит когда-то.
 А самый первый, главный — Белый Зал
 В нем танцевальный убран был богато,
 Но в зале том никто не танцевал.

369

<8>

И Гришка Сам – распутник... Горе! горе!
Служил обедню в Федровском соборе.

<9>

С вокзала к паркам легкие кареты,
Как с похорон торжественных, спешат,
Там дамы! – в сарафанчиках одеты,
И с английским акцентом говорят.
Одна из них!.. Как разглашать секреты,
Мне, этого, наверно, не простят,
Попала в вавилонские блудницы,
А тезка мне и лучший друг царицы.

<10>

Все занялись военной суетою,
И от пожаров сделалось светло,
И только юг был залит темнотою.
На мой вопрос с священной простотою
Сказал сосед: “Там Царское Село.
Оно вчера, как свечка, догорело”.
И спрашивать я больше не посмела.

<11>

.....
И парк безлюден, как сибирский лес.

1925–1965

РЕКВИЕМ

Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях Ленинграда. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоявшая за мной женщина с голубыми глазами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957
Ленинград

*Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чужих крыл –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.*

1961

Посвящение

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,

Но крепки тюремные затворы,
А за ними "каторжные норы"
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской выюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.

Март 1940

Вступление

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском качался
Возле тюрем своих Ленинград.
И, когда обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

1

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Осень 1935
Москва

2

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

3

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

Показать бы тебе, насмешнице
 И любимице всех друзей,
 Царскосельской веселой грешнице,
 Что случилось с жизнью твоей —
 Как трехсотая, с передачею,
 Под Крестами будешь стоять
 И своею слезою горячо
 Новогодний лед прожигать.
 Там тюремный тополь качается,
 И ни звука — а сколько там
 Неповинных жизней кончается.

1938

Семнадцать месяцев кричу,
 Зову тебя домой,
 Кидалась в ноги палачу,
 Ты сын и ужас мой.
 Все перепуталось навек,
 И мне не разобрать
 Теперь, кто зверь, кто человек,
 И долго ль казни ждать.
 И только пыльные цветы,
 И звон кадильный, и следы
 Куда-то в никуда.
 И прямо мне в глаза глядит
 И скорой гибелью грозит
 Огромная звезда.

1939. Весна

Легкие летят недели.
 Что случилось, не пойму.
 Как тебе, сынок, в тюрьму

Ночи белые глядели.
 Как они опять глядят
 Ястребиным жарким оком,
 О твоем кресте высоком
 И о смерти говорят.

1939

Приговор

И упало каменное слово
 На мою еще живую грудь.
 Ничего, ведь я была готова,
 Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
 Надо память до конца убить,
 Надо, чтоб душа окаменела,
 Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета,
 Словно праздник за моим окном.
 Я давно предчувствовала этот
 Светлый день и опустелый дом.

1939. Лето

К смерти

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
 Я жду тебя — мне очень трудно.
 Я потушила свет и отворила дверь
 Тебе, такой простой и чудной.
 Прими для этого какой угодно вид,
 Ворвись отравленным снарядом
 Иль с гирькой подкрадись,

Как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом,
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939
Фонтанский Дом

9

Уже безумие крылом
Души закрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье, —
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,

Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940
Фонтанский Дом

10

Распятие

*Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зсуше.*

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: “Почто Меня оставил!”
А Матери: “О, не рыдай Мене...”

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Эпилог

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводят на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,

И в сухоньком смешке дрожит испуг.
 И я молюсь не о себе одной,
 А обо всех, кто там стоял со мною,
 И в лютый холод, и в июльский зной,
 Под красною ослепившою стеной.

2

Опять поминальный приблизился час.
 Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
 И ту, что едва до конца довели,
 И ту, что родимой не топчет земли,
 И ту, что, красивой тряхнув головой,
 Сказала: "Сюда прихожу, как домой".
 Хотелось бы всех поименно назвать,
 Да отняли список, и негде узнать.
 Для них я соткала широкий покров
 Из бедных, у них же подслушанных слов.
 О них вспоминаю всегда и везде,
 О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
 Которым кричит стомильонный народ,
 Пусть так же они поминают меня
 В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране
 Воздвигнуть задумают памятник мне,
 Согласье на это даю торжество,
 Но только с условьем — не ставить его
 Ни около моря, где я родилась:
 Последняя с морем разорвана связь,
 Ни в царском саду у заветного пня,
 Где тень безутешная ищет меня,
 А здесь, где стояла я триста часов
 И где для меня не открыли засов.
 Затем, что и в смерти блаженной боюсь

Забыть громыхание черных марусь,
 Забыть, как постылая хлюпала дверь
 И выла старуха, как раненый зверь.
 И пусть с неподвижных и бронзовых век,
 Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
 И тихо идут по Неве корабли.

*1940. Март
Фонтанный Дом*

ПУТЕМ ВСЕЯ ЗЕМЛИ
(Китежанка)

*В санях сидя, отправляясь
путем всей земли...*

Поучение
Владимира Мономаха
детям

1

Прямо под ноги пулям,
Расталкивая года,
По январям и июлям
Я проберусь туда...
Никто не увидит ранку,
Крик не услышит мой,
Меня, китежанку,
Позвали домой.
И гнались за мною
Сто тысяч берез,
Стеклянной стеною
Струился мороз.
У давних пожарищ
Обутленный склад.
“Вот пропуск, товарищ,
Пустите назад...”
И воин спокойно
Отводит штык.
Как пышно и знайно

380

Тот остров возник!
И красная глина,
И яблочный сад...
Из аквамарина
Пылает закат.
Тропиночка круто
Взбиралась, дрожа.
Мне надо кому-то
Здесь руку пожать...
Но хриплой шарманки
Не слушаю стон.
Не тот китежанке
Посыпался звон.

2

Окопы, окопы —
Заблудишься тут!
От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города...
И вот уже Крыма
Темнеет гряда.
Я плакальщиц стаю
Веду за собой.
О, тихого края
Плащ голубой!..
Над мертвый медузой
Смущенно стою;
Здесь встретилась с Музой,
Ей клятву даю.
Но громко смеется,
Не верит: “Тебе ль?”
По капелькам льется
Душистый апрель.
И вот уже славы

381

Высокий порог,
Но голос лукавый
Предостерег:
“Сюда ты вернешься,
Вернешься не раз,
Но снова споткнешься
О крепкий алмаз.
Ты лучше бы мимо,
Ты лучше б назад,
Хулима, хвалима,
В отеческий сад”,

3

Вечерней порою
Сгущается мгла.
Пусть Гофман со мною
Дойдет до угла.
Он знает, как гулок
Задушенный крик
И чей в переулок
Забрался двойник.
Ведь это не шутки,
Что двадцать пять лет
Мне видится жуткий
Один силуэт.
“Так, значит, направо?
Вот здесь, за углом?
Спасибо!” — Канава
И маленький дом.
Не знала, что месяц
Во всё посвящен.
С веревочных лестниц
Срываются он,
Спокойно обходит
Покинутый дом,
Где ночь на исходе

382

За круглым столом
Гляделась в обломок
Разбитых зеркал
И в груде потемок
Зарезанный спал.

4

Чистейшего звука
Высокая власть,
Как будто разлука
Натешилась властью.
Знакомые зданья
Из смерти глядят —
И будет свиданье
Печальней стократ
Всего, что когда-то
Случилось со мной...
За новой утратой
Иду я домой.

5

Черемуха мимо
Прокралась, как сон.
И кто-то “Цусима!”
Сказал в телефон.
Скорее, скорее —
Кончается срок:
“Варяг” и “Кореец”
Пошли на восток...
Там ласточкой реет
Старая боль...
А дальше темнеет
Форт Шаброль,
Как прошлого века
Разрушенный склеп,

383

А Н Н А А Х М А Т О В А

Где старый калека
Оглох и ослеп.
Суровы и хмуры,
Его сторожат
С винтовками буры.
“Назад, назад!!”

6

Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Ее приняла.
И в легкие сани
Спокойно сажусь...
Я к вам, китеজане,
До ночи вернусь.
За древней стоянкой
Один переход...
Теперь с китеજанкой
Никто не пойдет,
Ни брат, ни соседка,
Ни первый жених, —
Лишь хвойная ветка
Да солнечный стих,
Оброненный нищим
И поднятый мной...
В последнем жилище
Меня упокой.

10–12 марта 1940
Фонтанный Дом

ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ

Триптих

1940–1962

DEUS CONSERVANT OMNIA.¹

(Девиз в гербе Фонтанного Дома)

Вместо предисловия

Иных уж нет, а те далече.

Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный Дом в ночь на 27 декабря 1940 г., прислав, как вестника, еще осенью один небольшой отрывок (“Ты в Россию пришла ниоткуда...”).

Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы.

Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями.

В ту ночь я написала два куска первой части (“1913”) и “Посвящение”. В начале января я почти неожиданно для себя написала “Решку”, а в Ташкенте (в два приема) — “Эпилог”, ставший третьей частью поэмы, и сделала несколько существенных вставок в обе первые части.

Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей — моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады.

Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи.

8 апреля 1943
Ташкент

1 Бог хранит всё (лат.).

До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях "Поэмы без героя". И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной.

Я воздержусь от этого.

Никаких третьих, седьмых, двадцать девятых смыслов поэма не содержит.

Ни изменять ее, ни объяснять я не буду.
"Еже писахъ — писахъ".

Ноябрь 1944

Ленинград

27 ДЕКАБРЯ 1940

Посвящение

...а так как мне бумаги не хватило,
я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
и, как тогда снежинка на руке,
доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя^{1*}
вдруг поднялись — и там зеленый дым,
и ветерком повеяло родным...
Не море ли?
Нет, это только хвоя
могильная, и в накипаны пен
всё ближе, ближе...

Marche funèbre**...

Шопен..

Ночь
Фонтанный Дом

* Сноски, обозначенные цифрами, отсылают к "Примечаниям редактора" в конце поэмы.

** Траурный марш (*ф.р.*).

Второе посвящение

O. C.

Ты ли, Путаница-Психея,²
Черно-белым веером вея,
Наклоняясь надо мной,
Хочешь мне сказать по секрету,
Что уже миновала Лету
И иною дышишь весной.
Не диктуй мне, сама я слышу:
Теплый ливень уперся в крышу,
Шепоточек слышу в плюще.
Кто-то маленький жить собрался,
Зеленел, пущился, старался
Завтра в новом блеснуть плаще.
Сплю —
она одна надо мною, —
Ту, что люди зовут весною,
Одиночеством я зову.
Сплю — мне снится молодость наша,
Та, ЕГО миновавшая чаша;
Я ее тебе наяви,
Если хочешь, отдашь на память,
Словно в глине чистое пламя
Иль подснежник в могильном рву.

25 мая 1945

Фонтанный Дом

Третье и последнее
(*Le jour des rois*)³

Раз в Крещенский вечерок...

Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,

* День царей (*ф.р.*).

А за ней войдет человек,
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век.
Я его приняла случайно
За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено,
Он ко мне во дворец Фонтанный
Опоздает ночью туманной
Новогоднее пить вино.
И запомнит Крещенский вечер,
Клен в окне, венчальные свечи
И поэмы смертный полет...
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений —
Он погибель мне принесет.

1956

Вступление

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простились,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

25 августа 1941
Осажденный Ленинград

Часть первая
Девятьсот тринадцатый год
Петербургская повесть

*Di rider finirai
Pria dell' aurora.
“Don Giovanni”**

Глава первая

*Новогодний праздник длится пышно,
Влажны стебли новогодних роз.*

*“Четки”
С Татьяной нам не ворожить.
“Онегин”*

Новогодний вечер. Фонтанный Дом. К автору, вместо того, кого ждала, приходят тени из тринадцатого года под видом ряженых. Белый зеркальный зал. Лирическое отступление — “Гость из будущего”. Маскарад. Поэт. Призрак.

Я зажгла заветные свечи,
Чтобы этот светился вечер,
И с тобой, ко мне не пришедшим,
Сорок первый встречаю год.

Но...
Господня сила с нами!
В хрустale утонуло пламя,
“И вино, как отрава, жжет”.**
Это всплески жесткой беседы,

* Смеяться перестанешь
Раньше, чем наступит заря.
“Дон Жуан” (*им.*).

** Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?
("Новогодняя баллада", 1923 г.)
(Здесь и далее под строкой примечания А. Ахматовой, кроме переводов иностранных текстов.)

Когда все воскресают бреды,
А часы всё еще не бьют...
Нету меры моей тревоге,
Я сама, как тень на пороге,
Стерегу последний уют.
И я слышу звонок протяжный,
И я чувствую холод влажный,
Каменею, стыну, горю...
И, как будто припомнив что-то,
Повернувшись вполоборота,
Тихим голосом говорю:
“Вы ошиблись: Венеция дожей –
Это рядом... Но маски в прихожей
И плащи, и жезлы, и венцы
Вам сегодня придется оставить.
Вас я вздумала нынче прославить,
Новогодние сорванцы!”
Этот Фаустом, тот Дон Жуаном,
Далертурто,⁴ Иоканааном,⁵
Самый скромный – северным Гланом
Иль убийцею Дорианом,
И все шепчут своим дианам
Твердо выученный урок.
А для них расступились стены,
Вспыхнул свет, завыли сирены
И как купол вспух потолок.
Я не то что боюсь огласки...
Что мне Гамлетовы подвязки,
Что мне вихрь Саломеиной пляски,
Что мне поступь Железной Маски,
Я еще пожелезней тех...
И чья очередь испугаться,
Отшатнуться, отпрянуть, сдаться
И замаливать давний грех?
Ясно всё:

* Три “к” выражают замешательство автора.

Не ко мне, так к кому же?*
Не для них здесь готовился ужин,
И не им со мной по пути.
Хвост запрятал под фалды фрака...
Как он хром и изящен!..
Однако
Я надеюсь, Владыку Мрака
Вы не смели сюда ввести?
Маска это, череп, лицо ли –
Выражение злобной боли,
Что лишь Гойя смел передать,
Общий баловень и насмешник –
Перед ним самый смрадный грешник –
Воплощенная благодать...

Веселиться – так веселиться,
Только как же могло случиться,
Что одна я из них жива?
Завтра утро меня разбудит,
И никто меня не осудит,
И в лицо мне смеяться будет
Заоконная синева.
Но мне страшно: войду сама я,
Кружевную шаль не снимая,
Улыбнусь всем и замолчу.
С той, какою была когда-то
В ожерелье черных агатов
До долины Иосафата,⁶
Снова встретиться не хочу...
Не последние ль близки сроки?..
Я забыла ваши уроки,
Краснобай и лжепророки!
Но меня не забыли вы.
Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет –
Страшный праздник мертвый листвы.

Б Звук шагов, тех, которых нету,
 Е По сияющему паркету,
 Л И сигары синий дымок.
 Й И во всех зеркалах отразился
 Человек, что не появился
 Ы И проникнуть в тот зал не мог.
 Й Он не лучше других и не хуже,
 Но не веет летейской стужей,
 З И в руке его теплота.
 А Гость из будущего! — Неужели
 Он придет ко мне в самом деле,
 Л Повернув налево с моста?

С детства ряженых я боялась,
 Мне всегда почему-то казалось,
 Что какая-то лишняя тень
 Среди них “без лица и названья”
 Затесалась...
 Откроем собранье
 В новогодний торжественный день!
 Ту полночную Гофманиану
 Разглашать я по свету не стану
 И других бы просила...
 Постой,
 Ты как будто не значишься в списках,
 В калиострах, магах, лизисках,⁷ —
 Полосатой наряжен верстай,
 Размалеван пестро и грубо —
 Ты...
 ровесник Мамврийского дуба,⁸
 Вековой собеседник луны.
 Не обманут притворные стоны,
 Ты железные пишешь законы,
 Хамурabi, ликурги, солоны⁹
 У тебя поучиться должны.
 Существо это странного нрава.

Он не ждет, чтоб подагра и слава
 В попыхах усадили его
 В юбилейные пышные кресла,
 А несет по цветущему вереску,
 По пустыням свое торжество.
 И ни в чем не повинен: ни в этом,
 Ни в другом и ни в третьем...
 Поэтам
 Вообще не пристали грехи.
 Проплясать пред Ковчегом Завета¹⁰
 Или стинуть!..
 Да что там! Про это
 Лучше их рассказали стихи.
 Крик петуший нам только снится,
 За окошком Нева дымится,
 Ночь бездонна — и длится, длится
 Петербургская чертовня...
 В черном небе звезды не видно,
 Гибель где-то здесь, очевидно,
 Но беспечна, пряна, бесстыдна
 Маскарадная болтовня...
 Крик:
 “Героя на авансцену!”
 Не волнуйтесь: дылде на смену
 Непременно выйдет сейчас
 И споет о священной мести...
 Что ж вы все убегаете вместе,
 Словно каждый нашел по невесте,
 Оставляя с глазу на глаз
 Меня в сумраке с черной рамой,
 Из которой глядит тот самый,
 Ставший наигорчайшей драмой
 И еще не оплаканный час?
 Это всё наплывает не сразу.
 Как одну музыкальную фразу,

Слышу шепот: “Процай! Пора!
 Я оставлю тебя живою,
 Но ты будешь моей вдововою,
 Ты – Голубка, солнце, сестра!”
 На площадке две слитые тени...
 После – лестницы плоской ступени
 Вопль: “Не надо!” и в отдаленьи
 Чистый голос:
 “Я к смерти готов”.

Факелы гаснут, потолок опускается. Белый (зеркальный) зал¹¹ снова
 делается комнатой автора.

Слова из мрака:

Смерти нет – это всем известно,
 Повторять это стало пресно,
 А что есть – пусть расскажут мне.
 Кто стучится?
 Ведь всех впустили.
 Это гость зазеркальный? Или
 То, что вдруг мелькнуло в окне...
 Шутки ль месяца молодого,
 Или вправду там кто-то снова
 Между печкой и шкафом стоит?
 Бледен лоб, и глаза открыты...
 Значит, хрупки могильные плиты.
 Значит, мягче воска гранит...
 Вздор, вздор, вздор! От такого вздора
 Я седою сделаюсь скоро
 Или стану совсем другой.
 Что ты манишь меня рукою?
 За одну минуту покоя
 Я посмертный отдам покой.

Через площадку

ИНТЕРМЕДИЯ

Где-то вокруг этого места (“...но беспечна, пряна, бесстыдна маскарадная болтовня...”) бродили еще такие строки, но я не пустила их в основной текст:

“Уверяю, это не ново...
 Вы дитя, Signor Casanova...”*
 – “На Исаакьевской ровно в шесть...”
 – “Как-нибудь побредем по мраку,
 Мы отсюда еще в “Собаку”...”¹²
 – “Вы отсюда куда?”
 – “Бог весть!”
 Санчо Пансы и Дон Кихоты
 И, увы, содомские Лоты¹³
 Смертоносный пробуют сок,
 Афродиты возникли из пены,
 Шевельнулись в стекле Елены,
 И безумья близится срок.
 И опять из Фонтанного Грота,¹⁴
 Где любовная стонет дремота,
 Через призрачные ворота
 И мохнатый и рыжий кто-то
 Козлоногую приволок.
 Всех наряднее и всех выше,
 Хоть не видит она и не слышит –
 Не клянет, не молит, не дышит,
 Голова Madame de Lamballe.**
 А смиренница и красотка,
 Ты, что козью пляшешь чечетку,
 Снова гулишь томно и кротко:
 “Que me veut mon Prince Carnaval?”***

* Синьор Казанова (*ut.*).

** Мадам де Ламбаль (*фр.*).

*** Чего хочет мой принц Карнавал? (*фр.*)

И в то же время в глубине зала, сцены, ада или на вершине
Гетевского Брокена появляется Она же (а может быть — ее тень):

Как копытца, топочут сапожки,
Как бубенчик, звенят сережки,
В бледных локонах злые рожки,
Окянной пляской пьяна, —
Словно с вазы чернофигурной
Прибежала к волне лазурной,
Так парадно обнажена.
А за ней, в шинели и в каске,
Ты, вошедший сюда без маски,
Ты, Иванушка древней сказки,
Что тебя сегодня томит?
Сколько горечи в каждом слове,
Сколько мрака в твоей любови,
И зачем эта струйка крови
Бередит лепесток ланит?

Глава вторая

Ты сладострастней, ты телесней
Живых — блестательная тень.

Баратынский

Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен?

1913

Спальня Героини. Горит восковая свеча. Над кроватью три портрета хо-
зяеки дома в ролях. Справа — она Козлоногая, посередине — Путаница,
слева — портрет в тени. Одним кажется, что это Коломбина, другим —
Донна Анна (из "Шагов Командора"). За мансардным окном арапчата иг-
рают в снежки. Метель. Новогодняя полночь. Путаница оживает, сходит
с портрета, и ей чудится голос, который читает:

Распахнулась атласная шубка!
Не сердись на меня, Голубка,

Что коснулась и этого кубка:
Не тебя, а себя казни.

Всё равно подходит расплата —
Видишь, там, за выгой крупчатой,
Мейерхольдовы арапчата
Затеваают опять возню?
А вокруг старый город Питер,
Что народу бока повытер
(Как тогда народ говорил), —
В гривах, в сбруях, в мучных обозах,
В размалеванных чайных розах
И под тучей вороных крыл.
Но летит, улыбаясь мнимо,
Над Маринскою сценой ртима,*
Ты — наш лебедь непостижимый, —
И острит опоздавший сноб.

Звук оркестра, как с того света,
(Тень чего-то мелькнула где-то),
Не предчувствием ли рассвета
По рядам пробежал озноб?
И опять тот голос знакомый,
Будто эхо горного грома —
Не последнее ль торжество!

Он сердца наполняет дрожью
И несется по бездорожью
Над страной, вскормившей его.
Сучья в иссиня-белом снеге...
Коридор Петровских Коллегий¹⁵
Бесконечен, гулок и прям.

(Что угодно может случиться,
Но он будет упрямо сниться
Тем, кто нынче проходит там).

До смешного близка развязка:
Из-за ширм Петрушкина маска,**¹⁶
Вокруг костров кучерская пляска,
Над дворцом черно-желтый стяг...

* Прима (*фр.*).

** Вариант: Чрез Неву за пятак на салазках.

Все уже на местах, кто надо:
Пятым актом из Летнего Сада
Пахнет... Призрак цусимского ада
Тут же. — Пьяный поет моряк...
Как парадно звенят полозья,
И волочится полость козья...
Мимо, тени! — Он там один.
На стене его твердый профиль,
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Всё — таинственно в пришлеце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или всё это было сном?
С мертвым сердцем и с мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот проравившись проклятый дом?
И его поведано словом,
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы, —
И в каких хрусталах полярных,
И в каких сияньях янтарных
Там, у устья Леты-Невы.
Ты сбежала сюда с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать.
Так плясать тебе — без партнера!
Я же роль рокового хора
На себя согласна принять.

*На щеках твоих алые пятна:
Шла бы ты в полотно обратно;
Ведь сегодня такая ночь,*

*Когда нужно платить по счету...
А дурманящую дремоту
Мне трудней, чем смерть, превозмочь!*

Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!
Что глядишь ты так смутно и зорко:
Петербургская кукла, актерка,*
Ты — один из моих двойников.
К прочим титулам надо и этот
Приписать. О, подруга поэтов,
Я наследница славы твоей,
Здесь под музыку дивного мэтра,
Ленинградского дикого ветра,
И в тени заповедного кедра
Вижу танец придворных костей.
Опльвают венчальные свечи,
Под фатой “поцелуйные плечи”,
Храм гремит: “Голубица, гряди!”¹⁷
Горы пармских фиалок в апреле —
И свиданье в Мальтийской Капелле¹⁸
Как проклятье в твоей груди.
Золотого ль века виденье
Или черное преступленье
В грозном хаосе давних дней?
Мне отвять хоть теперь:
неужели
Ты когда-то жила в самом деле?
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей?..

Дом пестрой комедьянтской фуры,
Облупившиеся амуры
Охраняют Венерин алтарь.
Певчих птиц не сажала в клетку,
Спальню ты убрала как беседку,

* Было: Козлоногая кукла, актерка.

Деревенскую девку-соседку
Не узнает веселый скобарь.¹⁹
В стенках лесенки скрыты витые,
А на стенках лазурных святые —
Полукрадено это добро...
Вся в цветах, как “Весна” Боттичелли,
Ты друзей принимала в постели,
И томился драгунский Пьеро, —
Всех влюбленных в тебя суеверней
Тот, с улыбкой жертвы вечерней.
Ты ему как стали — магнит,
Побледнев, он глядит сквозь слезы,
Как тебе протянули розы
И как враг его знаменит.
Твоего я не видела мужа,
Я, к стеклу приникавшая стужа...
Вот он, бой крепостных часов...
Ты не бойся — домой не мечу,
Выходи ко мне смело навстречу —
Гороскоп твой давно готов...

Глава третья

И под аркой на Галерной...

А. Ахматова

*В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.*

О. Мандельштам

То был последний год...

М. Лозинский

Петербург 1913 года. Лирическое отступление: последнее воспоминание о Царском Селе. Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя — бормочет:

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,

И весь траурный город плыл
По неведомому назначению
По Неве иль против теченья, —
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень,
Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.
И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.
И выглядывал вновь из мрака
Старый питерщик и гуляка,
Как пред казнью бил барабан...

И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Жил какой-то будущий гул.
Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.

*А теперь бы домой скорее
Камероновой Галереей*

*В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять* мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад.
Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей,
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?*

Глава четвертая и последняя

*Любовь прошла, и стали ясны и близки
смертные черты.*

Вс. К.

Угол Марсова Поля. Дом, построенный в начале 19 века бр. Адамини. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 г. Горит высокий костер. Слышны удары колокольного звона от Спаса на Крови. На Поле за метелю призрак Зимнедворского бала. В промежутке между этими звуками говорит сама Тишина:

Кто застыл у померкших окон,
На чьем сердце "палевый локон",
У кого пред глазами тьма?
"Помогите, еще не поздно!
Никогда ты такой морозной
И чужою, ночь, не была!"
Ветер, полный балтийской соли,
Бал метелей на Марсовом Поле,
И невидимых звон копыт...
И безмерная в том тревога,
Кому жить осталось немного,

* Музы.

Кто лишь смерти просит у бога
И кто будет навек забыт.
Он за полночь под окнами бродит,
На него беспощадно наводит
Тусклый луч угловой фонарь, —
И дождался он. Стройная маска
На обратном "пути из Дамаска"
Возвратилась домой... не одна!
Кто-то с ней "без лица и названья"...
Недвусмысленное расставанье
Сквозь косое пламя костра
Он увидел — рухнули зданья,
И в ответ обрывок рыданья:
"Ты Голубка, солнце, сестра!
Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
А теперь...
Прощаться пора!"
На площадке пахнет духами,
И драгунский корнет со стихами
И с бессмысленной смертью в груди
Позвонит, если смелости хватит,
Он мгновенье последнее тратит,
Чтобы славить тебя.
Гляди:
Не в проклятых Мазурских болотах.
Не на синих Карпатских высотах...
Он — на твой порог!
Поперек.
Да простит тебя бог!

(Сколько гибелей шло к поэту.
Глупый мальчик: он выбрал эту,
Первых он не стерпел обид,
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид...)

Это я — твоя старая совесть,
Разыскала сожженную повесть
И на край подоконника
В доме покойника
Положила —
и на цыпочках ушла...

Послесловие

Все в порядке: лежит поэма
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема,
Кулаком в окно застучит, —
И откликнется издалека
На призыв этот страшный звук —
Клокотанье, стон и клекот
И виденье скрещенных рук?..

Часть вторая
Решка

...я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость.

Пушкин

In my beginning is my end.

T.S. Eliot*

*Место действия — Фонтанный Дом. Время — 5 января 1941. В окне призрак осен-
женного клена. Только что пронеслась адская арлекинада тринацатого года, раз-
будив безмолвие великой малчальницы — эпохи и оставив за собою тот свойствен-
ный каждому праздничному или похоронному шествию беспорядок — дым
факелов, цветы на полу, навсегда потерянные священные сувениры...*
*В печной трубе вост ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело
спрятанные обрывки Реквиема.*
О том, что в зеркалах, лучше не думать.

...жасминный куст,
Где Дантешел и воздух пуст.

H. K.

I

Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон
И ворчал: “Там три темы сразу!
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен,

II

Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб, и кто жив остался,

* В моем начале мой конец.
T.S. Eliot (англ.).

И кто автор, и кто герой, —
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой?"

III

Я ответила: "Там их трое —
Главный был наряжен верстово,
А другой как демон одет, —
Чтоб они столетьям достались,
Их стихи за них постарались,
Третий прожил лишь двадцать лет,

IV

И мне жалко его". И снова
Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел,
И над тем флаконом надбитым
Языком кривым и сердитым
Яд неведомый пламенел.

V

А во сне всё казалось, что это
Я пишу для кого-то либретто,
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон — это тоже вещица,
Soft embalmer,²⁰ Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет.

VI

И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалека засыпав вой.

Всё надеялась я, что мимо
Белой залы, как хлопья дыма,
Пронесется сквозь сумрак хвой.

VII

Не отбиться от рухляди пестрой,
Это старый чудит Калиостро —
Сам изящнейший сатана,
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, что совесть значит
И зачем существует она.

VIII

Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
У закрытых церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

IX

И со мною моя "Седьмая",
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской
И сухою землей набит.

X

Враг пытал: "А ну, расскажи-ка",
Но ни слова, ни стона, ни крика
Не услышать ее врагу.
И проходят десятилетья,

Пытки, ссылки и казни — петь я
В этом ужасе не могу.

XI

Ты спроси у моих современниц,
Каторжанок, "стопятниц", плениц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

XII

Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором,
Мы, увенчанные позором:
"По ту сторону ада мы..."

XIII

Я ль растаю в казенном гимне?
Не дари, не дари, не дари мне
Диадему с мертвого лба.
Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.
На пороге стоит — Судьба.

XIV

Но была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Между "помнить" и "вспомнить", други,
Расстояние — как от Луги
До страны атласных баут.²²

408

XV

Бес попутал в укладке рыться...
Ну, а как же могло случиться,
Что во всем виновата я?
Я — тишайшая, я — простая,
"Подорожник", "Белая стая"...
Оправдаться... но как, друзья?

XVI

Так и знай: обвинят в plagiatе...
Разве я других виноватей?
Впрочем, это мне всё равно.
Я согласна на неудачу
И смущенье свое не прячу...
У шкатулки ж тройное дно.

XVII

Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила...
Я зеркальным письмом пишу,
И другой мне дороги нету —
Чудом я набрела на эту
И расстаться с ней не спешу.

XVIII

Чтоб посланец давнего века
Из заветного сна Эль Греко
Объяснил мне совсем без слов,
А одной улыбкою летней,
Как была я ему запретней
Всех семи смертельных грехов.

XIX

И тогда из грядущего века
Незнакомого человека

409

Пусть посмотрят дерзко глаза,
И он мне, отлетевшей тени,
Даст охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.

XX

А столетняя чаровница*
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я ни при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом.

XXI

Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержаня, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой:
Я грозила ей Звездной Палатой²²
И гнала на родной чердак** —

XXII

В темноту, под Манфредовы ели,
И на берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, —
И все жаворонки всего мира²³
Разрывали бездну эфира,
И факел Георг²⁴ держал.

XXIII

Но она твердила упрямо:
“Я не та английская дама

И совсем не Клара Газуль,²⁵
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам Июль.

XXIV

А твоей двусмысленной славе,
Двадцать лет лежавшей в канаве,
Я еще не так послужу,
Мы с тобой еще попирем,
И я царским моим поцелуем
Злую полночь твою награжу”.

5 января 1941 года
Фонтанный Дом;
в Ташкенте и после

* Романтическая поэма.

** Место, где, по представлению читателей, рождаются все поэтические произведения.

Часть третья

Эпилог

Быть пусту месту сему...

Евдокия Лопухина

*Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета:*

Анненский

Люблю тебя, Петра творенье!

Пушкин

Моему городу

Белая ночь 24 июня 1942 г. Город в развалинах. От Гавани до Смольного всё как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметевском саду цветут липы и поет соловей. Одно окно третьего этажа (перед которым увечный клен) выбито, и за ним зипает черная пустота. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в общем тихо. Голос автомата, находящегося за семь тысяч километров, произносит:

Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей, —
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей,
Где, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую черную руку,
Как за помощью, тянет он.
Но земля под ногой гудела,
И такая звезда глядела*

* Март летом 1941 г.

В мой еще не брошенный дом
И ждала условного звука...
Это где-то там — у Тобрука,
Это где-то здесь — за углом.
(Ты, не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть?
Ты не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глуби —
Этой нашей разлуки весть.
Не клади мне руку на темя —
Пусть навек остановится время
На тобою данных часах.
Нас несчастье не минует,
И кукушка не закукует
В опаленных наших лесах...)

А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнев, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле,²⁶
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил.
Всё, что сказано в Первой Части
О любви, измене и страсти,
Сбросил с крыльев свободный стих,
И стоит мой Город “зашитый”...
Тяжелы надгробные плиты
На бессонных очах твоих.
Мне казалось, за мной ты гнался,
Ты, что там погибать остался

В блеске шпилей, в отблеске вод.
 Не дождался желанных вестниц...
 Над тобой — лишь твоих прелестниц
 Белых ноченек хоровод.
 А веселое слово — дома —
 Никому теперь не знакомо,
 Все в чужое глядят окно.
 Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,
 И изгнания воздух горький —
 Как отравленное вино.
 Все вы мной любоваться могли бы,
 Когда в брюхе летучей рыбы
 Я от злой погони спаслась
 И над полным врагами лесом,
 Словно та, одержимая бесом,
 Как на Брокенской ночной неслась.
 И уже предо мною прямо
 Леденела и стыла Кама,
 И “Quo vadis?”* кто-то сказал,
 Но не дал шевельнуть устами,
 Как тоннелями и мостами
 Загремел сумасшедший Урал.
 И открылась мне та дорога,
 По которой ушло так много,
 По которой сына везли,
 И был долг путь погребальный
 Среди торжественной и хрустальной
 Тишины Сибирской Земли.
 От того, что сделалось прахом,
 Обуянная смертным страхом
 И отмщения зная срок,
 Опустивши глаза сухие
 И ломая руки, Россия
 Предо мною шла на восток.²⁷

Окончено в Ташкенте
 18 августа 1942 года

* “Камо грядеши?” (лат.).

Примечания редактора

- ¹ *Антиной* — античный красавец.
- ² “Ты ли, Путаница...” — героиня одноименной пьесы Юрия Беляева.
- ³ *Le jour des rois* — канун Крещения: 5 января.
- ⁴ *Датертурто* — псевдоним Всеволода Мейерхольда.
- ⁵ *Иоканаан* — святой Иоанн Креститель.
- ⁶ *Долина Иосафата* — предполагаемое место Страшного Суда.
- ⁷ *Лизиска* — псевдоним императрицы Мессалины в римских притонах.
- ⁸ Мамврийский дуб — см. Книгу Бытия.
- ⁹ *Хамураби, Ликур, Салон* — законодатели.
- ¹⁰ *Ковчег Завета* — библ.
- ¹¹ Зал — Белый зеркальный зал в Фонтанном Доме (работы Кваренги) через площадку от квартиры автора.
- ¹² “Собака” — “Бродячая собака”, артистическое кабаре десятых годов.
- ¹³ *Содомские Лоты* (см. “Бытие”, гл. <XIX>).
- ¹⁴ *Фонтанний Гром* — построен в 1757 г. Аргуновым в саду Шереметевского дворца на Фонтанке (так называемый Фонтанний Дом), разрушен в начале десятых годов (см. Лукомский, стр. <?>).
- ¹⁵ *Коридор Петровских Коллегий* — коридор Петербургского университета.
- ¹⁶ *Петрушкина маска* — “Петрушка”, балет Стравинского.
- ¹⁷ “Голубица, гряди!” — церковное песнопение. Пели, когда невеста ступала на ковер в храме.
- ¹⁸ *Мальтийская Капелла* — построена по проекту Кваренги (с 1798 г. до 1800 г.) во внутреннем дворе Воронцовского дворца, в котором помещался Пажеский корпус.
- ¹⁹ *Скобарь* — обидное прозвище псковичей.
- ²⁰ Soft embalmer (англ.) — “нежный утешитель” — см.сонет Китса “To the Sleep” (“К сну”).
- ²¹ *Баута* — маска с капюшоном.
- ²² *Звездная Палата* (англ.) — тайное судилище, которое помещалось в зале, где на потолке было изображено звездное небо.
- ²³ См. знаменитое стихотворение Шелли “To the Skylark” (“К жаворонку”).

²⁴ Георг — лорд Байрон.

²⁵ Клара Газуль — псевдоним Мериме.

²⁶ Волково Поле — старое название Волкова кладбища.

²⁷ Раньше поэма кончалась так:

А за мною, тайной сверкая
И назвавши себя — “Седьмая”,*
На неслыханный мчалась пир,
Притворившись нотной тетрадкой,
Знаменитая Ленинградка
Возвращалась в родной эфир.

<Дополнения>

<Строфы, не вошедшие
в текст “Поэмы без героя”>

Петербург в 1913 году

За заставой воет шарманка,
Водят мишуку, пляшет цыганка
На заплеванной мостовой.
Паровик идет до Скорбящей,
И гудочек его щемящий
Откликается над Невой.
В черном ветре злоба и воля.
Тут уже до Горячего Поля,
Вероятно, рукой подать.
Тут мой голос смолкает вещий,
Тут еще чудеса похлеще,
Но уйдем — мне некогда ждать.

1961

* “Седьмая” — “Ленинградская” симфония Шостаковича. Первую часть этой симфонии автор вывез из осажденного города 29 сентября 1941 г.

К “Поэме без героя”

(Блуждающая в списке 55 года строфа)

А за правой стенкой, откуда
Я ушла, не дождавшись чуда,
В сентябре в ненастную ночь —
Старый друг не спит и бормочет,
Что он больше, чем счастья, хочет
Позабыть про царскую dochь.

1955

Что бормочешь ты, полночь наша?
Всё равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца,
Не достроена галерея —
Эта свадебная затея,
Где опять под подсказку Борея
Это всё я для вас пишу.
Тянет ладаном из всех окон,
Срезан самый любимый локон,
И темнеет овал лица.

5 января 1941

Отрывок

Чтоб посланец давнего века
Из заветного сна Эль-Греко
Объяснил мне совсем без слов,
А одной улыбкою летней,
Как была я ему запретней
Всех семи смертельных грехов.

1963

А Н Н А А Х М А Т О В А

И особенно, если снится
То, что скоро должно случиться:
Смерть повсюду — Город в огне,
И Ташкент в цвету подвенечном.
О безбольном, верном и вечном
Ветр азийский расскажет мне.

1959

И уже, заглушая друг друга,
Два оркестра из тайного круга
Звуки шлют в лебединую сень.
Но где голос мой и где эхо,
В чем спасенье и в чем помеха,
Где сама я и где только тень.
Как спастись от второго шага...

* * *

Институтка, кузина, Джулльетта!..
Не дождаться тебе корнета,
В монастырь ты уйдешь тайком.
Нем твой бубен, моя цыганка,
И уже почернела ранка
У тебя под левым соском.

ПРОЗА

ПУШКИНСКИЕ ШТУДИИ

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПУШКИНА

I

“Сказка о золотом петушке” Пушкина сравнительно мало привлекала внимание исследователей.

В историко-литературных статьях и комментариях мы находим очень скучные и неточные сведения о последней сказке Пушкина (1834 г.).

Отсутствие фабулы “Сказки о золотом петушке” в русском и иностранном фольклорах привело к мысли, что эта сказка имеет литературный источник.

Однако все поиски в течение последних 20–30 лет не увенчались успехом¹.

Попытки найти источник “Сказки о золотом петушке” в сказках “Тысячи и одной ночи” также кончились неудачей.

Мне удалось найти источник “Сказки о золотом петушке”. Это — “Легенда об арабском звездочете” Вашингтона Ирвинга из книги “Альгамбра”.

Книга Вашингтона Ирвинга “The Alhambra” вышла в 1832 году в Париже².

Одновременно в Париже был издан и французский, довольно точный, перевод этой книги³.

1 Указание В. Сиповского на сказку Клингера “Le coq d’or” как на источник “Сказки о золотом петушке” — совершенно неосновательно.

2 The Alhambra, or the new Sketch Book by Washington Irving. Paris. 1832. (W. Galignani.)

3 Les contes de l’Alhambra, précédés d’un voyage dans la province de Grenade; traduits de Washington Irving, par malle A. Sobry. Paris. 1832 • (H. Fournier). Vol. I-II.

В числе семи книг Ирвинга в библиотеке Пушкина находится и французское двухтомное издание “Альгамбрских сказок”¹.

Еще при жизни Пушкина критика отмечала воздействие Вашингтона Ирвинга на автора “Повестей Белкина” (Н. Полевой в “Московском телеграфе” и анонимный рецензент в “Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду” в 1831 г.).

Вопрос о непосредственном влиянии Ирвинга на Пушкина до сих пор остается открытым².

Сам Пушкин упоминает об Ирвинге только один раз – в своем пересказе биографии Джона Теннера (1836 г.).

II

В 20–30 годах XIX века Вашингтон Ирвинг был очень популярен в России. Многочисленные переводы его произведений находятся во всех наиболее известных журналах того времени: “Московском телеграфе”, “Вестнике Европы”, “Атенее”, “Сыне отечества”, “Телескопе” и “Литературной газете”. Поэтому “Альгамбрские сказки”, вскоре после того как были изданы в Париже, сделались предметом обсуждения русских журналов.

Уже в июльском номере “Московского телеграфа”, вышедшем в октябре 1832 года, появилась первая рецензия на “Les contes de l’Alhambra”.

“...В. Ирвинг написал уже: *Историю Коломба*, *Историю завоевания Гренады*. Теперь он описывает нам свое путешествие в Гренаду, видит в Альгамбре символ владычества и бытия мавров в Испании и рассказывает суеверные предания, какие воображение Испанцев вывело из развалин Дворца Мавританского. Вы чита-

¹ № 1019, “разрезан, помет нет”. (См. Б. Модзалевский. Библиотека Пушкина.)

² М.П. Алексеев доказал, что “История села Горюхина” Пушкина и “История Нью-Йорка” Ирвинга – вещи одного жанра. (См. “К истории села Горюхина”. Пушкин. Статьи и материалы. Одесса, 1926. Вып. 2).•

ете сначала путешествие В. Ирвинга по Южной Испании; потом подробное описание Альгамбры. Автор поселяется на время в Альгамбре, и разные случаи, разные встречи подают повод к рассказам старых преданий или, лучше сказать, сказок об Альгамбре. Всех сказок семь: *Арабский звездочет*; *История о трех прекрасных принцессах*; *История о принце Ахмеде-Аль-Камеле, или Пилигрим любви*; *Наследство Мавра; Альгамбрская роза, или Паж и сокол*; *Губернатор Манко и солдат*; *Две статуи*. Что сказать об них? Они все остроумны, и многие занимательны: но все равно, если бы наши Русские сказки начал рассказывать француз: так и В. Ирвинг рассказывает сказки Мавританские. Одна из них была переведена в Телескопе, но очень некрасиво, и при том эта самая плохая. Лучшие по нашему мнению: *Арабский звездочет*, *Пилигрим любви*, *Две статуи*, *Паж и сокол* и *Наследство Мавра*. Постараемся перевести которую-нибудь из них для читателей Телеграфа, с Английского подлинника” (стр. 250–251).

Перевод одной из “Альгамбрских сказок”, о котором рецензент “Московского телеграфа” дал неодобрительный отзыв, был помещен в IX части “Телескопа” (сентябрь): “Губернатор Манко из Альгамбры, нового сочинения Вашингтона Ирвинга”.

В особом примечании издатель характеризует эту вещь как “народную испанскую сказку, обработанную В. Ирвингом”.

Обещанный рецензентом “Московского телеграфа” перевод одной из цикла “Альгамбрских сказок” был напечатан в №№ 21 и 22 (ноябрь). Это перевод “Истории о принце Ахмеде-аль-Камеле”, со следующим примечанием:

“Мы получили повесть сию при письме, в котором г-н переводчик говорит, между прочим, следующее “в 14-м № Московского телеграфа упоминаете вы, что намерены перевести для читателей своих одну из Альгамбрских повестей. Не угодно ли будет вам поместить в Телеграфе посыпанную мной повесть из сей книги, которую перевел я уже всю, вполне, и хотел бы знать предварительно, стоит ли перевод мой печатания?”

Таким образом, “Альгамбрские сказки” были полностью переведены на русский язык вскоре после появления английского и французского изданий. Однако, по неизвестным нам причинам, этот перевод остался ненапечатанным¹.

Наконец, в “Библиотеке для Чтения” 1835 г., в IX томе, где впервые была напечатана “Сказка о золотом петушке”, появилась статья “Вашингтон Ирвинг”, представляющая собой перевод из “Revue Britannique”.

Здесь дана следующая характеристика “Альгамбрских сказок”:

“Альгамбрские повести” непосредственнее принадлежат вымыслу [автор статьи сравнивает “Альгамбуру” с “Летописями покорения Гренады”], но с романтическими преданиями там смешаны путевые воспоминания, в которых и та же свежесть и та же прелест, что в описаниях Sketch Book”.

Большая часть “Альгамбрских сказок” – это новеллы о мавританских кладах.

В письмах Ирвинга из Альгамбры он неоднократно упоминает о своем проводнике Матео Хименесе, рассказы которого он записал².

¹ Из цикла “Альгамбрских сказок” были напечатаны в 1835 г. в “Сыне Отечества” (№ 70) – “Альгамбрская роза”, в 1836 г. “Губернатор Манко («Сорок одна повесть лучших иностранных писателей»). Ч. IX). Полный перевод “Альгамбры” был издан в 1879 г.: Вашингтон Ирвинг. Путевые очерки и картины. Пер. с англ. А. Глазунов. М., 1879. См. также: Наследство Мавра и Арабский Астролог. Испанские легенды. Соч. В. Ирвинга. М., Изд. “Народной Библиотеки”, 1889.

² Письмо Ирвинга из Альгамбры, от 15 марта 1828 г.: “...я получил от моего проводника много весьма любопытных подробностей о суевериях, которые существуют среди бедного народа, населяющего Альгамбру, и которые касаются ее старых разрушающихся башен. Я записал эти забавные маленькие истории, и он обещал мне сообщить еще другие. Они преимущественно относятся к маврам и богатствам, которые те склонили в Альгамбре, и к появлению их потревоженных духов среди башен и развалин, где спрятано их золото”. (The Life and Letters of Washington Irving. London. 1862. Vol. I. P. 435.) Один из “рассказов” Хименеса (со ссылкой на Ирвинга), в качестве “народного”, мы находим в “Письмах об Испании” В.П. Боткина (СПб., 1857. С. 412). Ср.: В. Ирвинг. Путевые очерки и картины. М., 1879. С. 266.

Впрочем, сам Ирвинг разоблачает свой метод “воссоздания” народных легенд:

“Познакомив читателя с местностью Альгамбры, я теперь перейду к области чудесных легенд... которые я усердно собираю, пользуясь всевозможными рассказами и малейшими намеками, как пользуется археолог несколькими уцелевшими буквами почти стертой надписи, чтобы восстановить какой-нибудь исторический документ” (гл. “Местные предания”)¹.

Кроме цикла новелл о кладах в книге находятся: легенда “История о трех прекраснейших принцессах” и две пародийные волшебные сказки – “Легенда о принце Ахмеде-аль-Камеле” и “Легенда об арабском звездочете”.

III

Сюжет пародийной “Легенды об арабском звездочете” чрезвычайно сложен, с чудесными происшествиями и со всеми аксессуарами псевдоарабской фантастики, которую сам Ирвинг характеризует как “Гарун-аль-Рашидовский стиль”.

Легенда довольно длинна, и поэтому я ограничусь здесь самым кратким пересказом.

¹ 19 октября 1830 г. Ирвинг писал из Лондона ...Я закончил три сказки из “Альгамбры” и работал над тремя другими. Долгоруков, прочитавший законченные, очень одобрительно о них отзывается, а он по своему знанию страны, тех мест и народа может судить о верности местного колорита этих произведений”. (The Life and Letters of Washington Irving. 1862. Vol. I. P. 435.) Кн. Дмитрий Иванович Долгоруков (1797–1867), сын поэта И.М. Долгорукова, был в это время секретарем русского посольства в Лондоне. С Ирвингом Долгоруков подружился в Мадриде, где был атташе русского посольства. До своей дипломатической карьеры Д. писал стихи и был членом общества “Зеленая лампа”, где он встречался с Пушкиным. С 4 апреля 1820 г. Долгоруков – чиновник русского посольства в Константинополе (вместе с С.И. Тургеневым и Д.В. Дашковым). В 1821 г. он вернулся в Петербург. В письме Пушкина к С.И. Тургеневу (из Кишинева, от 21 августа 1821 г.) есть упоминание о Долгорукове: “...Кланяюсь Чу [Д.В. Дашков], если Чу меня помнит – а Долгорукий меня забыл”.

На старого мавританского короля Абен-Габуза нападают враги.

Арабский звездочет Ибрагим, ставший советником короля, рассказывает ему о талисмане, предупреждающем о нападении врагов (петух и баран из меди), и сооружает другой талисман с тем же назначением (медного всадника)¹.

Враги Абен-Габуза уничтожены.

Талисман снова начинает действовать.

Разведчики находят в горах готскую принцессу.

Король влюбляется в принцессу.

Звездочет требует девицу в награду за все оказанные королю услуги.

Король, давший слово наградить звездочета, отказывается.

Происходит ссора звездочета с королем.

Звездочет и принцесса проваливаются в подземное жилище звездочета.

Талисман перестает действовать и превращается в простой флюгер.

Враги снова нападают на "отставного завоевателя"² Абен-Габуза.

В этой легенде Ирвинг использовал материал своих исторических сочинений, над которыми он работал во время своего пребывания в Альгамбре. Эти сочинения: "История покорения Гренады" (изд. в 1829 г.), "Завоевание Испании" (изд. в 1835 г.) и "Магомет и его преемники" (изд. в 1850 г.).

Вашингтон Ирвинг был известен своим современникам как литературный мистификатор, продолжатель традиций "Великого незнамомца" – Вальтер Скотта.

За три года до выхода "Альгамбрских сказок" он выпустил "Историю покорения Гренады". Эта книга принадлежит к распространенному в то время жанру исторических хроник. Повествование ведется от имени вымышленного циклизатора, монаха Антонио Агапида.

1 Магический всадник из меди есть и в сказках "Тысячи и одной ночи", но там он имеет иное назначение (см. "Рассказ о носильщике и трех девицах"). Этим указанием я обязанна акад. И.Ю. Крачковскому.

2 Точнее: "удалившийся от дел завоеватель".

Не касаясь сложного и требующего особого исследования вопроса о близости "Легенды об арабском звездочете" к испанскому фольклору и так называемым пограничным романсам¹, отмечу только, что из этой хроники взяты главные персонажи "Легенды об Арабском звездочете". Биография Абен-Габуза во многом повторяет биографию Мулей-Абен-Гассана, отца Боабдила, последнего мавританского короля. Звездочет – безымянный араб-волшебник, принимавший участие в защите Малаги. Готская принцесса – плenная христианская девушка, одна из жен короля Мулей-Абен-Гассана.

Знакомство Пушкина с "Альгамбрскими сказками" Ирвинга можно датировать 1833 годом.

К этому времени относится черновой набросок "Царь увидел пред собой..."². Первые десять строчек этого наброска, до сих пор не поддававшегося никакому комментарию, представляют собой, как нами установлено, стиховой "пересказ" куска "Легенды об арабском звездочете", не использованного Пушкиным в "Сказке о золотом петушке".

Приведу параллельные тексты:

Царь увидел пред собой...
Столик с шахматной доской.

Devant chacune de ces fenêtres
étaient une table sur laquelle on avait
rangé, comme des échecs, une
petite armée, infanterie et cava-
lerie... le tout sculpté en bois.

Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
В стройный ряд расставил он.
Грозно куколки стоят,
Подбоченясь на лошадках.
В коленкоровых перчатках,

...Le roi... s'approcha de l'échi-
quier sur lequel les petites figures
de bois étaient rangées et vit...
qu'elles étaient toutes en mouve-
ment. Les chevaux caracolaient et
battaient du pied, les guerriers

1 По сообщению проф. Мадридского университета Азин-Палациоса, источниками "Альгамбры" Ирвинга в Испании никто не занимался.

2 В Пушкинских черновиках этот набросок находится между "Езерским" и началом перевода "Одиссеи" (тетрадь № 2374, л. 7). Впервые был напечатан под заглавием "Опыт детского стихотворения" (Русский архив, 1881 № III. С. 473). Наиболее полный текст напечатан в Полн. собр. соч. А.С. Пушкина. М.-Л., 1931. Т. 2. С. 257.

В оперенных шишацках,
С палашами на плечах...

brandissaient leurs armes, on entendait... le son des trompettes et des tambours...¹

Эти фигурки — магические изображения вражеских войск, которые при прикосновении волшебного шила либо обращались в бегство, либо начинали вести междуусобную войну и уничтожали друг друга. И тогда та же участь постигала наступающего неприятеля.

Насколько близка фабула “простонародной” сказки Пушкина к легенде Ирвинга, становится ясным при параллельном сличении:

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело,
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить;

Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать

Il était une fois...² un roi maure, nomme Aben Habuz... C'était un conquérant rétiré des affaires, c'est-à-dire qu'après avoir, dans son jeune temps, mené une vie d'hostilités et de déprédations continues, maintenant qu'il devenait vieux et faible, il n'aspirait qu'à rester en paix avec tout le monde... à jouir en repos des domaines qu'il avait enlevés à ses voisins.

Il advint cependant que ce monarque... eut à combattre de jeunes rivaux... Certaines parties éloignées de son territoire qui, dans les jours de sa vigueur première n'osaient broncher sous sa

1 Привожу перевод этого отрывка: “...Перед каждым окном находился стол, на котором была расставлена, как шахматы, миниатюрная армия — пехота и кавалерия, вырезанные из дерева... Король... приблизился к шахматному столику, на котором были расставлены деревянные куколки, и увидел... что все они пришли в движение. Лошади гарцевали и били копытами, воины потрясали оружием, и слышался звук труб и барабанов”.

В черновике Пушкина:

[Музыканты] на лошадках.
<И [перед пешими]
И [копья, дротики блестят]>

2 Обыкновенное французское сказочное начало.

Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут бывало с юга, глядь —
Ан с востока лезет рать!
Справят здесь, — лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон,
Что и жизнь в такой тревоге!

main de fer, s'avisèrent... de se révolter... Ainsi attaquée au dedan et au dehors, le malheureux Aben Habuz vivait... dans des alarmes perpétuelles, ne sachant de quel côté commencerait les hostilités.

Ce fut en vain qu'il bâtit des tours d'observation... et qu'il fit garder tous les passages par des troupes stationnaires... Fut-il jamais conquérant paisible et retiré plus tourmenté que le pauvre Aben-Habuz?¹

Сходство ситуаций полное. “Биография” царя Дадона и короля Абен-Габуза совпадают. Отмечу, что у героев других пушкинских сказок (Салтан, Елисей и др.) “биографии” отсутствуют.

Вот он с просьбой о помозе
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопшу...
Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
Посади ты эту птицу,
Молвил он царю, на спицу;
Петушок мой золотой

...un vieux médecin arabe vint à sa cour... En peu de temps il devint le conseiller intime du roi... Aben Habuz se plaignait... de la vigilance continue qu'il était force d'observer... l'astrologue lui répondit: “Apprends, ô roi, que... je vis une grande merveille... Sur une montagne... on voyait la figure d'un

1 Жил однажды мавританский король, по имени Абен-Габуз... Это был завоеватель, уже удалившийся на покой, — другими словами, проведя все молодые годы в беспрерывных набегах и грабежах, теперь состарившись и одряхлев, он ничего другого не желал, как жить со всеми в мире... безмятежно наслаждаться жизнью во владениях, некогда отнятых им у соседей. Случилось, однако, что этому королю... пришлось вести борьбу с молодыми соперниками... Некоторые отдаленные области его государства, которые в дни его былой мощи и пикнуть не смели под его железной дланью, вздумали бунтовать. И несчастный Абен-Габуз, которому, таким образом, грозили одновременно извне и изнутри, жил... в постоянных тревогах, не зная, с какой стороны ожидать ему нападения. Напрасно построил он сторожевые башни и повелел, чтобы особые войска постоянно охраняли все входы и выходы... Бывал ли когда-нибудь столь миролюбивый, живущий на покое завоеватель в более трудном положении, чем бедный Абен-Габуз?

Будет верный сторож твой:
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смиро;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной¹,
Вмig тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется,
И в то место обернется.
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит —
За такое одолженье,
Говорит он в восхищены,
Волю первую твою
Я исполню, как мою.

У Ирвинга о талисмане в виде медного петуха звездочет только рассказывает королю (сооружает же он медного всадника).

Принято считать, что в пушкинской сказке петух — “живой”. Однако стих “Вдруг раздался легкий звон” (полет золотого петушка) как будто противоречит этому.

¹ Вероятно, намек на междоусобные войны. Ср. “бунт в столице” в черновике.

² Появился при его дворе некий престарелый арабский лекарь ... и в скром времени стал ближайшим советником короля ... Абен-Габуз жаловался ... что приходится постоянно быть настороже ... Астролог ему на это ответил: “Узнай, о государь, что ... видел я великое чудо ... На некоей горе стоял баран, а на нем петух — оба медные, и они врашивались на стержне. Всякий раз, когда той стране угрожало вражеское нашествие, баран поворачивался в сторону неприятеля, а петух принимался кричать, тем самым предупреждая жителей города об опасности и указывая, откуда та грозит”. — “Сколь велик господь! — восхлинул ... Абен-Габуз. — Каким сокровищем был бы для меня такой баран... и петух, которые предупреждали бы меня в случае опасности... Насколько спокойнее спал бы я в моем дворце, когда бы такие часовые охраняли мойсон! Добудь мне эту благословенную стражу и владей всеми богатствами моей сокровищницы”.

bélier, sur lequel était un coq, l'un et l'autre en airain et tournant sur un pivot. Toutes les fois que le pays était menacé d'une invasion le bélier se tourna du côté de l'ennemi et le coq chantait ce qui avertisait les habitants de la ville qu'ils étaient en danger et leur indiquait le point vers lequel devait et diriger leur défense”.

“Dieux est grand!” s'écria... Aben Habuz. “Quel trésor serait pour moi un bélier semblable... et un coq qui m'avertirait en cas de danger... Combien je dormirais plus tranquille... dans mon palais, si de telles sentinelles veillaient sur mon sommet!”... “Donne-moi cette bienheureuse sauvegarde, et dispose des richesses de mon trésor”².

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы —
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенется
К той сторонке обернется
И кричит: “Кири-ку-ку”.
Царствуй лежа на боку!”
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели,
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон.

II insultait... ses voisins pour les induire à l'attaquer; mais des malheurs réitérés les rendirent prudens et enfin aucun d'eux n'osa plus envahir son territoire¹.

У Ирвинга волшебные талисманы не разговаривают (медный петух, медный всадник). У Пушкина золотой петушок иронизирует над царем:

Год, другой проходят мирно;
Петушок сидит все смиро.
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден.
“Царь ты наш! Отец народа! —
Возглашает воевода, —
Государь! проснись, беда!”

— “Что такое, господа? —
Говорит Дадон, зевая: —
А? Кто там? Беда какая?”
Воевода говорит:

“Петушок опять кричит,
Страх и шум во всей столице”.
Царь к окошку, ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.

Медлить нечего: “Скорее!
Люди, на конь! Эй живее!”²

Pendant plusieurs mois, la figure de bronze resta sur le pied de la paix... Un matin de très bonne heure, la sentinelle qui montait la garde sur la tour vient avertir le roi que le visage du cavalier de bronze était tourné vers Elvira...

“Que les tambours et les trompettes sonnent l'alarme dans

¹ Он оскорблял своих соседей, дабы побудить их к нападению, но неудачные вылазки сделали их осторожными, и в конце концов никто из них не осмеливался больше вторгаться в его владения.

² Ср. заметку (Пушкина) “В древние времена...”: велели “садиться на коней”.

Царь к востоку войско шлет... *Grenade", dit le roi; "que chacun prenne les armes"*¹.

Диалог царя с воеводой дан в плане гротеска. В сказке Ирвинга, несмотря на общий иронический тон повествования, аналогичный эпизод не имеет подобной окраски.

Дальше у Пушкина следует вставной эпизод с царскими сыновьями и поход царя, отсутствующие в легенде Ирвинга.

У Ирвинга воины короля отправляются в горы — место, указанное талисманом, где они не встречают ни одного неприятеля, но находят готскую принцессу. Они приводят ее к Абен-Габузу.

...и девица,
Шемаханская царица,
Вся сияя, как заря,
Тихо встретила царя.
.....
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у неё Дадон.

On amena donc au vieux roi cette belle personne... Des perles d'une ébloquentne ne blancheur étaient entrelacées dans ses tresses noires; les diamants qui brillaient sur son front rivalisaient d'éclat avec ses yeux... Les éclairs que lançaient ses yeux noirs et brillants tombèrent comme des étincelles sur le cœur d'Aben Habuz... Aben Habuz se livra sans résistance à sa passion².

У Пушкина ситуация гораздо сложнее, чем у Ирвинга. Царь влюбляется в Шемаханскую царицу над трупами своих сыновей³.

1 Многие месяцы медный всадник оставался неподвижным, как это пободало ему в мирное время. Однажды ранним утром часовой, стоявший на сторожевой башне, явился к королю и сообщил, что лицо медного всадника повернуто в сторону Эльвира... “Пусть по всей Гренаде бьют в барабан и трубят в трубы, возвещая о тревоге, — сказал король, — и каждый пусть берется за оружие”.

2 Итак, красавицу эту привели к старому королю... Жемчуга ослепительной белизны были вплетены в ее черные косы; бриллианты, сверкавшие на ее челе, блеском своим соперничали с ее очами... Сияние, которое излучали черные ее очи и бриллианты, воспламенило сердце Абен-Габуза... Абен-Габуз покорно отдался во власть своей страсти.

3 Единоборство братьев-соперников — очень распространенный мотив европейского фольклора. См., например, английскую балладу “Lord Ingram and Chief Wyet” (Child. The English and Scottish popular ballads. Boston, 1882–1891), где совершенно так же, как в “Петушке”, описаны убившие друг друга братья.

Последнее и самое значительное совпадение мы видим в сцене расплаты:

“Помнишь? За мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.
Подари ж ты мне девицу,
Шемаханскую царицу”.

Крайне царь был изумлен.
“Что ты? — старцу молвил он, —
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся,
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница,
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли кто я?

Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярской,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего”.

— “Не хочу я ничего,
Подари ты мне девицу,
Шемаханскую царицу”, —
Говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь: “Так лих же: нет!
Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник, мучишь;
Убирайся, цел пока;
Оттащите старика!”¹

1 Мне остается еще указать на те места в “Сказке о золотом петушке”, которые ближе к легенде в рукописях, чем в печатной редакции:

[И поставь его ты мне]
[Где-нибудь на вышине]
(белов.)

[Король обещает звездочету первое выючное животное с ношью, которое вступит в волшебные ворота. Этим животным оказывался мул, на котором едет принцесса]

“Voici”, dit l’astrologue, la récompense que vous m’avez promise. Aben Habuz sourit à ce qu’il croyait une plaisanterie du vieillard; mais quand il vit qu’il parlait sérieusement, sa barbe grise trembla d’indignation. “Fils d’Abou Agib” dit-il d’un air très grave, “que veut dire cette équivoque? Tu sais que j’ai entendu promettre...;

...Prends la plus forte mule de mes écuries; forme sa charge des objets les plus précieux de mon trésor elle est à toi”... “Qu’ai-je affaire de ton or, de tes richesses? dit l’astrologue, avec mépris. La princesse m’appartient de droit; ta parole royale est engagée, je la réclame comme mon bi en... La rage du monarque l’emportant sur sa prudence, il s’écria: “Vil enfant du désert, tu peux être savant dans plus d’un art, mais reconnais que je suis ton madré; ne sois pas assez téméraire pour te jouer de ton roi.

Sur une montagne qui domine une ville considérable . on voyait la figure d'un bœuf sur lequel était un coq... <На горе, возвышающейся над большим городом... виднелось изваяние быка, на котором сидел петух...>

"Toi, mon madré!" reprit l'astrologue, "mon roi. Le souverain d'une taupinière voudrait donner des lois à celui qui possède le livre de Salomon. Adieu... régne sur ton petit royaume, et réjouis-toi dans ton paradis des fous..."¹

У Пушкина отказ звездочета от царских милостей и требование Шемаханской царицы ничем не мотивированы. В легенде Ирвинга звездочет — женолюб, и он отказывается от наград, предлагаемых королем, потому что владеет волшебной книгой царя Соломона.

Развязка "Сказки о золотом петушке" существенно отличается от источника. Когда Абен-Габуз не исполняет обещания

Весь, [как] наморщен,
С бородою поседелой
(черн.)

Весь [в морщинах] как
лебедь поседелый
(белов.)

Петушок слетел со спицы,
[С крыши] к колеснице
(черн.)

Петушок [на кровле царской]
с высокой спицы
[сторожит] стал стеречь его
границы,
(белов.)

Une grande barbe lui descendait jusqu'à la ceinture... et ne put que perpétuer que ses rides et ses cheveux gris. <Длинная борода ниспадала до самого пояса и еще более подчеркиваяла его морщины и седые волосы.>

Sur le sommet de la tour était une figure de bronze attachée sur un pivot... <На верхушке башни находилось медное изваяние, укрепленное на стержне...>

¹ "Вот, — сказал астролог, — та награда, которую вы мне обещали". Абен-Габуз улыбнулся, считая это шуткой старца, но, когда он понял, что тот говорит всерьез, его седая борода затряслась от негодования. "Сын Абу Агиба, — сказал он с важным видом, — что это за намек? Ты ведь знаешь, что я имел в виду своим обещанием... Возьми себе самого выносливого мула из моих конюшен; нагружи на него самые драгоценные вещи из моей сокровищницы, она в твоем распоряжении..." — "На что мне твое золото и твои сокровища? — презрительно сказал астролог. — Принцесса принадлежит мне по праву: ты связан своим королевским словом, я требую ее, она принадлежит мне..." Гнев монарха взял тут верх над благородствием, и он воскликнул: "Презренный сын пустыни, ты, может быть, превзошел многие и многие науки, но согласись, что я твой господин, не будь столь безрассуден и перестань издеваться над своим королем". — "Это ты, мой господин, — повторил астролог, — мой король? Ты, властитель какого-то жалкого клочка земли, хочешь приказывать тому, кто владеет книгой Соломоновой? Прощай же. Управляй своим крошечным королевством и веселись в своем раю для дураков".

ния, волшебный флюгер (медный всадник) только перестает предупреждать его о приближении опасности. В пушкинской же сказке талисман (золотой петушок) является орудием казни царя-клятвопреступника и убийцей¹.

Пушкин как бы сплющил фабулу, заимствованную у Ирвинга, — некоторые звенья выпали и отсюда — фабульные неувязки, та "неясность" сюжета, которая отмечена исследователями. Так, например, у Пушкина не перенесены "биографии" звездочета и принцессы.

В отличие от других "простонародных" сказок Пушкина, в "Сказке о золотом петушке" отсутствует традиционный сказочный герой, отсутствуют чудеса и превращения.

Очевидно, что в легенде Ирвинга Пушкина привлек не "гарун-аль-рашидовский стиль".

Все мотивировки изменены в сторону приближения к "натуралистичности".

Так, например, если у Ирвинга Абен-Габуз засыпает под звуки волшебной лиры, у Пушкина Дадон спит от лени. Междуусобие в горах в легенде мотивируется действием талисмана, в "Сказке о золотом петушке" — причиной естественного характера — ревностью и т.д.

У Пушкина все персонажи снижены.

Дадон, как и Абен-Габуз, "отставной завоеватель", но "миролюбивый" король мавров кровожаден, а царь — ленивый самодур. (Самое имя царя взято из "Сказки о Бове Королевиче", где Дадон — "злой" царь). В юношеской поэме Пушкина "Бова" Дадон — имя царя "тирана", которого Пушкин сравнивает с Наполеоном.

В сказке Ирвинга главные персонажи, король и звездочет, — пародийны, Пушкин же иронизирует только над царем, образ которого совершенно гротескный. Звездочет — таинственный, и Пушкин говорит о нем с нежностью: "Весь как лебедь поседелый". Сцена встречи Дадона с Шемаханской царицей (и в шатер свой увела) заставляет вспомнить

¹ Следует отметить, что в "Сказке о царе Салтане" развязка тоже не совпадает с развязкой источника, и то, что царь на радостях прощает злых сестер, по замечанию Сумцова, черта "совсем чуждая народным вариантам".

о “Сказке о Еруслане Лазаревиче”, причем в черновике сходство более явственное:

Что же меж высоких гор
Белый шелковый шатер (шелк Шемахи)
В том шатре сидит девица
Шемаханская царица.

А в лубочном издании “Сказки о Еруслане”: “И наехал в чистом поле на бел шатер, в котором сидели три прекрасные девицы, дочери царя Бугригора. Таковых прекрасных более на свете нет”.

Далее следует любовная сцена в шатре и убийство двух сестер.

“Сказка о золотом петушке”, включенная самим Пушкиным в цикл его “простонародных сказок”¹ (и обычно рассматриваемая в ряду других пушкинских сказок) носит на себе яркий отпечаток “простонародности”.

Сличение черновика и белового автографа “Сказки о золотом петушке”² показывает, как Пушкин в процессе работы снижал лексику, приближая ее к просторечию³.

Приведем несколько примеров.

Царь к окошку — что ж на спице — (черн.)
Царь к окошку — ан на спице (оконч. ред.)

Что же? меж высоких гор
И промеж высоких гор

Ты [старик] мудрец с [о] ума сошел
[Видно] Или ты с ума рехнулся?

Вспыхнул царь. — Так же нет
Плюнул царь: Так лих же: нет!

¹ См. список на обороте последней страницы беловой рукописи.

² Черновая рукопись “Тетрадь” № 2374 (Публ. библ. им. Ленина в Москве); беловой автограф находится в Публ. библ. им. Салтыкова-Шедрина в Ленинграде. Черновики до сих пор не были изучены. Пользуюсь транскрипциями, представленными мне С.М. Бонди, которому приношу благодарность.

³ В 1832 году Н.М. Комовский писал Языкову: “Жуковский как сказочник обрился и приоделся на новый лад, а Пушкин в бороде и армяке” («Исторический вестник», 1883. № 12. С. 534.)

Крикнул [Царь] и в то же время
Охнул раз, — и умер он.

Жанром простонародной сказки мотивирован ввод элементов фольклора: “побитая рать, побоище”, “Сорочинская шапка”, “белый шатер”, эпитет “шемаханский” (в народных сказках обычно — “шемаханский шелк”)¹ и др.

Из фольклора заимствован и традиционный зачин:

Негде в тридевятом царстве...

а также:

Его за руку взяла
И в шатер свой увела.

Бутафория народной сказки служит здесь для маскировки политического смысла.

Так в XVIII веке жанр “арабской” сказки часто служил шифром для политического памфлета или сатиры. Так Державин называет Сенат Диваном.

Ю.Н. Тынянов вскрыл двупланность семантической системы Пушкина: на “Моцарта и Сальери” благодаря его семантической двупланности обиделся Катенин... а “Пир во время чумы” написан во время эпидемии. Семантическая структура трагедии костюмов, данная на иноземном материале, была полна современным автобиографическим материалом².

В “Сказке о золотом петушке” содержится ряд намеков памфлетного характера³. Но элементы “личной сатиры” за-

¹ ...Седлает того доброго коня... и подтягивает двенадцать подпруг шелку шемаханского...” (“Сказка о Иване Богатыре”). “И в поэме Радищева “Бова”:

Но предательски помосты,
Покровенные коврами
Шелку мягка шамаханска.

² Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 269.

³ Эти намеки, а также ироническое отношение к главному персонажу, Царю Дадону, вызвали предположение, что “Сказка о золотом петушке” — “затушеванная политическая сатира” (см.: 1) А. Пушкин. Сказки/Ред., вступ. статья и объяснен. А. Слонимского М.—Л., 1930. С. 25—29 (изд. для детей); 2) А.С. Пушкин. Полн. собр. соч. М.—Л., 1931. Т. VI. С. 331 (Путеводитель по Пушкину).

шифрованы с особой тщательностью. Это объясняется тем, что предметным адресатом был сам Николай I.

Скора звездочета с царем имеет автобиографические черты.

В черновой и даже в беловой рукописях намеки совсем прозрачны.

В черновике:

Но с [цафами] плохо вздорить —

Тут же слово “цафами” зачеркнуто и заменено “могучим”:

Но с *могучим* плохо вздорить —¹

Однако в беловом списке Пушкин восстанавливает первую редакцию:

Но с *цафами* плохо вздорить.

В печатной редакции намек снова “зашифрован”:

Но с *иным* накладно вздорить.

Это, в свою очередь, вызвало изменение текста “нравоучительной” концовки. Эту концовку Пушкин перенес из “Сказки о мертвом царевне”:

Сказка ложь, да нам урок,
А *иному* и намек.

При таком сопоставлении намек получался чересчур уж ясным. Поэтому в окончательной редакции текст принял следующий вид:

Сказка ложь, да в ней намек:²
Добрый молодец урок.

Значит, намек состоит в “уроке”. Царь — “молодец”.

Тема “Сказки о золотом петушке” — неисполнение царского слова.

1 Ср.: И новый царь, суровый и *могучий*.

2 Во всех изданиях Пушкина после слова “намек” стоит не двоеточие, как в беловой рукописи, а запятая (по записи в “дневнике” Пушкина) или знак восклицательный.

Царь, получив от звездочета волшебного петушка, обещает исполнить” первую его волю:

За такое одолженье, —
Говорит он в восхищеньи,
Волю первую твою
Я исполню, как мою.

А когда дошло до расплаты:

Что ты? — старцу молвил он —
Или бес в тебя ввернулся?
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница!

В черновике гораздо резче:

[От] [моих] [от] [царских] [слов]
[Отпереться я готов]

В черновике — звездочет требует исполнения данного царем обещания:

Царь! он молвил — [ты обещанье] дерзновенно
[Обещал] [ты клялся] [мне] [Обеща] [ты] [с] (?) [обещ] (?)
[Ты мне дал], [что] непременно
[волю] что первую мою
[ты] что исполнишь как свою
Так ли? — *шлюсь на всю столицу*

Любопытна здесь ссылка звездочета на “всю столицу” (общественное мнение).

По первоначальному замыслу скопец, которого Дадон приказывает гнать, упрекает царя:

[Так-то платишь]
[Молвил старичок] —

В 1834 году Пушкин знал цену царскому слову.

IV

Положение, в котором оказался Пушкин к 1834 году, можно охарактеризовать следующей строкой из “Родословной моего героя” <Езерского>¹:

Прощен и милостью окован.

К этому времени окончательно выяснилось, что первая царская милость — освобождение от цензуры — на деле привела к двойной цензуре — царской и общей.

После запрещения целого ряда произведений, 11 декабря 1833 года Пушкину был возвращен “Медный всадник” с замечаниями царя, которые заставили Пушкина расторгнуть договор со Смирдиным.

Другим проявлением царской милости было дарование Пушкину звания камер-юнкера двора его величества (31 декабря 1833 г.).

Можно считать установленным, что своего камер-юнкерства Пушкин не простил царю до самой смерти².

История отношений Пушкина с двором после пожалования ему низшего придворного чина, а также ссора с царем в связи с перлюстрацией письма к жене достаточно освещены в целом ряде работ.

25 июня 1834 г. Пушкин отправил Бенкендорфу письмо с просьбой об отставке.

Прошению об отставке предшествовала перлюстрация письма Пушкина к жене (от 20–22 апреля).

Пушкин писал:

“...Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и по журил за меня мою няньку; второй меня *не жаловал*, третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю: от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка *будет ладить* с порфиородным *своим*

¹ 1833 г., осень.

² См. черновики статьи Пушкина о Вольтере (1836 г.), исследованные Ю.Г. Оксманом.

тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему итти по моим следам, писать стихи да ссориться с цалями!”

Здесь Пушкин несомненно вспоминал о своем стихотворении “Моя родословная” (1830 г.)

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не падил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой:
*Не любит споров властелин*¹.

Историю своих отношений с царями Пушкин связывает с темой о взаимоотношениях рода Пушкина с династией.

Письмо Пушкина было доставлено к царю, который не постыдился в том признаться и дал “ход интриге, достойной Видока и Булгарина”.

Свою запись в дневнике по этому поводу Пушкин заканчивает очень резким выпадом по адресу Николая: “...что ни говори, мудрено быть самодержавным”.

Монарх подтвердил это мнение Пушкина, поручив Бенкендорфу “объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться...”.

Бенкендорф “объяснил”, и Пушкин взял обратно прошение об отставке:

“...На днях хандра меня взяла, подал я в отставку, но получил <...> от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали” (письмо к жене, перв. пол. июля).

Обращаясь к Бенкендорфу с просьбой об отставке, Пушкин в то же время просит не запрещать ему вход в архивы.

То, что Пушкин в минуту наибольшего раздражения против царя все же просит о незапрещении доступа в архивы,

¹ Ср. в “Сказке о золотом петушке”:

Но с царями плохо вздорить.

доказывает, какое важное значение он этому придавал и каким ударом должен был быть для него отказ.

С начала 30-х гг. на своих исторических работах Пушкин намеревался построить не только свое материальное благополучие, но все отношения с царем и "высшим светом". Ни "Евгений Онегин", ни "Полтава", ни "Борис Годунов" не могли принести ему того общественного положения, без которого жизнь в Петербурге казалась ему неприемлемой.

Еще в 1831 году Пушкин писал Бенкendorфу:

"...Не смел и не желаю взять на себя звание Историографа после не забвенного Кафамзина. Но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III".

И смел, и желал.

Вспомним, с какой радостью сообщает он ближайшим друзьям, Нащокину и Плетневу, что царь разрешил ему доступ в архивы для написания "Истории Петра Великого"¹.

В биографии Пушкина этот вопрос имеет очень серьезное значение.

30-е годы для Пушкина — это эпоха поисков социального положения. С одной стороны, он пытается стать профессиональным литератором, с другой — осмыслить себя как представителя родовой аристократии.

Звание историографа должно было разрешить эти противоречия.

Для Пушкина это звание неотделимо было от образа Кафамзина — советника царя и вельможи, достигшего высокого придворного положения своими историческими трудаами.

Однако Николай I и его приближенные вовсе не предназначали Пушкина для такой высокой роли.

¹ Письмо к Плетневу (от 28 июля 1831 г.): "...Царь взял меня на службу, но не в канцелярскую или придворную, или военную, — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли?"
Письмо к Нащокину от 3 сентября 1831 г.: "... царь <...> взял меня в службу, т.е. дал мне жалование и позволил рыться в архивах для составления Истории Петра I. Дай Бог здоровья царю!"

А.Н. Вульф в феврале 1834 г. записал в своем дневнике:

"Самого поэта я нашел... сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что он возвращается к оппозиции..."¹

Эта запись представляет большой интерес как сообщением о возвращении Пушкина к оппозиции, так и указанием на то, что Пушкин считал себя оскорблённым именно как автор "Истории Пугачева" и русских сказок.

Описывая в дневнике свою первую встречу с Николаем после пожалования придворного звания, Пушкин отмечает, что говорил с царем о Пугачеве (утверждал себя как историографа)², а за камер-юнкерство его не благодарил (что было явным нарушением этикета).

После всего сказанного становится понятным, что категорический отказ на просьбу не закрывать архивы мог расцениваться Пушкиным как жест "самовластного помещика", который хотел таким образом уничтожить все его планы.

Под знаком ссоры с царем прошло все лето 1834 года. Пушкин сдался, но примирение все же не состоялось³.

25 августа, за 5 дней до открытия Александровской колонны, Пушкин покинул Петербург, "чтобы не присутствовать на церемонии вместе с камер-юнкерами".

Отъезд Пушкина из столицы, чуть не накануне торжества, несомненно, был демонстрацией.

Запись об этом, сделанная им в дневнике спустя три месяца, свидетельствует о том, что отношение Пушкина к своему положению не изменилось.

¹ Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899. С. 208.

² Описывая свое представление вел. кн. Елене Павловне, Пушкин не забывает отметить: "...говорила со мной о Пугачеве".

³ О ссоре с царем Пушкин упоминает еще два раза: 1) в письме к жене от 11 июля "...на днях я чуть было не сделал: с тем чуть было не побрился — и трухнул то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хоть и он не прав"; 2) в дневнике: "22 июля. — Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором — но все перемолилось. — Однако это мне не пройдет".

Находясь проездом в Москве (8 и 9 сентября), Пушкин в письме к А.И. Тургеневу с иронией отзыается о своей придворной карьере:

...Благодарен Полевому за его добroе расположение к историографу Пугачева, камер-юнкеру и проч.

13 сентября Пушкин приехал в Болдино, где он собирался писать.

Об этом он сообщает жене (от 15 сент.):

...Написать что-нибудь мне бы очень хотелось: не знаю, придет ли вдохновение.

Но Болдинская осень 1834 г. была для Пушкина самой бесплодной.

Кроме "Сказки о золотом петушке" он ничего не написал. Беловая рукопись помечена 20 сентября.

А 26 сентября Н.М. Языков, посетивший Пушкина в Болдине, писал:

...Он мне показывал историю Пугачева... несколько сказок в стихах, вроде Ершова, и историю рода Пушкиных¹.

Можно предположить, что Языков был первым слушателем "Сказки о золотом петушке".

"Сказка о золотом петушке", встречаенная молчанием критики, впервые была напечатана в апрельской книжке "Библиотеки для чтения" 1835 г.

Пушкину не удалось избегнуть подозрения цензуры.

Цензор Никитенко не пропустил три строки.

Приведу запись из дневника Пушкина:

Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:

¹ "Ист. вестник", 1883. Т. XIV. С. 539.

Царствуй, лежа на боку

и

Сказка ложь, да в ней намек,
Добрый молодцам урок.

Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирюкова.

Здесь мы видим обычный выпад Пушкина против цензуры (а быть может, и желание сохранить эти строчки хотя бы в дневнике). Однако столкновение с цензурой не было для Пушкина неожиданным.

Беловая рукопись носит следы предварительной "авторской" цензуры.

В следующем отрывке:

Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку,
Помолясь Илье пророку -

последняя строка в печатной редакции приняла такой вид:

Сам не зная, быть ли проку.

Изменена одна строка и в эпизоде ссоры звездочета с царем. Царь в ответ на требование звездочета говорит:

И зачем тебе девица?
Полно, сводник, что ли, я?

Эту строку нельзя было представить ни в какую цензуру. Окончательная редакция:

Полно, знаешь ли, кто я?

Наконец, в строке, которая представляет собой как бы ключ ко второму смысловому плану "простонародной" сказки:

Но с царями плохо вздорить

слишком явный выпад заменен полунаимеком:

Но с иным накладно вздорить.

Так в письмах к жене (1834 года) Пушкин называет царя "тот".

V

Эпизод с царскими сыновьями, вставленный Пушкиным в фабулу, заимствованную у Ирвинга, разбивает "Сказку о золотом петушке" на три части. Первая часть — с начала до строки "Шум утих, и царь забылся". Вторая часть — до стро-ки "Пировал у ней Дадон", третья — от "Наконец и в путь обратный" и до конца.

Мы уже видели, что смысловая двупланность сказки о ссоре царя с звездочетом может быть раскрыта только на фоне событий 1834 года.

Но первая часть сказки заставляет предполагать и другое.

Дело в том, что в облике царя подчеркнуты лень, бездеятельность, "желание охранять свои лавры" (см. "Легенду об арабском звездочете"). Далее черты эти совсем исчезают.

Пушкин никогда не считал Николая I ленивым и бездейственным. Но черты эти он всегда приписывал Александру I: "Наше царское правило: дела не делай, от дела не бегай". ("Воображаемый разговор с императором Александром I", 1822, "Noël", "Ты и я").

И много позднее, в 1830 г.:

Властитель слабый и лукавый
Плешивый щеголь, *vrag труда*.

Биография "отставного завоевателя"¹ Дадона вполне подходит к этому образу². Известно, что мистически настроенный Александр общался с масонами, а также прорицатель

¹ Четверостишие 1829 г., описывающее бюст Александра I, озаглавлено: "К бюсту завоевателя". В "Age of bronze" ("Бронзовом веке") Байрона об Александре I "coxcomb tsar" и "imperial dandy" — оба слова значат *щеголь*.

² "Возвращается Дадон" ср. с "Возвращением Александра I" ("Александру").

телями и ясновидцами¹, и в конце жизни мечтал о том, чтобы удалиться на покой.

С молоду был грозен он

.....
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.

Характеристика короля в "Легенде об арабском звездочете" — un conquérant rétire des affaires" <"завоеватель, удалившийся от дел">, "conquérant paisible" <"завоеватель на покое"> — могла поразить Пушкина как полное совпадение с его представлением об Александре I².

Смешение характерных черт двух царствований несомненно имело целью затруднить раскрытие политического смысла "Сказки о золотом петушке". Никто не стал бы искать в Дадоне — стареющим царе, "отставном завоевателе" — подчеркнуто "бодрого" и еще далеко не старого Николая I.

Состояние рукописи никак не противоречит нашему предположению.

Черновик начала сказки (до строки: "Шлет к нему гонца с поклоном") не сохранился. Следующие шесть строк записаны на обороте обложки тетради (№ 2374) и датированы не поддаются³. Затем идут строки от "Петушок мои золотой" до "Царствуй, лежа на боку". Они были написаны на листе пятнадцатом в той же тетради среди произведений 1833 года и через семь листов от наброска "Царь увидел пред собой", который по первоначальному замыслу, может быть, входил в "Сказку о золотом петушке". Зато несомненно от-

¹ Голицын, Татаринова, Крюденер и др. Накануне Аустерлицкого сражения Александр I имел продолжительную беседу со скопцом Кондратием Селивановым, который, как говорили в Петербурге, предсказал ему поражение.

² Александр I был фигурой европейской. Пушкин в сатирике и мистикаторе Ирвинге мог заподозрить желание в испанской сказке сознательно изобразить Александра I (см. подавление Испанской революции Александром I).

³ Нахождение этих строк на обложке тетради само по себе говорит то, что вещь создавалась с перерывами.

носится к осени 1834 года черновая рукопись сказки от строки: “Целый год проходит мирно” и до конца¹.

Возможно предположить, что последняя сказка Пушкина написана не сразу. Пушкин неоднократно оставлял свои сказки незаконченными (“Сказка об Илье-Муромце”, “Как весенней теплою порою”) или несколько раз возвращался к одному сюжету (“Бова”). Часть “Сказки о золотом петушке” с начала до строки “Год, другой проходит мирно” могла быть написана до 1834 года и в замысле ее могла входить сатирическая фигура Александра I.

В черновиках звездочет все время называется шемаханским скопцом и шемаханским мудрецом².

Шемаха в 1820 году была присоединена к России.

Поэтому месть шемаханского скопца царю-завоевателю, возможно, ассоциативными нитями связана с этим событием.

В 1834 году схема заполнилась “автобиографическим материалом”.

Итак, в образе Дадона могли отразиться два царя, из которых один Пушкина “не жаловал”, а другой — “под старость лет упек в камер-пажи”.

20 января 1931—20 января 1933 <1930—1950-е?>

“СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ” и “ЦАРЬ УВИДЕЛ ПРЕД СОБОЙ...”

Комментарий

Впервые черновая рукопись “Сказки о золотом петушке” отмечена В. Е. Якушкиным в его описании рукописей А. С. Пушкина (“Русская старина”, 1884. Т. XLIII, с. 641, 644). Перебеленная рукопись сказки хранится в Публичной библиотеке РСФСР в Ленинграде.

В отличие от других пушкинских сказок, “Сказка о золотом петушке” имеет своим источником не народные сказки, а литературное произведение — “Легенду об арабском звездочете” Вашингтона Ирвинга. Сборник, в который входит эта легенда, называется “The Alhambra or the New Sketch Book”. Вышел он в Париже в июне 1832 года. Одновременно появился и французский перевод “Альгамбры”. Перевод этот очень близок к подлиннику и хорошо передает иронический тон сказок Ирвинга. По-видимому, Пушкин пользовался переводом, а не подлинником. В библиотеке поэта находится именно французское двухтомное издание “Альгамбры”¹.

“Легенда об арабском звездочете” — пародийная псевдо-арабская сказка, которую Ирвинг выдает за записанное им народное предание. Однако самое беглое ознакомление с этой легендой убеждает, что она не содержит черт, свойственных народной поэзии.

¹ См.: Б. Л. Модзальевский. Библиотека Пушкина: № 1019. Irving W. Les contes de l’Alhambra... разрезан; помет нет.

¹ Она написана после стихотворения: “Он между нами жил”, датированного 10 августа 1834.

² В беловике видна попытка окончательно отделаться от Шамахи:

Распахнулся... и девица
[Черноброва, круглица],
[Шемаханская Царица]

Последняя строка была заменена “Черноброва, круглица”, но затем снова восстановлена.

Если Пушкин, в 30-х годах живо интересовавшийся европейским и, в частности, испанским фольклором¹, обратился к “Альгамбре” потому, что она была рекомендована как сборник испанских народных сказок², то он должен был быть разочарован.

Современники знали Ирвинга как литературного мистификатора и сатирика (автора “Сальмагунди”, “Истории Нью-Йорка” и др.), и критика постоянно сопоставляла его имя с именем Аддисона³.

По своему тону и содержанию “Легенда об арабском звездочете” напоминает те “восточные сказки”, которые в XVIII веке были обычным шифром политической сатиры. Отсюда понятно обращение Пушкина именно к этому источнику для создания политического памфлета – “Сказки о золотом петушке”⁴, включенной поэтом в список своих “простонародных сказок”⁵. Если Пушкин и не заподозрил в “Легенде о звездочете” “прямой сатиры”, то, во всяком случае, ирвинговская сказка представляет собою благодарный материал для переработки в произведении памфлетного характера (“биография” мавританского короля Абен-Габуза, отставного и миролюбивого завоевателя, мечтающего о покое, флюгер, хотя бы и волшебный, управляющий действиями короля, восстания пограничных областей, престарелый monarch, разоряющий свою страну для исполнения прихотей наложницы, вспыхнувшая в столице революция и, наконец, особенно заинтересовавший Пушкина мотив неисполнения царского слова).

Жанром русской народной сказки Пушкин воспользовался для политических намеков, и здесь он является про-

¹ К испанскому романскому циклу о Родриге восходит “Чудный сон мне Бог послал” (см. статью Н.В. Яковлева “Пушкин и Саути” в сб. “Пушкин в мировой литературе”).

² См. “Телескоп” 1832, ч. IX (сентябрь).

³ См., например, отзыв об “Альгамбре” в “Revue de Paris”. Т. 5–6. С. 263–266.

⁴ Расшифровка памфлетного смысла “Сказки о золотом петушке”, а также исследованию приемов, какими пользовался Пушкин для превращения псевдоарабской легенды в русскую простонародную сказку, посвящена моя статья “Последняя сказка Пушкина” («Звезда», 1933, № 1).

⁵ См. список “простонародных сказок” на обороте последнего листа автографа “Сказки о золотом петушке”.

должателем радищевской традиции”¹. Поэма Радищева “Бова” заключает в себе выпады против самодержавия. Как известно, в “Бове” Радищева Пушкин признавал достоинства, несмотря на отсутствие в ней “народности”².

Впервые Пушкин начал обрабатывать “Легенду об арабском звездочете” в 1833 году. К этому времени относится набросок “Царь увидел пред собой...” (см. альбом фототипий, с. 75), написанный тем же четырехстопным хореем, что и “Сказка о золотом петушке”. Первые десять стихов этого наброска представляют собой кусок легенды Ирвинга, не использованный Пушкиным в “Сказке о золотом петушке”. В легенде эти фигуры (или, как Пушкин называет их, куколки) – магические изображения вражеских войск, которые при прикосновении волшебного жезла либо обрашаются в бегство, либо начинают вести междуусобную войну и уничтожают друг друга. И тогда та же участь постигает наступающего неприятеля.

У Пушкина этот мотив усложнен. Вторая половина наброска представляет собою описание такого же игрушечного флота.

О черновике первых двадцати восьми стихов “Сказки о золотом петушке”, отсутствующих в “Альбоме 1833–1835 годов” и неизвестно когда написанных, можно только сказать, что они были окончательно обработаны, потому что в беловик они переписаны только с одной помаркой (“идут” вместо “валят”; уничтожение эпитета “шемаханский” имеет особый смысл, о чем будет сказано дальше) и без знаков препинания, что указывает на беглое, а не творческое переписывание, которое мы несколько раз встречаем в беловике “Сказки о золотом петушке”.

¹ Любопытный и, быть может, известный Пушкину пример использования фольклора в памфлетно-сатирической литературе представляет собою отдельное издание сказки, записанной бр. Гримм, – “Der Fischer und seine Frau”, которая, в связи с событиями 1814 г., была осмыслена как аллегорическое жизнеописание Наполеона (книга имела подзаголовок: “Eine moralische Erzählung”). Как теперь установлено, вариантом, записанным бр. Гримм, воспользовался Пушкин для создания “Сказки о рыбаке и рыбке”.

² См. статью Пушкина “Александр Радищев” (1836).

Рукопись следующих шести стихов, находящихся на обороте форзаца и потому не поддающихся датировке, очень близка к беловику. То, что поправки сделаны другими чернилами, указывает на их позднейшее происхождение. Следует отметить, что такими выцветшими коричневыми чернилами написан весь беловик сказки. Можно предположить, что Пушкин нанес поправки на черновик в процессе переписывания. Слово “смело” (в связи со строкой “Царь, он молвил дерзновенно”, см. альбом фототипий, с. 45) указывает на то, что по первоначальному замыслу (когда Пушкин еще называл звездочета Шемаханским мудрецом) характер этого персонажа был несколько иным.

По сохранившимся на полоске бумаги у корешка словам (“Нет”, “царь”) надо полагать, что на обрывке между лл. “5” и “6” (л. 16) находился черновик некоторых стихов “Сказки о золотом петушке”, так и не дошедший до нас, как и черновик начала сказки.

После слов “Дал отпор со всех сторон” в писании сказки несомненно был перерыв, потому что рукопись на л. “20₁” (см. альбом фототипий, с. 41) написана другими чернилами, чем текст сказки на обрывке.

Воспроизведимая рукопись (лл. “20–23”) от строки “Год, другой проходит мирно” до конца сказки несомненно представляет собою первый черновик, хотя характер рукописи неодинаков. Иногда поэт пишет какое-нибудь слово, тотчас зачеркивает, снова пишет его и опять зачеркивает (см. диалог Дадона с воеводой). Некоторые стихи не дописаны (например, “Царь приветливо”), или отсутствует рифмующий стих (“Не беда, что сказка ложь”), повторяющиеся стихи обозначены простой чертой. Отдельные эпизоды перерабатываются дважды (возвращение Дадона, скора царя с звездочетом) и даже трижды (появление Шемаханской царицы).

Со всем тем рукопись сказки очень близка к окончательному чтению.

Ни во вторичных переработках отдельных эпизодов, ни в переписывании сказки набело Пушкин не отклоняется от

первоначального плана, а либо вводит новые детали, либо отказывается от уже написанного. Исключение в смысле законченности представляет собою первый лист рукописи. По сравнению с остальным текстом сказки стихи, написанные на нем, подверглись самой незначительной переработке.

На следующем л. “20₂” между стихами “Царь не знает, что начать” и “Войска идут день и ночь” — смысловой разрыв, заполненный лишь в беловике, где стих “Царь не знает, что начать” заменен другим (“Царь скликает третью рать”) и появляются два новых стиха:

И ведет ее к востоку,
Сам не зная, быть ли проку

или

Помолясь Илье пророку,

связывающие предыдущий эпизод с походом царя.

Не зачеркнутая в рукописи строка — “Что за притча молвят он” — не перенесена в беловик. Может быть, Пушкин заметил, что это же восклицание встречается в только что вышедшем тогда (летом 1834 г.) сказке Ершова “Конек-горбунок”¹. Этим же можно объяснить и колебания в выборе пейзажа. Следующие стихи написаны дважды:

К морю войско царь приводит
Что ж на берегу находит...

Очевидно, на морском берегу должен был находиться шатер царицы, но затем Пушкин сразу отказывается от мысли расположить шатер на морском берегу и пишет:

Что же меж высоких гор
Видит [Белый] шелковый шатер.

Шатер, морской берег, царь-девица (см. соответствующий эпизод сказки Ершова).

¹ Известно, что первые четыре стиха этой сказки принадлежат Пушкину, удостоившему (по словам Смирдина) всю сказку тщательного просмотра.

Порядок появления отдельных мотивов в первом варианте иной, чем в окончательном чтении. В первом варианте порядок этот таков: шатер, девица, сыновья; в окончательном чтении: шатер, побитая рать, сыновья, девица. Пример того, как Пушкин перерабатывает фольклорный мотив, представляет собою сцена встречи Дадона с Шемаханской царицей, имеющая три редакции:

1. Видит [Белый] шелковый шатер.
В том шатре сидит девица
[Шемаханская] царица.
2. [И] [Белый] [шелковый] таинственный шатер
Распахнулся [и] [к] [Дадону] девица
Шемаханская царица
[Вышла] тихо из шатра.
3. Распахнулся и девица
Вся сияя [бела] добра
[В блеске вышла из шатра —]
[Румяна] (?) [как заря]
Тихо встретила царя.

В первой редакции эта сцена довольно близка к сказке о Ерслане Лазаревиче¹.

Ввод отсутствующего в легенде Ирвинга эпизода с братьями, которые появляются только для того, чтобы погибнуть, понятен, в связи с сатирической тенденцией сказки и служит подчеркиванием порочности царя. Братья-соперники, убивающие друг друга, — мотив, известный в народной поэзии разных народов².

Конь, бродящий вокруг тела мертвого витязя, — мотив, который встречается еще в ранних произведениях Пушкина ("Сраженный рыцарь", "Руслан и Людмила"), где конь ждет своего мертвого хозяина. Последней детали нет в окончательном чтении "Сказки о золотом петушке". Однако в рукописи: "ждут господ".

¹ "И наехал в чистом поле на бел шатер, в котором сидели три прекрасные девицы, дочери царя Бугригара. Таковых прекрасных более на свете нет".

² См., например, английскую балладу "Lord Ingram and Chiel Wyet" (Child, The English and Scottish popular ballads. Boston, 1882—1891).

Описание убитых царевичей:

Черны кудри растрепались,
Белы руки разметались —

отброшено Пушкиным, вероятно, оттого, что песенная конструкция этих стихов нарушила эпический тон сказки.

Сравнительно легко дался Пушкину эпизод в шатре, для создания которого также использованы элементы русского фольклора. Например:

Его за руку взяла
И в шатер свой увела —

традиционный сказочный мотив.

Строки эти написаны без единой помарки.

Характерно для самой нефантастической сказки Пушкина, что слово "околдован" появилось только в беловике.

Возвращение царя напоминает возвращение Духа в "Анджело", причем в черновике это сходство более явственно, чем в печатной редакции ("в встречу кинулись девице"). Ср. в "Анджело": "народ его встречать толпами кинулся").

В рукописи Пушкин называет звездочета "Шемаханским мудрецом" и "Шемаханским скопцом" (тот же эпитет мы находим и в беловике сказки). Этот эпитет был исключен в окончательной редакции, так как месть Шемаханского мудреца царю-завоевателю могла быть истолкована как политический намек: Шемаха в 1820 г. была присоединена к России.

Следует также отметить примеры рассеянности Пушкина в связи с "Легендой об арабском звездочете". Ирвинг так описывает внешность звездочета: "Une grande barbe lui descendait jusqu'à la ceinture..." и дальше: "Il ne put que perpétuer ses rides et ses cheveux gris"².

В "Сказке о золотом петушке":

С бородою поседелой...

¹ "Длинная борода ниспадала до самого пояса" (фр.).

² "Она еще более подчеркивала его морщины и его седые волосы" (фр.).

Затем Пушкин вспоминает, что скопцы — безбороды, и строка принимает такой вид:

Весь наморщен, поседелый, —

еще ближе повторяющий описание Ирвинга. В окончательной редакции уже нет ни бороды, ни морщин (“Весь, как лебедь, поседелый”).

Второй случай: в легенде Ирвинга талисман (медный всадник), имеющий то же назначение, что и петушок пушкинской сказки, был установлен на крыше королевского дворца. Золотой петушок сидит на спице перед окошком Дадона. Однако в черновике читаем:

Петушок слетел со спицы
[С крыши] к колеснице,

а в беловике первоначально было:

Петушок на кровле царской
Сторожит...

Эпизод ссоры царя со скопцом подвергся самой тщательной обработке. В первой редакции еще отсутствует благодушное приветствие Дадона (от: “А здорово, мой отец” до “Подъ поближе, что прикажешь?”), разительно контрастирующее с его яростью, когда собеседник вздумал ему перечить. Скопец сразу и “дерзновенно” приступает к Дадону со своим требованием. В следующей редакции эта речь снижена и опрошена.

Вообще стремление к снижению лексики и приближение ее к просторечию характерно для переработки стихов “Сказки о золотом петушке”. Например, стих:

Ты [мудрец] старик с ума сошел

во вторичной переработке эпизода ссоры принял такой вид:

Или ты с ума рехнулся?

А стих:

Вспыхнул царь — так... же нет

изменен на:

Плюнул царь: Так лих же: нет!

Не сразу дался Пушкину и ответ царя. Поэт то близко придерживается источника:

Ты спросил бы у меня
То что сделать мог бы я,

то заставляет Дадона совсем отказаться от исполнения своего обещания:

От моих от царских слов
Отпереться я готов.

Затем сейчас же смягчается отказ:

Я моих царевых слов
(видимо, “не забыл”) и

Не забыл своих я слов
И их выполнить готов.

И, наконец, возвращается к первому варианту:

Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.

В стихе:

Но с царями плохо вздорить
слишком явный намек был слажен:

Но с могучим плохо вздорить —
и, хотя снова появился в беловике в своей первой редакции, был там же окончательно зашифрован:

Но с иным накладно вздорить.
Стих, которым заканчивается рукопись:

Не беда, что сказка ложь, —

отброшен поэтом. Очевидно, не найдя удовлетворяющей его рифмы к слову “ложь”, Пушкин совсем отказался от этого стиха и заменил его готовой концовкой из черновика “Сказки о мертвом царевне”. Однако уже по одной этой строке можно заключить, что по первоначальному замыслу концовка должна была иметь тот же нравоучительно-сатирический характер, что и последние строки окончательного текста:

Сказка ложь, да в ней намек,
Добрыйм молодцам урок.

“Адольф” Бенжамена Констана
в творчестве Пушкина

I

Вопрос о влиянии на творчество Пушкина знаменитого романа Бенжамена Констана “Адольф” уже обсуждался в пушкинской литературе¹. Известно, что романтический герой Б. Констана был одним из прототипов Онегина. Необходимо, однако, отметить, что роман Б. Констана имел на творчество Пушкина значительно большее и, что особенно важно подчеркнуть, более разнообразное влияние, чем обычно думают.

Особое значение “Адольфа” для Пушкина заключается в том, что Пушкин связал с этим романом ряд литературных проблем, разрешение которых стояло перед ним в конце 20-х годов.

“Адольф” был написан в 1807 г. и долго оставался ненапечатанным. Только в 1815 г. появилось первое (лондонское) издание “Адольфа”, второе (парижское) вышло в 1816 г.

Роман Б. Констана сразу обратил на себя внимание читателей. В 1817 г. Стендаль назвал “Адольфа” “необыкновенным романом”. Сент-Бев, рассказывая о впечатлении, произведенном “Адольфом” на современников, сравнивает этот роман с “Ренэ” Шатобриана². Сисмонди в письме (от

1 Н.П. Дацкевич (сб. “Памяти Пушкина”, Киев, 1899. С. 184–195); Н.О. Лернер (газета “Речь”, 12 янв. 1915 г.); Н. Виноградов («Пушкин и его современники», вып. XXIX. С. 9–15).

2 См. “Causeries du Lundi”, т. XI.

14 октября 1816 г.), которое, по словам Сент-Бева, стало неотделимым от “Адольфа” комментарием этого романа, пишет между прочим следующее: “в “Адольфе” анализ всех чувств человеческого сердца так восхитителен, столько истины в слабости героя, столько ума в наблюдениях, силы и чистоты в слоге, что книга читается с бесконечным удовольствием. Мне кажется, что она доставляет мне тем более удовольствия, что я узнаю автора на каждой странице...” (курсив мой. – А. А.).

Как мы видим, автобиографичность “Адольфа” с одной стороны, с другой – верность и глубина психологического анализа в произведении, впоследствии получившем название “отца психологического романа”, были отмечены сразу же. 29 июля 1816 г. Байрон писал своему другу поэту Роджерсу: “Я просмотрел “Адольфа” и предисловие к нему, в котором отвергаются действительные персонажи. Это произведение оставляет тягостное впечатление, но гармонирует с тем состоянием, когда более не способен любить – состоянием, может быть, самым неприятным в мире, за исключением влюбленности”¹.

Успех “Адольфа” был длителен. Еще в конце 30-х годов Густав Планш написал к “Адольфу” обширное предисловие; Бальзак в 40-х годах упоминает об “Адольфе” в ряде своих романов (“Записки новобрачных”, “Погибшие мечтания”, “Беатриса”).

“Адольф” очень скоро стал известен и русским читателям. Уже 26 октября 1816 г. Вяземский писал из Москвы А.И. Тургеневу: “Я послал к тебе “Адольфа” с молодым Апостолом-Муравьевым”².

Первый русский перевод “Адольфа” появился в 1818 г. под заглавием “Адольф и Елеонора, или Опасности любовных связей, истинное происшествие”, и был напечатан в Орловской губернской типографии.

¹ “The Life Letters and Journals of Lord Byron, by Thomas Moore. London, 1830. P. 309.

² Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 60.

Принимая во внимание значительное идеологическое воздействие Б. Констана как политического писателя и публициста на передовых людей того времени¹, можно предположить, что Пушкин прочел “Адольфа” вскоре по выходе романа в свет.

Как известно, современники Пушкина узнавали в героине “Адольфа” мадам де Сталь². Широкая популярность этого имени в России, конечно, должна была повысить интерес читателей к роману Б. Констана. В частности, Пушкин, так высоко ценивший произведения де Сталь, упоминавший о ее книгах: “Dix années d’exil” и “De T’Allemagne” в 1-й главе “Онегина”, выступавший в защиту автора “Дельфинов” и “Коринны” в 1825 г. и еще в 1831 г. изобразивший мадам де Сталь в “Рославлеве”, должен был с особым вниманием отнестись к “Адольфу”.

В письме к Каролине Собаньской (янв. – февр. 1830 г.) Пушкин пишет, что имя героини “Адольфа” Элленоры напоминает ему “жгучие чтения его юных лет и милый призрак, который соблазнял его тогда”³ (в его одесский период жизни).

¹ В 70-х гг. Вяземский, вспоминая это время, писал: “Мы были учениками и последователями преподавания, которое оглашалось с трибуны и в политической полемике такими учителями, каковы были Бенжамен Констан, Ройе-Коллар и многие другие сподвижники их”. (Полн. собр. соч. Т. X. С. 291–292). Карамзин, Тургеневы, Вяземские читали “La Minerve Française” – политический журнал Б. Констана. О влиянии на Пушкина политических взглядов Б. Констана см. в статьях Б.В. Томашевского: “Французские дела 1830–1831 гг.” («Письма Пушкина к Е.М. Хитрово»), “Из Пушкинских рукописей” («Лит. наследство», 1934. № 16–18. С. 284, 286, 288). В предисловии к своему переводу “Адольфа” Вяземский делает попытку связать роман с политическими трактатами Б. Констана. Вяземский говорит о Констане следующее: “Автор “Адольфа” силен, красноречив, язвителен, трогательен. Как в создании, так и в выражении, как в соображениях, так и в слоге вся сила, все могущество его – в истине. Таков он в “Адольфе”, таков на ораторской трибуне, таков в современной истории, в литературной критике, в высших соображениях, духовных умозрениях и в пульте политических памфлетов”. О влиянии на декабристов политических трактатов Б. Констана см. в книге В.И. Семевского “Политические и общественные идеи декабристов”. СПб., 1909, по указателю.

² Вяземский в предисловии “От переводчика” пишет, что в автобиографической исповеди Констана видели “отпечаток связи автора с какой-то женщиной, обратившей на труды свои внимание целого света”.

³ “Рукою Пушкина”. М.-Л., “Academia”, 1935. С. 184.

Интерес Пушкина к “Адольфу” был столь же длительным, как у его современников.

20 декабря 1829 г., т.е. еще до выхода перевода Вяземского, Баратынский писал Вяземскому: “для меня чрезвычайно любопытен перевод светского, метафизического тонкочувственного “Адольфа” на наш необработанный язык”¹. Вяземский, восторженное отношение которого к роману Б. Констана засвидетельствовано его предисловием² к сделанному им переводу “Адольфа”, посыпая свой перевод Е.М. Хитрово, писал ей: “Вы любите этот роман, вы будете довольны тем, что я посвятил его имени для вас дорогому <т.е. имени Пушкина>³; а в 1832 г. сообщил жене: “намедни на бале Завадовская сказала мне, что она три раза прочла моего “Адольфа”⁴. Приблизительно к тому же времени относится отзыв об “Адольфе” в дневнике Никитенко⁵ и перевод “Адольфа”, сделанный Полевым⁶. Установленное исследователями влияние “Адольфа” на “Героя нашего времени”

1 “Старина и новизна”. Кн. 5. С. 47. Очевидно сходство этого отзыва об “Адольфе” с определением языка “Адольфа” в пушкинской заметке о предстоящем выходе перевода “Адольфа”. Вероятно, Вяземский сообщил Баратынскому содержание этой заметки (тогда еще не вышедшей).

2 В этом предисловии Вяземский пишет: “Любовь моя к “Адольфу” опровергана общим мнением”. Последний абзац предисловия Б. Констана из III изд. “Адольфа” Вяземский вовсе не перевел. Вероятно, он поступил так потому, что в этом месте Б. Констан, отрекаясь от “Адольфа”, пишет: “Публика, вероятно, его забыла, если когда-нибудь знала”. Эта фраза Б. Констана противоречит утверждению Вяземского об “Адольфе” как о повести, “так сильно подействовавшей на общее мнение”, кроме того, она могла повредить “Адольфу” в глазах русских читателей.

3 “Русский архив”. 1895. Кн. 2. С. 110. По экземпляру “Адольфа”, принадлежавшему Е.М. Хитрово, Плетнев сверял перевод Вяземского.

4 “Звенья”. Кн. III. С. 175.

5 “На днях я с удовольствием прочел роман знаменитого Б. Констана “Адольф”. В нем разобраны сплетения человеческого сердца и изображен человек нынешнего века с его эгоистическими чувствами, привлекаемыми гордостью и слабостью, высокими душевными порывами и ничтожными поступками”.

6 “Московский телеграф”, 1831, № 1–4. Судя по рецензии («Московский телеграф», 1831, Ч. 41, С. 231–244) на перевод Вяземского, Полевой был знаком с французскими критическими статьями об “Адольфе”. В рецензии на перевод “Адольфа” Булгарин писал: “Достоинство “Адольфа” давно уже оценено как самим автором, так и всеми людьми с очищенным вкусом” («Северная пчела», 1831, № 273).

свидетельствует о впечатлении, произведенном романом Б. Констана на Лермонтова¹. Человек другого поколения, И.С. Аксаков, для которого “Адольф” был только старым французским романом, в письме к отцу от 1845 г. сообщает об отношении к этому роману А.О. Смирновой: “...я, не говоря об этом ничего А.О., взял у нее один старый французский роман Benjamin Constant “Adolphe”, который она ставит превыше небес”².

В личной библиотеке Пушкина хранится экземпляр 3-го издания “Адольфа” (1824) с многими карандашными отметками³. Как мне удалось установить, на стр. 61 и 104 находятся замечания рукой Пушкина, что позволяет предположить, что и другие отметки сделаны им же.

II

Первое известное нам упоминание Пушкина об “Адольфе” находится в черновом тексте 9-го стиха XXXVIII строфы I главы (“Как Child Harold угрюмый, томный”), где вместо имени Child Harold Пушкин написал “Как Адольф”. Затем встречается это имя в XXII строфе VII главы “Евгения Онегина”⁴. “Адольф” был одним из романов, которые Татьяна прочла в доме Онегина и по отметкам на страницах которого она угадала истинный характер своего героя. Таким образом, Пушкин сам указал на Адольфа, как на один из прототипов Онегина.

В до сих пор не опубликованном черновике этой строфы (тетр. 2371, л. 67) чрезвычайно интересен тот ряд, в который Пушкин включает “Адольфа”. Привожу транскрипцию:

1 См.: С.И. Родзевич. “Предшественники Печорина во французской литературе”. Киев, 1913.

2 И.С. Аксаков. Письма. М., 1888. Т. I. С. 307–308.

3 Б.Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина. СПб., 1910, № 813.

4 Пушкин упоминает имя Б. Констана также в черновике V строфы I главы “Онегина”. Онегин мог вести спор: “О Байроне и Benjamin...” Тургенев и Вяземский в 1817–1818 гг. часто называют Констана просто Benjamin. («Остафьевский архив». Т. I.)

[Хотя] мы знаем что Евгений
Издавна чтенья разлюбил
[С собою] [Однако] несколько творений
Лиши [он] [С собой] [по привычке лишь] возил –
[Листки в которых отразились] [творцы]
[Коринну Сталь] [два три] [романа]
Весь В. Скотт <нрзб.>Адольф
[Мельмот] [Рене] [Адольф] Констана
В. Скотт два три
Ренэ еще два три романа
В которых отразился век
И современный человек
Изображен [печально] довольно верно...

Таким образом выясняется, что по первоначальному замыслу Пушкина “два три романа” XXII строфы “Евгения Онегина” – это “Мельмот” Матюренса, “Ренэ” Шатобриана и “Адольф”¹. При следующей переработке этих стихов Пушкин заменил Сталь Байроном, а “два-три романа” не называны.

В “Заметке” о предстоящем выходе перевода “Адольфа”, сделанного Вяземским, Пушкин вторично сопоставляет имя Б. Констана с именем Байрона: “Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона”². Этую мысль Пушкина повторил и Вяземский: “Характер Адольфа верный отпечаток времени своего. Он прототип Чайльд-Гарольда и многочисленных его потомков”³. Сопоставление Адольфа с характерами

1 Воздействие Шатобриана на Пушкина – факт установленный. “Мельмота” Пушкин назвал “гениальным произведением Матюренса”. На поиски имени Констана в черновиках “Евгения Онегина” навел меня Д.П. Якубович.

2 “Литературная газета”, 1830. Т. I, № 1. С. 8.

3 “Предисловие” к переводу “Адольфа”. Это, однако, неверно: “Адольф” вышел в 1815 г., т.е. после двух песен “Чайльд-Гарольда” (1812), “Гяура” (1813), “Абидосской невесты” (1813) и “Лары” (1814), и Байрон прочел “Адольфа” только летом 1816 г. Заблуждение Пушкина и Вяземского объясняется, вероятно, тем, что они прочли “Адольфа” раньше, чем узнали Байрона. Впрочем, они могли знать из журналов или от лиц, знавших Констана, что “Адольф” написан задолго до выхода его в свет. По-

героев Байрона имело для Пушкина очень важный принципиальный смысл.

Вяземский в посвящении Пушкину сделанного им перевода “Адольфа” писал: “Прими перевод вашего любимого романа” и “Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего”. Хотя это “Посвящение”, как выясняется из писем Вяземского к Плетневу, было написано в январе 1831 г., но это не значит, что беседы об “Адольфе” происходили в связи с переводом Вяземского. Вернее предположить, что именно эти беседы подали Вяземскому мысль заняться переводом романа Б. Констана.

Вяземский переводил “Адольфа” сон amore <с любовью>, придавал чрезвычайно важное значение своему переводу и работал над такой сравнительно небольшой вещью очень долго¹.

20 декабря 1829 г. Баратынский благодарит Вяземского за присланную на просмотр рукопись перевода². И только 12 января 1831 г. Вяземский обратился к Плетневу с просьбой отдать в цензуру оставленный в Петербурге у Жуковского и Дельвига перевод “Адольфа”, обещая прислать на днях посвящение (“Письмо к Пушкину”) и предисловие “Несколько слов от переводчика”³.

левой в крайне враждебном отзыве («Московский телеграф», 1831. Ч. 41. С. 231–244) о переводе Вяземского, отмечая эту хронологическую ошибку, говорит, что она доказывает неверность “истин услышанных, а не почувствованных”. Этим он, конечно, намекает на то, что Вяземский повторил слова Пушкина. Как известно, Пушкин узнал Байрона около 1820 г. Первое упоминание о Байроне в переписке Тургенева с Вяземским относится к 1819 г.

1 “А я между тем пришло Вам на днях два приложения к переводу моему: письмо к Пушкину и несколько слов от переводчика”, – писал Вяземский Плетневу 12 января 1831 г. («Известия Отд. русск. яз. и слов. Ак. наук», 1897. Т. II. Кн. I. С. 92). Посвящение помечено: “Село Мещерское (Саратовской губ.) 1829 года”. Этой пометой Вяземский, по-видимому, хотел установить первенство своего перевода.

2 В “Старой записной книжке” Вяземского отмечено: 16 июня 1830 г.: “То ли было дело пересмотреть моего “Адольфа”, написать предисловие к переводу”. 22 июля: “Перечитывал несколько глав Адольфа”. 25 июля: “Сегодня кончил мой пересмотр Адольфа”. 24 декабря: “Вот и Benjamin Constant умер; я думал послать ему при письме мой перевод “Адольфа”. Впрочем, Тургенев сказывал ему, что я его переводчик”.

3 В цитированном выше письме Вяземский торопит Плетнева: “Мой Адольф пропал без вести, а между тем Полевой, всегда готовый на ка-

17 января 1831 г. Вяземский послал Пушкину из Осташьева в Москву свое предисловие (а может быть, и посвящение) со следующей просьбой: “Сделай милость, прочитай и перечитай с бдительным и строжайшим вниманием *посылаемое тебе* (курсив мой. — А.А.) я укажи на все сомнительные места. Мне хочется, по крайней мере в предисловии, не поддать боков критике. Покажи после и Баратынскому, да возврати поскорее... Нужно отослать в Петербург к Плетневу, которому я уже писал о начатии печатания Адольфа”.

Очевидно, Пушкин полагал необходимым внести некоторые поправки в предисловие Вяземского, потому что через три дня он ответил: “Оставь Адольфа у меня — на днях перешлю тебе нужные замечания”¹. Поэтому мы имеем право предположить редактуру, если не сотрудничество Пушкина, а самое предисловие рассматривать как итог бесед Пушкина и Вяземского об “Адольфе”. Это тем вероятнее, что, как уже отмечалось, некоторые мысли, высказанные Вяземским в предисловии, — повторение заметки Пушкина об “Адольфе”².

В своем предисловии Вяземский говорит, что, переводя “Адольфа”, он имел желание “познакомить” русских писателей

кто-нибудь пакость, печатает своего Адольфа в Телеграфе. Была ли моя рукопись в цензуре? До какой степени Вяземский был раздражен поведением Полевого, доказывает следующая странная его просьба: “Поверьте с моим переводом перевод Телеграфа. Помилуй Боже и спаси нас, если будет сходство. Я рад все переменить, хоть испортить — только бы не сходиться с ним”. В письме от 31 января Вяземский повторяет эту просьбу.

¹ 20 января 1831 (в записке с известием о смерти Дельвига). Пушкин мог и лично передать Вяземскому свои замечания. Они виделись 25 и 26 января 1831 г. (см. Н. О. Лернер. “Труды и дни Пушкина”. СПб., 1910. С. 235). 31 января Вяземский послал Плетневу с Толмачевым “Посвящение” и “Предисловие”, переписанные рукой В.Ф. Вяземской и получившие санкцию Пушкина («Несколько писем кн. П.А. Вяземского к П.А. Плетневу». Изв. Отд. русск. яз. и слов. Акад. наук. 1897. Т. 2. Кн. 1). В комментарии Н.К. Козмина к заметке Пушкина об “Адольфе”. (Сочинения Пушкина, изд. Акад. наук. Т. IX. Ч. II. 1929. С. 163, примеч.) ошибочно указано, что Вяземский послал Пушкину на просмотр весь перевод романа Б. Константа.

² Упомянутый комментарий к заметке об “Адольфе” (акад. изд. Т. IX. Ч. II. С. 163).

лей с этим романом¹. Конечно, Вяземский знал, что русские писатели могли прочесть роман Б. Констана в подлиннике и вовсе не с романом Б. Констана хотел их познакомить, а показать на примере своего перевода, каким языком должен быть написан русский психологический роман.

Говоря о языке психологической прозы, мы имеем в виду тот язык, который Пушкин называл “метафизическим”².

Пушкин считал Вяземского способным содействовать развитию этого языка (“У кн. Вяземского есть свой слог”) и 1 сентября 1823 г. советовал Вяземскому заняться прозой и “образовать русский метафизический язык”. А еще 18 ноября 1822 г. Вяземский писал А.И. Тургеневу: “Я сижу теперь на прозаических переводах с французской прозы. Во-первых, есть тут и для себя занятие полезное”³. Очевидно, прозаические переводы уже тогда казались Вяземскому способом обогащения русского литературного языка и, в частности, создания русской прозы, еще не очень самостоятельной и мало разработанной. Известны жалобы Пушкина на отсутствие русской прозы и на отставание прозы от стихов⁴.

Посылая Баратынскому на просмотр свой перевод “Адольфа”, Вяземский, очевидно, высказал свои соображения о трудности передать по-русски все оттенки “Адольфа”, потому что Баратынский ответил ему следующее: “Чувствую, как трудно переводить *светского* Адольфа на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам тес-

¹ Булгарин, цитируя это место, иронически прибавил: “вероятно, не знающих французского языка” («Северная пчела», 1831, № 274).

² Известно, что “метафизическими” Пушкин называл языки, способный выражать отвлеченные мысли. Однако когда Пушкин говорит о метафизике характера Нины Баратынского или о метафизическом языке “Адольфа” — то, очевидно, имеет в виду психологизм этих произведений. В таком же смысле Вяземский называет “Адольфа” представителем “светской”, так сказать практической метафизики века нашего” (Предисловие к “Адольфу”).

³ “Осташевский архив”. Г. П. С. 280.

⁴ “У нас не то, что в Европе, — повести в диковинку”, — писал Пушкин Погодину 31 августа 1827 г. И еще в 1831 г.: “В прозе мы имеем только “Историю Карамзина”. Первые два или три романа появились два или три года тому назад” («Рославлев»).

перь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными. Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительных выражений. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык. Вспомним, что те из них, которые говорят по-русски, говорят языком Пушкина, Жуковского и вашим, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику¹.

За год до того, как было написано предисловие Вяземского, Пушкин в заметке о предстоящем выходе "Адольфа" писал: "Любопытно видеть, каким образом острое и опытное перо кн. Вяземского победило трудность *метафизического языка* (курсив мой. – А.А.), всегда стройного, *светского* (курсив мой. – А.А.), часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы". Здесь Пушкин, уже знавший перевод Вяземского или, во всяком случае, методы его перевода², высказывал ту же мысль, что и Вяземский в "Предисловии", а Баратынский в приведенных письмах.

¹ "Старина и новизна". Кн. 5. С. 50. (Курсив мой. – А.А.)

² Вяземский писал, что "хотел изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не попытки, и выведать, сколько может он приблизиться к языку иностранному" (Предисловие). На необработанность русского языка жалобы очень часто встречаются в "Записной книжке" Вяземского, напр.: «У нас жалуются по справедливости на возвращение иностранных слов в русском языке. Но что же делать, когда наш ум, заимствовавший некоторые понятия и оттенки у чужих языков, не находит дома нужных слов для их выражения. Как, напр., выражать по-русски понятия, которые возбуждают в нас слова: *naïve*, *seigie*? Чистосердечный, простосердечный, откровенный, все это не выражает значения первого слова; важный, степенный не выражает понятия, свойственного другому; а потому и должны мы поневоле говорить наивный, серьезный. Последнее слово вошло в общее употребление. Нельзя терять из виду, что западные языки – наследники древних языков и их литератур, которые достигли высшей степени образованности и должны усвоить все краски, все оттенки утонченного общежития. Наш язык происходит, пожалуй, от благородных, но бедных родителей, которые не могли оставить наследнику своему... литературы утонченного общества, которого они не знали. Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, политические и философские рассуждения". Приблизительно в то же время (1830) Пушкин называет метафизическими стихи Вяземского: "Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете кн. Вяземского в стихах метафизических" (курсив мой. – А.А. См. "Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой").

Говоря о метафизическом языке "Адольфа", Пушкин имеет в виду создание языка, раскрывающего душевную жизнь человека. Самое выражение "метафизический язык" Пушкин, вероятно, заимствовал у мадам де Сталь. Оно встречается в "Коринне", в главе "De la littérature italienne", без сомнения внимательно прочитанной Пушкиным: "les sentiments reflechis exigent des expressions plus métaphysiques" <Рассудочное мышление требует более метафизического выражения>¹.

Конечно, возникает вопрос, чем же отличается психологизм "Адольфа", так сильно поражавший читателей, от психологизма романов, современных "Адольфу", как первоклассных (Сталь, Шатобриан), так и второстепенных (Коттен, Криднер, Жанлис). Дело в том, что Б. Констан первый показал в "Адольфе" развоенность человеческой психики², соотношение сознательного и подсознательного³, роль подавляемых чувств⁴ и разоблачил истинные побуждения человеческих действий. Поэтому "Адольф" и получил впоследствии название "отца психологического романа".

Все эти черты "Адольфа", как известно, указали путь целиому ряду романистов, в числе которых одним из первых был Стендаль. Уже в 1817 г. Стендаль писал: "Дантे понял бы без сомнения тонкие чувства, наполняющие необыкно-

¹ "Corinne", livre VII, ch. I. "De la littérature italienne". Об отсутствии у русских языка, способного выражать отвлеченные идеи, де Сталь писала в книге "Dix années d'exil". См. об этом в статье Б.В. Томашевского "Кинг-жал" и м-ре de Staél" («Пушкин и его современники». Вып. XXXVI. Pg., 1923).

² Например: "Почти всегда, когда мы хотим быть в ладу с собою, мы обращаем в расчеты и правила свое бессилие и свои недостатки. Такая уловка удовлетворяет в нас *ту половину, которая, так сказать, есть зрителя другого*" (с. 12).

³ "В этой потребности было, несомненно, много суетного, но не одна была в ней сущность; может статься, было ее и менее, нежели я сам полагал" (с. 7).

⁴ "Я успел приневолить себя и заключил в своей груди малейшие признаки неудовольствий, и все способы ума моего стремились созидать себе искусственную веселость, которая могла бы прикрывать мою глубокую горесть. Сия работа имела надо мною действие неожиданное. Мы существа столь зыбкие, что под конец опущаем те самые чувства, которые сначала выказывали из притворства" (с. 42).

венный роман Бенжамен Констана "Адольф", если бы в его время были такие же слабые и несчастные люди, как Адольф; но чтобы выразить эти чувства, он должен был обогатить свой язык. Таким, как он нам его оставил, он не годится... для перевода Адольфа"¹.

В связи с высказыванием Пушкина о метафизическом языке "Адольфа" особый интерес представляют его собственные пометки на полях романа Б. Констана. Против отчеркнутых слов (в письме Адольфа к Элленоре): "Je me precipite sur cette terre qui devrait s'entrouvrir pour m'engloutir a jamais, je pose ma tete sur la pierre froide qui devrait calmer la fievre ardente qui me devore"² (стр. 61) Пушкин написал: "Вранье".

Гиперболическая риторика этой фразы воспринималась Пушкиным как нарушение "стройности" метафизического языка, и эти ламентации в духе "Новой Элоизы" Руссо должны были казаться фальшивыми в устах светского соблазнителя.

Второй пример любопытен как случай редактирования Пушкиным романа Б. Констана и относится к одному из рассуждений Адольфа о раздвоенности человеческой личности, о которых я говорила выше. В отчеркнутой фразе: "et tel est la bizarrerie de notre coeur misérable que nous quittions avec un déchirement horrible ceux pres de qui nous demeurions sans plaisir"³ слово "plaisir" <удовольствие> зачеркнуто и на полях написано "bonheur" <счастье>. Эта поправка свидетельствует о требовании точности оттенков смысла⁴.

1 De Stendal. "Rome, Naples et Florence". Запись 4 января. Этот отзыв Стендоля об "Адольфе" был, вероятно, известен Вяземскому, который в 1833 г. писал А.И. Тургеневу: "Я Стендоля полюбил с "Жизни Россини" ("Остафьевский архив". Т. III. С. 233). "La vie de Rossini" появилась в 1823 г., III-е изд. "Rome, Naples..." – в 1826 г.

2 "Кидаюсь на землю; желаю, чтобы она расступилась и поглотила меня навсегда; опираюсь головою на холодный камень, чтобы утолил он знойный недуг, меня пожирающий..." Полное собрание сочинений П.А. Вяземского. Т. X. С. 21.

3 "Таково своенравие нашего немощного сердца, что мы с ужасным терзанием покидаем тех, при которых пребывали без удовольствия" (там же, с. 36).

4 Переводы из "Адольфа" даны Ахматовой по 10-му тому указанного собрания сочинений П.А. Вяземского.

III

Противопоставление Адольфа героям романов XVIII в., находящееся в предисловии Вяземского ("Адольф в прошлом столетии был бы просто безумец, которому никто бы не сочувствовал"), было уже сделано Пушкиным и в незаконченном "Романе в письмах" (1829), не напечатанном при жизни Пушкина, но, вероятно, известном Вяземскому: "Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушки и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом?"¹ Таким образом, Пушкин трижды в конце 20-х годов говорит о современности Адольфа: в VII главе "Онегина" (1828), в "Романе в письмах" (1829) и в заметке об Адольфе" (1830). Вяземский повторяет это утверждение в предисловии к своему переводу.

Еще одно совпадение мыслей Пушкина и Вяземского об "Адольфе" относится к определению ими жанра и стиля этого романа. Пушкин назвал язык "Адольфа" "светским". Ср. в предисловии Вяземского: "творение сие не только роман сегодняшний (*roman du jour*), подобно новейшим или гостиным романам..."² Как мы видим, Баратынский также назвал роман Констана "светским".

1 Это говорит представительница высшего петербургского общества, из чего следует, что ее идеалом был Адольф. В том же "Романе в письмах" сцена встречи влюбленных среди многочисленного общества очень напоминает такое же описание в "Адольфе" (гл. II). В "Дубровском" (1832) описание поведения "светского человека" кн. Верейского в гостях у Троекурова также восходит к "Адольфу": "... князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами". Ср. в "Адольфе": "Я ... испытывал тысячу средств привлечь внимание ее. Я наводил разговор на предметы для нее занимательные... я был вдохновлен ее присутствием: я додился до внимания ее..." (перевод Вяземского).

2 Можно указать, какие романы Вяземский называл "гостиными". "Прочел я "Le Moqueur amoureux" роман S. Gay: слабо, жидкно, но довольно хорошо, роман гостиной" (П. А. Вяземский. Старая записная, книжка. Т. IX. С. 126, 5 июля 1830 г.). "Прочел я "Granby, roman fashionnable". В самом деле, читая этот роман, думаешь, что переходишь из гостиной в гостиную" (Собр. соч., т. IX. С. 142). Полевой в уничтожающем разборе перевода Вяземского писал, что "роман Б. Констана верный список с невымышенной сцены света – не боле" (Моск. телеграф, 1831, т. XLI. С. 535).

В это время мысль о создании современного “светского” романа или повести очень занимала Пушкина.

В “Романе в письмах”, представляющем собою как бы свод литературно-полемических (и политических) высказываний Пушкина, розданных им всем четырем корреспондентам, автор от лица одной из героинь говорит следующее о романах XVIII в.: “Умный человек мог бы взять готовый план, характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки – и вышел бы прекрасный, оригинальный роман. Скажи это от меня моему неблагодарному Р... Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает”. В этом мы узнаем тот метод, которым иногда пользовался сам Пушкин (“Рославлев”, “Барышня-крестьянка”, “Русский Пелам”). Итак, мы видим, что задача создания “светской” повести заключалась для Пушкина (в 1829 г.) в том, чтобы превратить готовую сюжетную схему в конкретное произведение с определенным реальным материалом.

Несомненно, материалом “светских” повестей Пушкина и были его наблюдения над бытом и нравами того общества, в котором он жил после возвращения из Михайловского. Напомню, что в пушкинской литературе существуют указания на автобиографичность “светских” повестей Пушкина 1828–1829 гг.¹. Но это, конечно, не исключает литературных реминисценций.

Самая тема повести “На углу маленькой площади” – адольтер, и судьба женщины, открыто нарушившей законы света, несомненно указывает на французские традиции².

В заметке о предстоящем выходе перевода “Адольфа”

¹ “Путеводитель по Пушкину”. С. 103–104, 252.

² Датировка этого отрывка представляет некоторые затруднения; план повести (тетр. 2282, л. 23 об.) находится среди черновиков “Гасуба” и рядом со стихотворением “Поедем, я готов” (24 дек. 1829 г.). Черновик начала первой главы находится в бывшем “Онегинском собрании”. Он написан на двух листах с жандармскими цифрами (64 и 76). Как установлено Л. Б. Модзалевским, эти листы вырваны самим Пушкиным из тетр. 2371, в которой находится (почти примыкающее к Онегинскому черновику) продолжение первой главы и известная нам часть второй главы (лл. 86, 87, 88, 89). Они не могли быть написаны раньше ле-

Пушкин, характеризуя героя Б. Константа, приводит XXII строфу (тогда еще не напечатанной) VII главы своего “Онегина” и относит Адольфа к двум-трем романам,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанию преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Таким же “сыном своего века” сделал Пушкин и героя отрывка “На углу маленькой площади”. Это явствует из следующих сравнений. В плане повести: “Он сатирический, рассеянный”, Адольф говорит о себе: “Рассеянный, невнимательный, скучающий”. И в другом месте: “Я распустил о себе славу человека легкомысленного и злобного” (т.е. сатирического). Далее Пушкин так характеризует Валериана Волоцкого, в первоначальном наброске названного просто Алексеем: “Он не любил скуки, боялся всяких обязанностей и выше всего ценил свою себялюбивую независимость”. Здесь Пушкин имеет в виду также высказывания Адольфа: “Я сравнивал жизнь свою независимую и спокойную с жизнью тревог, торопливости и волнений, на которую обрекала меня страсть ее”¹. К этому следует добавить что обе эти характеристики относятся к одной и той же ситуации.

та 1830 г. (См.: Б. В. Томашевский. “Пушкин и романы французских романтиков”. “Лит. наследство”, № 16–18. С. 947). В тетр. 2286 находится (лл. 13 и 50) перебеленный текст первой главы с пометой “24 февраля”, как указал мне Г. О. Винокур. Обе рукописи носят на себе следы нескольких слов работы. Все это говорит за то, что Пушкин писал этот отрывок с перерывами: начал его в 1830 г. (или даже в последние дни 1829), а в 1832 (24 февр.) переписал (поправляя), очевидно намереваясь продолжать его.

¹ Эпиграф первой главы: “Ваше сердце губка, напитанная желчью и уксусом”, — конечно, служит дополнительной характеристикой героя. Примечательно также, что фраза: “В эти минуты надо мно сидеть дома...” — имела первоначально такой вид: “В эти минуты надо мно сидеть дома и не досаждать тебе моей хандрай”.

Создавая современного героя, “сына века сего” – светского человека, столь же тщеславного и эгоистического, как Адольф¹, Пушкин заимствовал готовый характер, по-своему объяснив, снизив и разоблачив его, согласно с характеристикой героя Б. Констана, данной в VII главе “Евгения Онегина”. Не случайно на такую возможность намекает Вяземский в предисловии к “Адольфу”, как мы видели, редактированном Пушкиным: “Автор так верно обозначил нам с одной точки зрения характеристические черты Адольфа, что, применяя их к другим обстоятельствам, к другому возрасту, мы легко можем вынуть весь жребий его, на какую бы сцену действия ни был он кинут. Вследствие того можно (разумеется, с дарованием Б. Констана) написать еще несколько Адольфов в разных летах и костюмах”.

Но Пушкин не только перенес в свою повесть характер Адольфа, но и поставил Алексея в то же положение, в котором находился герой Б. Констана. Мы знаем, что в ту пору (и никогда ни раньше, ни позже), вероятно, в связи с личными обстоятельствами его собственной жизни, проблема Адольфа живо интересовала Пушкина. Памятник этого интереса: лирическое стихотворение 1829–1830 гг. – “Когда твои младые лета”, столь близкое по теме и по тону к Адольфу, а по ситуации к отрывку “На углу маленькой площади”.

То немногое, что известно нам из этого произведения, позволяет утверждать, что при создании этой повести Пушкин использовал сюжетную схему романа “Адольф” и ряд его психологических мотивировок. Показательна, например, разница лет любовников. Она та же в повести Пушкина, что и в романе Б. Констана: Волоцкому – 26 лет, Зинаиде – 36 л. Ср. в “Адольфе”: “Она десятью годами вас старее. Вам 26 лет”. Описывая внешность Элленоры,

¹ “Я находил в этом роде успехов наслаждение самолюбия” («Адольф», стр. 65). Адольф говорит о своих светских успехах: “Вы увидите его в обстоятельствах различных и всегда жертвою сей смеси эгоизма и чувствительности, которые сливаются в нем” (стр. 81). В 1836 г. Пушкин писал: “Нынешние любят выставлять порок всегда и везде торжествующим и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие”. Отсюда понятно, почему в конце 20-х годов Пушкин считал Адольфа современным героем.

Б. Констан пишет: “Прославленная своей красотой, хотя уже не первой молодости”¹. В первоначальном наброске I главы пушкинского отрывка: “прекрасная, хотя уже не молодая”. Так же, как Элленора, Зинаида из-за открытой связи с любимым человеком теряет принадлежавшее ей прежде общественное положение. Эта тема проходит через весь роман Б. Констана; в отрывке повести Пушкина она намечается одной фразой: “Я так давно не выезжала, что совсем раззнакомилась с вашим высшим обществом”. Следует отметить, что в пушкинском экземпляре “Адольфа” слова: “но я слишком страдала, я уже не молода и мнение света мало владычествует надо мною” – подчеркнуты. Элленора просит Адольфа позволения принимать его “в убежище скроменном посреди большого города”. Именно такова ситуация, открывющая повесть Пушкина.

Изложение предыстории, кратко данной во второй главе пушкинского отрывка², очень близко к развитию действия в “Адольфе”: “Граф П. скоро заметил сношения мои с Элленорой” (“Адольф”), “** скоро удостоверился в неверности своей жены” (“На углу маленькой площади”).

Но наиболее близкое сходство находится в описании разрыва Зинаиды с мужем. Адольф надеется, что Элленора не порвет с графом П., с которым она должна иметь решительное объяснение; далее следует фраза, близкая пушкинскому тексту: “как вдруг женщина принесла мне записку (un billet), в которой Элленора просила меня быть к ней в такой-то улице, в таком-то доме, в третьем этаже”. Адольф идет к Элленоре. “Все расторгнуто, – сказала она мне...” В пушкинском отрывке Зинаида тоже после объяснения с мужем “в тот же день переехала с Английской набережной

¹ Предшественница Зинаиды в творчестве Пушкина – гр. Леонора Д. в “Арапе Петра Великого”, которая “была не в первом цвете лет, но славилась еще своею красотою”.

² В рукописи II глава начинается зачеркнутой фразой: “Зинаида им овладела”. Очевидно, Пушкин первоначально предполагал более подробно изложить предысторию. В “Адольфе” приведенной фразе соответствуют следующие места: “Я был только человек слабый, призательный и порабощенный...”, “Я покорился ее воле”.

в Коломну¹ и в *короткой записочке*² уведомила обо всем Волоцкого, не ожидавшего ничего тому подобного". Непосредственно за этим и в романе Б. Констана, и в отрывке повести Пушкина следует весьма важное для объяснения характера обоих героев описание их растерянности по получении этого известия: "я принял ее жертву, благодарил за нее" (Адольф). "Он притворился благодарным" ("На углу маленькой площади"). О самочувствии своих героев Б. Констан и Пушкин говорят почти одно и то же: "Никогда не думал он связать себя такими узами" (Пушкин); "Узы мои с Элленорой", "Ибо узы, которые я влачил так давно" (Б. Констан). В пушкинском экземпляре "Адольфа" отчеркнут конец фразы: "уверенность в будущем, которое должно разлучить нас, может быть, неведомое возмущение против уз, которые я рассторгнуть не мог, меня внутренне сидели".

Самая ситуация в первой главе пушкинского отрывка может быть объяснена следующей цитатой из романа Б. Констана: "Мы проводили однообразные вечера между молчанием и досадами". Ср. в отрывке повести Пушкина: "Ты молчишь, не знаешь, чем заняться, перевертываешь книги, придираешься ко мне, чтоб со мной побраниться..."³

Итак, мы видим, что Пушкин в отрывке повести "На углу маленькой площади" воспроизвел сюжетную схему "Адольфа" (начиная с IV главы романа Б. Констана), окрасив своим отношением характер центрального героя. Волоцкий, во всяком случае, лишен той "декламационной сентиментальности", которая, по выражению одного из французских критиков, характерна для Б. Констана.

Не забудем, что для Пушкина Адольф был байроническим героем ("Бенж. Констан первый вывел на сцену сей ха-

1 Первоначально было: "На Васильевский Остров". То и другое соответствует третьему этажу в "Адольфе".

2 Первоначально было: "оттуда послала Волоцкому страничку". У Констана: billet, т.е. листик, письмоцо, записка.

3 См. также: "Она никогда не отпускала меня, не старавшись удержать" ("Адольф"). "Ты уж едешь?" — сказала дама с беспокойством. — "Ты не хочешь здесь отобедать?" — "Нет, я дал слово". — "Обедай со мною", — продолжала она ласковым и робким голосом" ("На углу маленькой площади").

рактер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона"). Следовательно, разоблачая и сатирически интерпретируя Адольфа, Пушкин тем самым преодолевал байронизм в своих прозаических опытах так же, как в "Евгении Онегине".

Сатирическая оценка психологии центрального героя, конечно, связана у Пушкина с оценкой его социального положения. Это тем более важно отметить, что аналогичные сатирические оценки в романе Б. Констана имеют лишь побочное значение. Социальный смысл сатирической направленности пушкинского отрывка ("На углу маленькой площади") вскрывается в теме спора Зинаиды с Волоцким. Тема этого спора — излюбленные пушкинские размышления о новой знати ("Аристократия, прервала с усмешкою бледная дама, что ты зовешь аристократией...")¹, почти дословно повторяющиеся в двух других светских повестях Пушкина. "Что такое русская аристократия?" — спрашивает испанец Минского ("Гости съезжались на дачу"); "Ты знаешь, что такое наша аристократия", — пишет Лиза подруге ("Роман в письмах"). В Волоцком Пушкин изобразил "потомка Рюрика"², который требует уважения от новой знати.

1 Тетрадь 2371, л. 68.

2 Самая фамилия героя пушкинского отрывка раскрывает его социальную позицию. *Кл. Волоцкие* — угасший в пушкинское время род, ведший свое происхождение от Рюрика и владевший гор. Волоком Камским или просто Волоком. Пушкин, так живо интересовавшийся своей родословной, конечно, знал древние русские роды и в том же 1830 г. упоминает о прекращении многих из них: "Смотря около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожались..." (см. также: "Мне жаль, что нет князей Пожарских, / Что о других пропал и слух". "Езерский"). В подготовительных заметках к "Борису Годунову" Рюриковичи выписаны из Карамзина: "Князья Рюрикова" пл_есемени *Шуйский, Сицкий, Воротынский, Ростовский, Телятовский* и пр., некоторые из них названы в самой трагедии: *Шуйский, Воротынский, Сицкий, Шастуловы* (также *Курбский* — "великородный витязь"). Ср. в X главе "Евгения Онегина": "Но виршеплет великородный" о кн. Долгорукове; фамилия Сицких повторена в "Езерском": "И умер, Сицких пересев". В "Арапе Петра Великого" *Ржевский*, про которого сказано, что он происходил от древнего боярского рода, его тесть Лыков: предполагаемые женихи Ржевской — *Лыков, Долгоруков, Троекуров, Елецкий* (о происхождении Елецких Пушкин писал в отрывке "Несмотря на великие преимущества", 1830). Снова *Ржевская* в плане повести "О стрельце и боярской дочери". Конечно, не случайно многие герои

Поэтому Волоцкий и говорит с такой пренебрежительностью о “дочери того певчего”. Под “дочерью певчего” надо подразумевать, конечно, не дочь какого-нибудь церковного певчего, а представительницу новой знати, столь ненавидимой Пушкиным. Стих “Моей родословной” (1830) “Не пел на клиросе с дьячками”, как известно, метит в Разумовских. Их же, между прочим, Пушкин имеет в виду в перечислении: “Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожника, денщика, певчего и белого <солдата> — спесь <герцогов> Монморанси <и> Клермон Тонера, первого христианского барона” (“Гости съезжались на дачу”). Титул “первого христианского барона” имел глава дома Монморанси. Ср. в “Записках” Вигеля: “Все сыновья... Кирилла Григорьевича <Разумовского> были... спесивы и недоступны... и почитали себя русскими Монморанси” (т. I, с. 303). Несмотря на всю эскизность портрета, в графине Фуфлыгиной можно узнать другую представительницу новой аристократии, законодательницу петербургского света гр. М.Д. Нессельроде¹. Она была личным врагом Пушкина за приписываемую поэту эпи-

пушкинских и неисторических произведений 1829—1834 гг. носят фамилии Рюриковичей, в XIX в. уже не существовавшие или которые можно было назвать, не задавая никого, как, напр., Елецкий. Минский, гусар-аристократ (*«Станционный смотритель»*), и Минский (*«Гости съезжались на дачу»*), сам рекомендующийся Рюриковичем, разоряющийся англоман *Муромский* (*«Барышня-крестьянка»*), кн. Горский (черновик *«На углу маленькой площади»*), слова *Троекуров* (*«Дубровский»*), о котором сказано, что он был знатного рода, и кн. Верейский (там же), и кн. Елецкая (*«Пиковая Дама»*) переименованы “Российской родословной книге” Долгорукова как ведущие род от Рюрика. Упоминает Пушкин и фамилии, произошедшие от его праплура Радши, — см. пушкинскую “Родословную Пушкиных и Ганибальов”: *Бутулин* — один из гостей Шуйского, и *Бутулин*, оспаривающий вместе с Долгоруким Петром в сенате (*«Арап Петра Великого»*), и московская барыня *Поводова* (*«Роман на кавказских водах»*). От Радши — и упоминаемый в “Борисе Годунове” московский дворянин Рожнов. Таким образом, мы видим, что семантика этих фамилий дает дополнительный материал для постановки вопроса об отношении Пушкина к старой знати.

¹ Ни в черновике б. “Онегинского собрания”, ни в продолжении пушкинского отрывка в тетради 2371 Фуфлыгина не упоминается. Вероятно, этот персонаж введен Пушкиным только в 1832 г. при переписке повести (тетрадь 2386); за это говорят и помарки в этом месте рукописи. В 1832 г. Пушкин жил в Петербурге, и его отношение к гр. Нессельроде уже определилось. О столкновении Пушкина с Нессельроде рассказывает Нацокин. Столкновение это, по-видимому, относится к началу 30-х гг. (см.: П.И. Бартенев. “Рассказы о Пушкине...”. С. 42 и 111).

грамму на отца Нессельроде, министра Гурьева. Характеристика, данная Пушкиным гр. Фуфлыгиной, очень близка к отзывам современников о гр. Нессельроде.

Волоцкий называет аристократами “тех, которые протягивают руку графине Фуфлыгиной”. См. в мемуарах М.А. Корфа: “Салон графини Нессельроде... был неоспоримо первым в С.-Петербурге; попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу... но кто водворялся в нем, тому это служило открытым пропуском во весь высший круг”. Фуфлыгина — толста. П.А. Вяземский писал А.Я. Булгакову о Нессельроде: “...и плечиста, и грудиста, и брюшиста”. Фуфлыгина — взяточница и наглая дура. Впоследствии П.В. Долгоруков вспоминает о Нессельроде: “женщина ума недальnego... взяточница, сплетница... но отличавшаяся необыкновенной энергией, дерзостью, нахальством и... посредством этого нахальства державшая в безмолвном и покорном рабстве петербургский придворный люд”¹.

Элементы “злословия”, присущие жанру светской повести (см., например, “Пелам” Бульвера), в незаконченных повестях Пушкина функционально изменяются, приобретая резко публицистическую направленность. Таким образом, эти повести могут рассматриваться как иллюстрация программных высказываний Пушкина в его статьях того времени.

Что же касается указаний на автобиографичность “светских” повестей Пушкина и, в частности, отрывка “На углу маленькой площади”, то при известной способности Пушкина перевоплощаться в любимого писателя очень легко допустить, что во второй половине 20-х годов светская ипостась Пушкина (которую он с таким старанием отделял от своей творческой личности) воплотилась в светского, скучающего и стремящегося к независимости Адольфа. Ср., например, пушкинский отрывок “Участь моя решена. Я женюсь...” с “Адольфом”². Поэтому, если в Онегине и Волоц-

¹ П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. М., 1934. С. 207

² Через один абзац от написанного Пушкиным на полях “Адольфа” слова “bonheur” <счастье> следуют рассуждения Адольфа о своей независимости и сожаление о предстоящей потере ее: “Я сравнивал жизнь

ком есть Адольф, то этот Адольф – Пушкин. Этому, конечно, способствовала в особенности автобиографичность самого “Адольфа”, которая подобно автобиографичности “Вертера” должна была наталкивать на мысль о создании произведений автобиографического характера. Сам Б. Констан в предисловии к третьему изданию своего романа писал: “То придает некоторую истину рассказу моему, что почти все люди, его читавшие, говорили мне о себе, как о действующих лицах, бывавших в положении моего героя”.

IV

Итак, мы видим, что Пушкин в конце 20-х годов, решая проблему создания небайронической характеристики современного героя, отчасти опирается на “Адольфа”.

Изменение отношения Пушкина к байроническому герою должно быть отмечено уже в “Евгении Онегине”.

В пушкинской литературе неоднократно указывалось на сходство Онегина с Адольфом. Из всех убеждающих нас сопоставлений Онегина с Адольфом можно сделать один вывод: “Адольф” был одним из произведений, давших Пушкину скептические и реалистические позиции против Байрона.

Следует отметить, что сходство Онегина с Адольфом возрастает к концу пушкинского романа, и в особенности явственно в VIII главе (1830). Теперь, когда мы знаем ряд фактов, по-новому освещающих отношение Пушкина к Адольфу, можно с большей уверенностью указать еще несколько довольно существенных совпадений VIII главы “Онегина” с романом Б. Констана.

Начну с черновых вариантов: “Свой дикий нрав преодолев” – сп. Адольф: “ce caractère qu'on dit bizarre et sauvage...”

свою независимую и спокойную с жизнью тревог и волнений. Мне так любо было чувствовать себя свободным, идти, прийти, отлучиться, возвратиться, не озабочивая никого”. У Пушкина (1830): “...я жертвуя независимостию, моей беспечной, прихотливой независимостию <...> Утром встаю, когда хочу, принимаю, кого хочу...”

<“сей характер, который почитают странным и диким...”>. Последний стих XII строфы имел первоначально такой вид:

Заняться чем-нибудь хотел.

Адольф тоже мечтает о деятельности¹. Кроме того, при сопоставлении VIII главы с Адольфом можно найти более близкие примеры, чем это было сделано до сих пор: барон Т. говорит Адольфу: “Вам 26 лет, вы достигнете половины жизни вашей, ничего не начав, ничего не свершив”. В VIII главе “Онегина”:

Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга...

Далее, Адольф говорит: “Я кинул долгий и грустный взгляд на время, протекшее без возврата: я припомнил надежды молодости... *мое бездействие давило меня...*” Ср. VIII главу: “Но грустно думать, что напрасно/Была нам молодость дана...” Есть сходство и в самой ситуации, которую представляет нам VIII глава, с началом романа Б. Констана.

Родственник героя, граф П., в подругу которого влюблен Адольф, приглашает его на вечер. Князь N, муж Татьяны, приглашает Онегина на вечер.

Адольф, желая увидеть Элленору, поминутно смотрит на часы – “Онегин вновь часы считает, вновь не дождаться дню конца!”

“Наконец пробил час, когда Адольфу нужно было ехать к графу”.

“Но десять бьет...”

Адольф чувствует трепет, приближаясь к Элленоре.

“Он с трепетом к княгине входит”.

¹ “Я сетовал не об одном поприще: не покусившись ни на одно, я сетовал о всех поприщах”; “Я ощущал в себе живейшее нетерпение приобрести вновь в отечестве и в сообществе мне равных место, принадлежавшее мне по праву”.

Но всего примечательнее то, что в VIII главе светский дэнди Онегин неожиданно становится таким же застенчивым и робким, как Адольф, когда он оставался наедине с Элленорой.

Татьяну он одну находит
И вместе несколько минут
Они сидят. *Слова нейдут*
Из уст Онегина. Угрюмый,
Неловкий, он едва-едва
Ей отвечает.

Здесь Пушкин очень близко повторяет Б. Констана: “tous mes discours expiraient sur mes levres” (все мои речи замирали на моих устах).

Онегин так же, как Адольф, не решается на объяснение и посыпает письмо. Для этого письма Пушкин черпает из “Адольфа” целый ряд формул и таким образом прибегает к “Адольфу” для создания языка любовных переживаний:

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижуясь я...

Ср. у Констана: “Je n'ai plus le courage de supporter un si long malheur, mais je dois vous voir s'il faut que je vive”¹.

Адольф, пославший первое любовное письмо Элленоре, боялся угадать в ее улыбке след какого-то презренья к нему. Ср. в письме Онегина:

Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!

“Чего хочу?” — восклицает Онегин. “Qu'est-ce que j'exige?” — спрашивает Адольф в объяснении с Элленорой (гл. III). В том же объяснении с Элленорой Адольф говорит: “напряжение, которым одолеваю себя, чтобы говорить с вами”

¹ “Я уже не имею достаточной бодрости для перенесения столь продолжительного несчастия... но мне необходимо вас видеть, если я должен жить” (*фр.*) (C. 18).

ми несколько спокойно, есть свидетельство *чувства для вас оскорбительного*” и просит Элленору не наказывать его за то, что она узнала тайну (т.е. его любовь). Это место отчеркнуто в пушкинском экземпляре “Адольфа”. Ср. в “Письме Онегина”:

Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.

Выражение “милая привычка”, дважды употребленное Пушкиным в любовных объяснениях¹ и между прочим в “Письме Онегина” — “Привычке милой не дал ходу”, находится все в том же объяснении Адольфа с Элленорой (Vous avez laisse naître et se former cette douce habitude)².

И, наконец, письмо Адольфа к Элленоре (гл. III), вторая половина которого в пушкинском экземпляре “Адольфа” перечеркнута карандашной линией (от слов “Tout pres de vous” и до конца), содержит одно место, очень близкое к “Письму Онегина”, написанному 3 октября 1831 г.³

Желать обнять у вас колени,	... lorsque j'aurai un tel besoin
И, зарыдав, у ваших ног	de me reposer de tant d'angoisse,
Излить мольбы, признанья, пени,	de poser ma tête sur vos genoux, de
Все, все, что выразить бы мог,	donner un libre cours à mes larmes
А между тем притворным хладом	il faut que je me contraigne...
Вооружать и речь и взор...	(гл. III) ⁴ .

¹ Н.П. Дашкович отметил, что “Письмо Онегина к Татьяне напоминает некоторыми мыслями объяснение Адольфа с Элленорой (см. гл. III)”, но не привел примеров этого сходства, важного, как мы дальше увидим, в связи с “Каменным гостем”.

² Вы дали возникнуть (созреть) сей сладостной привычке (*фр.*) (C. 18). Ср. в “Метели”: “Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно”. Пушкин отсылает читателя к “Новой Элоизе” Руссо («Мария Гавриловна вспомнила 1-е письмо S. Ртеух»). Однако в первом письме S. Rteuh нет выражения “милая привычка”.

³ Незадолго до этого, по-видимому в сентябре, вышел “Адольф” Вяземского. В “Трудах и днях” Пушкина ошибочно указано Н.О. Лернером, что перевод Вяземского вышел в марте 1831 г. (Н.О. Лернер. Назв. соч. С. 238). Первая часть тиража вышла в начале июня, весь тираж в ноябре. См.: М. И. Гилльельсон. П.А. Вяземский. Л., 1969. С. 182.

⁴ “...Когда мне было бы так нужно отдохнуть от стольких сотрясений, приложить голову мою к вашим коленам, дать вольное течение слезам моим, должно мне еще превозмогать себя насилиственno...” (*фр.*) (C. 22).

Все эти сопоставления должны рассматриваться как перенесение Пушкиным из "Адольфа" в "Евгения Онегина" психологической терминологии любовных переживаний.

V

Жанровые эксперименты, характеризующие работу Пушкина в конце 20-х годов, идут по самым разным линиям.

Теперь уже можно говорить, что именно в конце 20-х годов Пушкин работал над жанром своих маленьких романтических трагедий. И очень примечательно, что параллельное использование Байрона и Б. Констана мы находим также и в одной из этих трагедий – в "Каменном госте".

Таким образом, "Адольф" был использован Пушкиным еще по одной линии его жанровых исканий. С одной стороны, сатирический роман "Евгений Онегин", с другой – психологическая повесть "На углу маленькой площади", с третьей – романтическая трагедия "Каменный гость".

Выше отмечено совпадение письма Онегина ("Я знаю, век уж мой измерен...") с текстом "Адольфа". Тот же текст был заимствован Пушкиным для "Каменного гостя". Любопытна и не очень обычна для Пушкина форма этого заимствования. Обыкновенно в пушкинских заимствованиях источник подвергается некоторой переработке и дальнейшему развитию. Здесь же мы видим почти дословный перевод. Пушкин вкрапливает цитату из "Адольфа" в текст своей трагедии. Эта цитата находится в III сцене "Каменного гостя", в объяснении в любви Дон Гуана; уже начало реплики Дон Гуана на слова Донны Анны: "Я слушать вас боюсь" –

Я замолчу; лишь не гоните прочь
Того, кому ваш вид *одна отрада*, –

довольно близко к "Адольфу": "чем заслужил я лишения сей единственной отрады" (Адольф говорит о запрещении ви-

деть Элленору)¹. Затем в "Каменном госте" следует цитата из "Адольфа":

Я не пытаю дерзостных надежд,
Я ничего не требую, но видеть
Вас должен я, когда уже на жизнь
Я осужден.
Je n'espere rien, je ne demande
rien, je ne veux que vous voir; mais
je dois vous voir s'il faut que je
vive².

Лучший комментарий к этому месту дал сам Пушкин в "Арапе Петра Великого" (1827): "что ни говори, *а любовь без надежд и требований трогает женское сердце вернее всех расчетов обольщений*". Ср. с этой авторской ремаркой в "Арапе Петра Великого" следующее место в той же III сцене "Каменного гостя".

Когда б я был безумец, я б хотел
В живых оставаться, я б имел надежду
Любовью нежной тронуть ваше сердце...

После этого понятно, что тронутая любовью без надежд и требований Дона Анна отвечает:

...Завтра
Ко мне придите. Если вы клянетесь
Хранить ко мне такое жеуваженье³.
Я вас приму; но вечером, позднее.

Эти слова перенесены Пушкиным из предыдущей (II) главы "Адольфа", где на требование Адольфа принять его

¹ Ср. в "Барышне-крестьянке": Алексей заклинал Лизу "не лишать *его одной отрады* – видеться с нею..." Напомню, что Вяземский закончил пересмотр своего перевода "Адольфа" летом 1830 г. В августе он выдался с Пушкиным и вместе с ним ехал из Петербурга в Москву, оставив свой перевод на попечение Жуковского и Дельвига. Вероятно, тогда Вяземский и дал Пушкину на просмотр свой перевод "Адольфа".

² «Я ни на что не надеюсь, ничего не прошу, хочу только вас видеть, но мне необходимо вас видеть, если я должен жить» (С. 18). Ср. письмо Пушкина к неизвестной (1823): "je ne veux rien, je ne demande rien," <"я не прошу ни о чем">; там же о любви без надежд: "Si j'avais des espérances" <"Если бы я имел надежды">; ср. также лирическое стихотворение "Признание" (1824): "Не смею требовать любви".

³ Адольф говорит, что расточал Элленоре, согласившейся видеться с ним наедине, "тысячу уверений в нежности, в преданности, в уважении вечном".

“завтра в 11 часов” Элленора отвечает: “Je vous receverai demain mais je vous conjure...” <“Я вас приму завтра, но за-клинаю вас...”>. Элленора не кончает фразы, потому что боится быть услышанной присутствующими, но по смыслу фраза ее не могла иметь иного окончания. Пушкин договаривает за Константа.

Столь же несомненна близость к “Адольфу” слов Дон Гуана о тайне (т.е. любви своей), которую он нечаянно выдал:

Случай, Дона Анна, случай
Увлек меня, не то б вы никогда
Моей печальной тайны не узнали.

Адольф просит Элленору “удалить воспоминание о минуте исступления: не наказывать меня за то, что вы знаете тайну, которую должен был заключить я во глубине души...” Эта фраза, как было отмечено выше в связи с “Письмом Онегина”, отчеркнута в пушкинском экземпляре “Адольфа”¹.

Дон Гуан так же, как Адольф, начинает с угрозы самоубийства: “О пусть умру сейчас у ваших ног” (“Камен^нный гость”); “Я сейчас еду... пойду искать конца жизни” (“Адольф”).

В начале IV сцены Дон Гуан говорит:

Наслаждаюсь молча
Глубоко мыслю быть наедине
С прелестной Доной Анной...

Все в той же III главе “Адольфа” читаем: “Потребность видеть ту, которую любил, наслаждаться ее присутствием владела мной исключительно”. Перед этим Адольф говорит, что в его “душе уже не было места ни расчетам, ни соображениям”, и он “признавал себя влюбленным добросовестно, истинно” (гл. III).

А в письме Адольфа к Элленоре, цитированном выше в связи с письмом Онегина, читаем: “А если бы я встретил вас

¹ Она находится рядом с той, в которой дана характеристика Адольфа: “Вам известно мое положение, сей характер, который почитают странным и диким...”. (Напечатанные курсивом слова – отчеркнуты в пушкинском экземпляре “Адольфа”). Ср. “Евг^нений Онегин”, гл. 8, после стр. XXX (в ркп.): “Свой дикий нрав преодолев”.

ранее, вы могли бы быть мою”. Ср. IV сцену “Каменного гостя”: “Если б я прежде вас узнал...” Самое отношение Дон Гуана к Доне Анне, ни в коем случае не восходящее к традициям классических Дон Жуанов, обычно истолковывается двояко: либо Дон Гуан романтически влюблен в Дону Анну, но в таком случае психологически мало правдоподобен тот цинический и слегка пренебрежительный тон, которым он говорит о Доне Анне в ее отсутствии; либо вдохновенная искренность его слов лишь умелая игра, но этому толкованию, в свою очередь, противоречат слова Дон Гуана (“Я гибну – конечно – о Дона Анна!”), произносимые им в момент гибели, когда притворяться было уже незачем.

Поведение Дон Гуана, как мне кажется, находит свое психологическое обоснование, если мы сопоставим Дон Гуана, соблазняющего Дону Анну, с Адольфом, соблазняющим Элленору. Адольф говорит о себе: “Кто бы стал читать в сердце моем в ее отсутствии, почел бы меня соблазнителем холодным и малочувствительным. Но кто бы увидел меня близъ нея, – тот признал бы меня за любовного новичка, смятенного и страстного”.

Таким образом, исторический персонаж пушкинской трагедии приобретает психологический облик современного светского соблазнителя Адольфа¹, героя того романа, о котором Пушкин в 1830 г. вспоминает в связи с “жгучими чтениями своих юных лет” и с героиней которого Пушкин сравнивает свою корреспондентку.

В связи с модернизацией характера Дон Гуана в “Каменном госте” интересно отметить, что один важный исторический эпизод пушкинской трагедии тоже имеет источник не исторического характера. Я имею в виду воспоминания

¹ В начале романа Адольф сам характеризует себя как соблазнителя. См., напр.: “В доме моего родителя я составил себе о женщинах образ мыслей довольно безнравственный...” (С. 8); “Мое сердце требовало любви, а чувство суетное успехов. Элленора показалась мне достойной моих искусственных усилий...” (С. 11); “Я не думал, что люблю Элленору, но уже не мог отказаться от мысли ей нравиться... вымыслия тысячи средств к победе... мое воображение, мои желания, какая-то наука светского самохвальства восставала во мне”. (С. 12).

Дон Гуана о своей ссылке. Место ссылки Дон Гуана на основании текста Пушкина не может быть указано хоть сколько-нибудь точно. Вопрос проясняется лишь из сопоставления с источником: "Дон Жуаном" Байрона. У Байрона – Жуан приезжает в Англию (песнь X). Первое, что он замечает, это дым, окутывающий Лондон: "The sun went down, the smoke rose up" (Солнце опускалось, дым поднимался). Ср. в "Каменном госте": "а небо точно дым". В XII песне Байрон называет Англию: "the shore of white cliffs, white necks, blue eyes" (т.е. страной белых утесов, белых шеи, синих глаз). Чужестранки в "Каменном госте" сначала нравились Дон Жуану: "Глазами синими да белизною". Жуану они сначала не нравились (At first he did not think: the women pretty), потому что новинки меньше нравятся, чем впечатляют ("That novelties please less than they impress"). Ср. в "Каменном госте": "а пуще новизною". Есть в той же песне байроновского "Дон Жуана" и сравнение англичанки с андалузской девушкой: "She cannot step as does an Arab barb/Or Andalusian girl from mass returning". Ср. в "Каменном госте":

А, женщины, да я не променяю
.....
Последней в Андалузии крестьянки
На первых тамошних красавиц, право.

Эта строфа "Дон Жуана" находится через одну от той, где Байрон говорит о русских, бросающихся из горячей бани прямо в снег. К этому месту Байрон сделал следующее примечание: "Русские, как общеизвестно, бегут из горячей бани, чтобы окунуться в Неву..." Об упоминаниях в байроновских поэмах о русских обычаях Пушкин писал в "Отрывках из писем, мыслях и замечаниях": "В своих поэмах он часто говорит о России, о наших обычаях" ("Северные цветы" на 1828 г.).

После всех этих сопоставлений трудно рассматривать "Каменного гостя" как историческую трагедию. Она не может рассматриваться и только как решение проблемы изображения общечеловеческих страстей. Выясняется

автобиографичность и современные ноты "Каменного гостя".

Итак, мы видим, что Пушкин, решая совершенно разные литературные задачи ("Евгений Онегин", "Каменный гость", "На углу маленькой площади"), несколько раз обращался к "Адольфу", но всякий раз для того, чтобы психологизировать свои произведения и придать им ту истинность (правдоподобие), которую отмечали в "Адольфе" все его читатели, начиная с Сисмонди и кончая Полевым. Здесь я еще раз приведу цитаты из "Предисловия" Вяземского (как мы видели, редактированного Пушкиным), проясняющие взгляд Пушкина и его современников на "Адольфа" как на произведение, в котором они узнавали подлинную жизнь: "Вся драма в человеке, всё искусство в истине... Во всех наблюдениях автора так много истины... Женщины вообще не любят Адольфа, т.е. характера его, и это порука в истине его изображения... Романист не может идти по следам Платона и импровизировать республику... Каковы отношения мужчин и женщин в обществе, таковы должны они быть в картине его. Пора Малек-Аделей и Густавов миновалась¹... Трудно в таком тесном очерке, в таком ограниченном и, так сказать, одиноком действии более выказать сердце человеческое, переворотить его на все стороны, выворотить до дна и обнажить наголо во всей жалости и во всем ужасе холодной истины".

То, о чем говорит Вяземский, конечно, еще не реализм в смысле литературной школы; но уже то, что в "Адольфе" узнавали действительность и противопоставляли его истинность, т.е. правдоподобие, "мечтательной Аркадии романов" баронессы Криденер и романов, написанных почти одновременно с "Адольфом" ("Валерия" Криденер 1803 г. и

¹ Эта фраза звучит как цитата. Ср. "Евгений Онегин" (глава III, строфа IX): "Малек-Адель и де Линар", а также примечание Пушкина: "Малек-Адель – герой посредственного романа М-те Соти. Густав де Линар, – герой прелестной повести баронессы Крюднер". О неправдоподобии романов Коттен Пушкин говорил дважды: в III главе Онегина (строфа XI, характеристика героя старых романов) и в статье "Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности" (1836).

“Матильда” Коттен 1805 г.), доказывает, что для Пушкина роман Б. Констана уже подступ к реализму¹.

Поэтому сопоставление “Адольфа” с произведениями Пушкина вплотную подводит к принципиальным вопросам, связанным с проблемой реализма в творчестве Пушкина.

«КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» ПУШКИНА

1

Известно, что в первый период своего творческого пути (когда вышли “Кавказский пленник”, “Бахчисарайский фонтан” и ранняя лирика) Пушкин был любим своими современниками, литературный путь его был прям и блестящий. И вот где-то около 1830 года читатели и критика отшатнулись от Пушкина. Причина этого лежит прежде всего в самом Пушкине. Он изменился. Вместо “Кавказского пленника” он пишет “Домик в Коломне”, вместо “Бахчисарайского фонтана” – “Маленькие трагедии”, затем “Золотого петушка”, “Медного всадника”. Современники недоумевали, враги и завистники ликовали. Друзья отмалчивались. Сам Пушкин в 1830 году пишет:

И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригала
Себе встречал я иногда...

В чем же и как изменился Пушкин?

В предисловии, предполагавшемся к VIII и IX главам “Онегина” (1830), Пушкин полемизирует с критикой: “Век может идти себе вперед”, но “поэзия остается на одном месте <...> Цель ее одна, средства те же” (VI, 540, 541).

¹ В том же самом отрывке повести («На углу маленькой площади»), который воспроизводит сюжетную схему “Адольфа”, несомненно влияние и Бальзака. Я имею в виду рассуждения о том, как должен себя вести обманутый муж. В декабре 1829 г. вышла (анонимно) знаменитая “Физиология брака” Бальзака, о которой Пушкин упоминает в “Египетских ночах”. В этой книге вопрос о поведении обманутого мужа трактуется чрезвычайно подробно. Напр., “Quelle doit être la conduite d'un mari en s'apercevant d'un dernier symptôme qui ne lui laisse aucun doute sur l'infidélité de sa femme” (c. 287, изд. 1868 г.) <“Каким должно быть поведение мужа, окончательно убедившегося в неверности своей жены”>. Ср. в пушкинском отрывке: “*** скоро удостоверился в неверности своей жены. Он не знал, на что решиться: притвориться ничего не замечающим казалось ему глупым...” Ср. с “Физиологией брака”: “Paraitre instruit de la passion de sa femme est d'un sot; mais feindre d'ignorer tout est d'un homme d'esprit” (c. 229). <“Только глупец показывает, что знает о страсти своей жены, умный человек сделает вид, что ничего не замечает”> Там же: “Le grand écueil est le ridicule” <“Самое опасное для чести – это смешное”>. Бальзак также дает ряд примеров мужей, смеющихся “над несчастьем столь обыкновенным” (c. 288), что Пушкин называет “презрительным”. В пушкинском отрывке одно сравнение взято из той же книги Бальзака: “Он вышел из комнаты, как школьник из класса” (черн.). “Elle s'évada comme un écolier qui vient d'achever une répitence” <“Она удалилась, как школьник, который отбыл наказание”>. Ср. также в “Станционном смотрителе”: “Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле”. Ср. у Бальзака: “J'aperçus une jolie dame assise sur le bras d'un fauteuil, comme si elle eût monté un cheval anglais” (c. 115) <“Я заметил красивую даму, сидящую на ручке кресла, как будто она сидела на английской лошади”>. В письме от 12 апреля 1831 г. В.С. Голицын, которого Пушкин ссыпал книгами, писал: “Посылаю Вам развратительную книгу (*Physiologie du mariage*)...” («Литературное наследство». Т. 16–18. С. 610).

Однако в том же году в набросках статьи о Баратынском Пушкин совершенно иначе рисует отношения поэта с читателем: “Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны вся кому, молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут — юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них, и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит — для самого себя и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединенных, затерянных в свете” (XI, 185).

Странно, что до сих пор нигде не отмечено, что эту мысль подсказал Пушкину сам Баратынский в письме 1828 года, где он так объясняет неудачу “Онегина”: “Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блестательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не милятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений: они общие” (Пушкин, XIV, 6).

Из сравнения этих двух цитат видно, как Пушкин развил мысль Баратынского.

Итак, не поэзия неподвижна, а читатель не спешит за поэтом.

В герое “Кавказского пленника” с восторгом узнавали себя все современники Пушкина, но кто бы согласился узнать себя в Евгении “Медного всадника”?

К числу зрелых произведений Пушкина, не услышанных не только современниками, но и друзьями поэта¹, относятся его “Маленькие трагедии”. Быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко и сложно, как в “Маленьких трагедиях” Пушкина. Сложность эта бывает иногда столь велика, что в связи с головокружительным лаконизмом даже как будто затемняет смысл и ведет к различным толкованиям (например, развязка “Каменного гостя”). Мне кажется, объяснение этому дает сам Пушкин в заметке о Мюссе (24 октября 1830 года), где он хвалит автора “Contes d’Espagne et d’Italie” за отсутствие морализирования и вообще не советует “ко всякой всячине приклеивать нравоучение” (XI, 175–176). Это наблюдение дает отчасти ключ к пониманию якобы шутливой концовки “Домика в Коломне” (9 октября 1830 года):

Да нет ли хоть у вас нравоученья?
Нет... или есть: минуточку терпенья...
Вот вам мораль...

и далее следует явно вызывающая пародия на нравоучительную концовку (“Больше ничего Не выжмешь из рассказа моего”).

Понятно, что для поэта, так поставившего вопрос о морализировании, многие обычные пути изображения страстей были закрыты. Все сказанное выше в особенности относится к “Каменному гостю”, который все же является обработкой мировой темы возмездия, а у предшественни-

¹ В дневниковой записи Вяземский холодно перечисляет “Маленькие трагедии” как новости, привезенные Пушкиным из Болдина (П.А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Т. 9. СПб., 1884. С. 152), а Жуковский в 1831 году пишет Пушкину: “Напрасно сердишься на Чуму: она едва ли не лучше Каменного гостя” (XIV, 203). Восторги Белинского относятся уже к 1841 году («величайшее создание Пушкина — его “Каменный гость”. — В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Т. IV. Изд. Акад. наук СССР. М., 1954. С. 424).

ков Пушкина, касавшихся этой темы, не было недостатка в прямом морализировании.

Пушкин идет другим путем. Ему надо, с первых же строк и не прибегая к морализированию, убедить читателя в необходимости гибели его героя. Что и для Пушкина “Каменный гость” – трагедия возмездия, доказывает уже само выбранное им заглавие (“Каменный гость”, а не “Дон Жуан”). Поэтому все действующие лица – Лаура, Лепорелло, Дон Карлос и Дона Анна – только и делают, что готовят и торопят гибель Дон Гуана. О том же неустанно хлопочет и сам герой:

Всё к лучшему: нечаянно убив
Дон Карлоса, отшельником смиренным
Я скрылся здесь...

А Лепорелло говорит:

...Ну, развеселились мы.
Недалго нас покойницы тревожат.

После проделанной пушкинистами работы мы знаем, чем похож пушкинский Дон Гуан на своих предшественников. И теперь имеет смысл определить, в чем он самобытен.

Характерно для Пушкина, что о богатстве Дон Гуана упомянуто только раз и вскользь, в то время как для Дапонте и для Мольера это существенная тема. Пушкинский Гуан и не дапонтовский богач, который хочет “наслаждаться за свои деньги”, и не мольеровский унылый резонер, обманывающий кредиторов. Пушкинский Гуан – испанский гранд, которого при встрече на улице не мог не узнать король. Внимательно читая “Каменного гостя”, мы делаем неожиданное открытие: Дон Гуан – поэт. Его стихи, положенные на музыку, поет Лаура, а сам Гуан называет себя “Импровизатором любовной песни” (VII, 153).

Это приближает его к основному пушкинскому герою: “Наши поэты не пользуются покровительством господ; на-

ши поэты сами господа...” – говорит в “Египетских ночах” Чарский, повторяя излюбленную мысль Пушкина (VIII, 1, 266). Насколько знаю, никому не приходило в голову делать своего Дон Жуана поэтом.

Сама ситуация завязки трагедии очень близка Пушкину. Тайное возвращение из ссылки – мучительная мечта Пушкина 20-х годов. Оттого-то Пушкин и перенес действие из Севильи (как было еще в черновике – Севилья извечный город Дон Жуана) в Мадрид: ему была нужна столица. О короле Пушкин, устами Дон Гуана, говорит:

Пошлет назад.
Уж верно, головы мне не отрубят.
Ведь я не государственный преступник.

Читай – политический преступник, которому за самовольное возвращение из ссылки полагается смертная казнь. Нечто подобное говорили друзья самому Пушкину, когда он хотел вернуться в Петербург из Михайловского¹. А пушкинский Лепорелло по этому поводу восклицает, обращаясь к своему барину: “Сидели бы себе спокойно там” (VII, 138).

Пушкин, правда, не ставит своего Дон Гуана в самое смешное и постыдное положение всякого Дон Жуана – его не преследует никакая возлюбленная Эльвира и не собирается быть никакой ревнивой Мазетто; он даже не переодевается слугой, чтобы соблазнить горничную (как в опере Моцарта); он герой до конца, но эта смесь холодной жестокости с детской беспечностью производит потрясающее впечатление. Поэтому пушкинский Гуан, несмотря на свое изящество² и свои светские манеры, гораздо страшнее своих предшественников.

Обе героини, каждая по-своему, говорят об этом: Дона Анна – “Вы сущий демон”; Лаура – “Повеса, дьявол”.

¹ “Сиди смирно, пиши, пиши стихи” (П.А. Вяземский – Пушкину, 10 мая 1826 года; XIII, 276); “Всего благоразумнее для тебя оставаться *покойно* в деревне” (В.А. Жуковский – Пушкину, 12 апреля 1826 года; XIII, 271).

² Если естественно, что вся речь Лепорелло и Лауры построена на просторечии, то выражения вдовы Командора – “Я страх как любопытна”

Если Лаура, может быть, просто бранится, то “демон” в устах Доны Анны точно передает впечатление, которое Дон Гуан должен был производить по замыслу автора.

В отличие от других Дон Жуанов, которые совершенно одинаково относятся ко всем женщинам, у пушкинского Гуана находятся для каждой из трех, таких разных женщин, разные слова.

Герой “Каменного гостя” так же ругается со своим служащей, как и Дон Жуаны Моцарта и Мольера; но, например, буффонская сцена финала оперы – обжорство слуги и хозяина – совершенно невозможна в трагедии Пушкина.

Первоначально Пушкин хотел подчеркнуть то обстоятельство, что Гуан предполагает встречаться с вдовой Командора около его памятника, но затем возмущенная реплика Лепорелло: “Над гробом мужа... Бессовестный; не сдобровать ему!” (VII, 308, 309) показалась Пушкину слишком нравоучительной, и он предоставил читателю самому догадаться, где происходят эти встречи.

В “Каменном госте” ни в окончательном тексте, ни в черновиках нигде ни одним словом не объяснена причина дуэли Дон Гуана с Командором. Это странно. Я полагаю, что причина этого необъяснимого умолчания такова: у всех предшественников Пушкина, кроме Мольера, где, в противоположность “Каменному гостю”, Командор дан как совершенно отвлеченная фигура, ничем не связанная с действием, Командор гибнет, защищая честь своей дочери Доны Анны. Пушкин сделал Дону Анну не дочерью, а женой Командора, и сам сообщает, что Гуан ее прежде никогда не видел. Прежняя причина отпала, а придумывать новую, которая могла бы отвлечь внимание читателя от самого главного, Пушкин не захотел. Он только подчеркивает, что Командор был убит на дуэли,

и “Нет, отроду его я не видала” – объясняются много раз высказанным убеждением Пушкина, что просторечие – отсутствие жеманства и признак хорошего воспитания. Напомним, что в заметке “Изо всех родов сочинений” Пушкин отмечает в романтической трагедии “смешение родов комического и трагического – напряжение, изысканность необходимых иногда простонародных выражений” (XI, 39).

Когда за Ескурьялом¹ мы сошлись...

а не в ночной безобразной драке (в которой принимает участие и Дона Анна)², что не соответствовало бы характеру его Гуана.

Если сцена объяснения Гуана с Доной Анной и восходит к “Ричарду III” Шекспира, то ведь Ричард – законченный злодей, а не профессиональный соблазнитель, и действует он из соображений политических, а отнюдь не любовных, что он тут же и разъясняет зрителям.

Этим Пушкин хотел сказать, что его Гуан может действовать по легкомыслию как злодей, хотя он только велико-светский повеса.

Второе, никем до сих пор не отмеченное и, по-моему, более значительное восхождение к Шекспиру, находится в заключительной сцене трагедии “Каменный гость”:

Д о н а А н н а
Но как могли прийти
Сюда вы; здесь узнать могли бы вас,
И ваша смерть была бы неизбежна.

В черновике:

...узнать могли бы люди.

J U L I E T :
How cam'st thou hither, tell me, and wherefore?..
And the place death, considering who thou art,

1 Э скурял – королевский дворец – едва ли подходящее место для дуэли. Пушкин, вероятно, намекает на то, что ссора произошла во дворце, чем еще раз подчеркивается близость Гуана ко двору. Ведь так же вскорь Гуан говорит про короля: “Меня он удалил, меня ж любя” (VII, 138).

2 Уже обсуждавшийся вопрос о том, был ли Дон Карлос братом Командора, как мне кажется, надо решить положительно: трудно себе представить, чтобы Гуан имел две дуэли с двумя испанскими грандами и убил обоих, но почему-то боится мести семьи только одного из них и гнева короля только за одно из этих убийств. Здесь та же пушкинская лаконичность создает некоторую недоговоренность. Кроме того, всякое уточнение повело бы к дополнительной исповеди Дон Гуана в заключительной сцене с Доной Анной, которая в это время должна была бы оплакивать гибель своего девера.

If any of my kinsmen find thee here.
 ("Romeo and Juliet", act II, sc. 2)¹

Даже сцена приглашения статуи, единственная совпадающая с традицией, открывает настоящую безду между пушкинским Дон Гуаном и его прототипами. Неуместная шутка моцартовского и мольеровского Дон Жуанов, вызванная и мотивированная тем, что он прочел на памятнике оскорбительную для себя надпись², превращена Пушкиным в демоническую браваду. Вместо нелепого и традиционного приглашения статуи к себе на ужин мы видим нечто беспримерное:

Я, командор, прошу тебя прийти
 К твоей вдове³, где завтра буду я,
 И стать на стбоже в дверях.
 Что? будешь?

т.е. Гуан говорит со статуей как счастливый соперник.

Пушкин оставил своему герою репутацию безбожника, идущую от *Ateista fulminado* (героя духовной драмы, которая представлялась в церквях и монастырях).

Бессовестным, безбожным Дон Гуаном (монах)
 Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец (Дон Карлос)
 ...Я вам представлен... без совести, без веры (сам Гуан)
 Вы, говорят, безбожный развратитель (Дона Анна).

¹ Как ты пришел сюда, скажи мне, и каким путем?..
 И это место для тебя — смерть, потому что это ты,
 Если кто-либо из моих родичей найдет тебя здесь.

(“Ромео и Джульетта”, акт II, сц. 2)

² См. у Дапонте:
Dell'empio che mi trasse al passo estremo
Qui attendo la vendetta.

(«Здесь ожидаю отмщения нечестивцу, который убил меня»). Дон Жуан Дапонте (так же, как и Лепорелло) говорит статуе “вы”. Пушкинский Гуан сразу обращается к статуе на “ты”. Это не высокий стиль, а остаток их прижизненных добрых отношений. Также и с Карлосом Гуан сразу же на “ты”.

³ В черновике еще страшнее: “К жене твоей” (VII, 312).

Обвинения в атеизме были привычным аккомпанементом в жизни молодого Пушкина.

Зато другую характерную черту всех Дон Жуанов — странствия — Пушкин совершенно изгнал из своей трагедии. Вспомним хотя бы Дон Жуана Моцарта и знаменитую арию Лепорелло — каталог побед (в Италии — 641, в Германии — 231, сто во Франции, 91 в Турции, а вот в Испании — так тысяча и три). Пушкинский гранд ведет (кроме, разумеется, своей ссылки) совершенно оседлый столичный образ жизни в Мадриде, где его могут узнать каждая “Гитана (было: цыганка) или пьяный музыкант” (VII, 137)¹.

3

Пушкинский Дон Гуан не делает и не говорит ничего такого, чего бы не сделал и не сказал современник Пушкина, кроме необходимого для сохранения испанского местного колорита (“вынесу его под епанчою И положу на перекрестке” VII, 151). Точно так же поступает Дальти, герой “Portia” Мюссе, с труппом соперника, которого и находят на другой день “le front sur le pavé” (“лицом на мостовой”).

Гости Лауры (очевидно, мадридская золотая молодежь — друзья Дон Гуана) больше похожи на членов “Зеленої лампы”, ужинающих у какой-нибудь тогдашней знаменитости, вроде Колесовой, и беседующих об искусстве, чем на знатных испанцев какого бы то ни было века. Но автор “Каменного гостя” знает, что это ему совсем не опасно. Он уверен, что коротким описанием ночи он создаст яркое и навеки неизгладимое опущение того, что это Испания, Мадрид, юг:

Приди — открой балкон. Как небо тихо;
 Недвижим теплый воздух — ночь лимоном

¹ “Пьяный музыкант” потому, что музыкантов нанимали заказчики серенад, а затем было принято поить музыкантов (см. “Le Diable boiteux” Лесажа).

И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной...

Гуан ревнится с Лаурой, как любой петербургский повеса с актрисой, меланхолично вспоминает погубленную им Инесу, хвалит суровый дух убитого им Командора и соблазняет Дону Анну по всем правилам "адольфовской" светской стратегии. Однако затем случается нечто таинственное и до конца не осмыслившееся. Последнее восклицание Дон Гуана, когда о притворстве не могло быть и речи:

Я гибну – кончено – о Дона Анна!

убеждает нас, что он действительно переродился во время свидания с Доною Анной и вся трагедия в том и заключается, что в этот миг он любил и был счастлив, а вместо спасения, на шаг от которого он находился, пришла гибель. Заметим еще одну подробность: "Брось ее", – говорит статуя. Значит, Гуан кинулся к Доно Анне, значит, он только ее и видит в этот страшный миг.

В самом деле, ведь если бы Дон Гуана убил Дон Карлос, никакой трагедии бы не было, а было бы нечто вроде "Les Martrons du feu" Мицсе, которыми Пушкин так восхищался в 1830 году за отсутствие нравоучения и где донжуановский герой ("Mais c'est du don Juan") гибнет случайно и бессмысленно. Пушкинский Дон Гуан гибнет не случайно и не бессмысленно. Статуя Командора – символ возмездия, но если бы еще на кладбище она увлекла с собой Дон Гуана, то тоже еще не было бы трагедии, а скорее театр ужасов или l'Ateista fulminado средневековой мистерии. Гуан не боится смерти. Мы видим, что он нисколько не испугался шпаги Дона Карлоса и даже не подумал о своей возможной гибели. Потому-то Пушкину и нужен поединок с Доном Карлосом, чтобы показать Гуана в деле. Совсем не таким мы видим его в финале трагедии. И вопрос вовсе не в том, что статуя – потустороннее явление: кивок в сцене на кладбище тоже потустороннее явление, на которое, однако, Дон Гуан не обращает должного внимания. Гуан не смерти и не

посмертной кары испугался, а потеря счастья. Оттого-то его последнее слово: "о Дона Анна!" И Пушкин ставит его в то единственное (по Пушкину) положение, когда гибель ужасает его героя. И вдруг мы узнаем в этом нечто очень хорошо нам известное. Пушкин сам дает мотивированное и исчерпывающее объяснение связки трагедии. "Каменный гость" помечен 4 ноября 1830 года, а в середине октября Пушкин написал "Выстрел", автобиографичность которого никто не оспаривает. Герой "Выстрела" Сильвио говорит: "Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем... Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!" (VIII, 1, 70).

Из этого можно заключить, что Пушкин считал гибель только тогда страшной, когда есть счастье. То же говорит Гуан на вопрос Доны Анны – "И любите давно уж вы меня?":

Давно или недавно, сам не знаю,
Но с той поры лишь только знаю цену
Мгновенной жизни, только с той поры
И понял я, что значит слово Счастье –

т.е. с тех пор, как он счастлив, он узнал цену мгновенной жизни. И в "Выстреле", и в "Каменном госте" при расплате присутствует любимая женщина, что противоречит донжуановской традиции. У Моцарта, например, там находится только буффонящий Лепорелло, у Мольера – Сганарель.

В то время (1830) проблема счастья очень волновала Пушкина: "В вопросе счастья я атеист; я не верую в него", – пишет он П.А. Осиповой на другой день по окончании "Каменного гостя" (XIV, 123; подлинник по-французски); "Чорт меня догадал бредить о счасти, как будто я для него создан" – Плетневу (XIV, 110); "Ах, что за проклятая штука счастье!" – Вяземской (XIV, 110; подлинник по-французски). Легко привести еще ряд подобных цитат и можно даже, ри-

скуя показаться парадоксальным, сказать, что Пушкин так же боялся счастья, как другие боятся горя. И насколько он всегда был готов ко всяким огорчениям, настолько же он трепетал перед счастьем, т.е., разумеется, перед перспективой потери счастья.

4

Однако это еще не все. Кроме аналогий с автобиографическим "Выстрелом", необходимо привести цитаты из переписки Пушкина. Первая – из письма к будущей теще, Н.И. Гончаровой (5 апреля 1830 года): "Заблуждения моей ранней молодости представились моему воображению; они были слишком тяжки и сами по себе, а клевета их еще усилила; молва о них, к несчастию, широко распространилась" (XIV, 75–76; подлинник по-французски). Как это близко к признанию Дон Гуана:

Молва, быть может, не совсем неправа,
На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет... Так, разврата
Я долго был покорный ученик...

А также: "Бедная! Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой *безнравственный*" (VIII, 1, 408; автобиографический отрывок, 13 мая 1830 года). Здесь "безнравственный" – конечно, смягчение "развратный". А это как раз передает голос молвы.

В тот же год Пушкин говорит то же самое в не напечатанном при жизни стихотворении "Когда в объятия мои...":

Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья...
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей...

В этом стихотворении подразумеваются все реплики Донны Анны. Только что женившийся Пушкин пишет Плетневу: "Я... счастлив... Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился" (XIV, 154–155); ср. с "Каменным гостем":

Мне кажется, я весь переродился.

Про Командора Гуан говорит: "Вкусил он *райское блаженство!*" (VII, 164); ср. с письмом к А.П. Керн: "Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая" (XIII, 208; подлинник по-французски).

В "Онегине" Пушкин обещает, что когда будет описывать любовные объяснения, то вспомнит

...речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык...

Сходство этих цитат говорит не столько об автобиографичности "Каменного гостя", сколько о лирическом начале этой трагедии.

5

Если "Скупого рыцаря" Пушкин не печатал шесть лет, боясь, как тогда говорили, "применений", то что же подумать о "Каменном госте", которого он вовсе не напечатал (в скобках замечу, что "Пир во время чумы" был напечатан в 1832 году, т.е. почти сразу по написании – и не потому ли, что "Пир" – простой перевод). Как бы то ни было, "Каменный гость" – единственная из "Маленьких трагедий", не напечатанная при жизни Пушкина. Действительно, можно легко себе представить, что то, что мы теперь раскапываем с превеликими трудностями, для самого Пушки-

на плавало на поверхности. Он вложил в “Каменного гостя” слишком много самого себя и относился к нему, как к некоторым своим лирическим стихотворениям, которые оставались в рукописи независимо от их качества. Пушкин в зрелый свой период был вовсе не склонен обнажать “раны своей совести” перед миром (на что, в какой-то степени, обречен каждый лирический поэт)¹, и я полагаю, что “Каменный гость” не был напечатан потому же, почему современники Пушкина при его жизни не прочли окончания “Воспоминания”, “Нет, я не дорожу...” и “Когда в объятия мои...”, а не потому, почему остался в рукописи “Медный всадник”.

Кроме всех приведенных мною сопоставлений, лирическое начало “Каменного гостя” устанавливается связью, с одной стороны, с “Выстрелом” (проблема счастья), с другой — с “Русалкой”, которая вкратце (как и подобает предыстории) рассказана в воспоминаниях Гуана об Инезе. Свидания Гуана с Инезой происходили на кладбище Антониева монастыря (что явствует из черновика):

Постойте: вот Антоньев монастырь —
А это монастырское кладбище...
О, помню все. Езжали вы сюда...

Гуан так же, как князь в “Русалке”, узнает место, вспоминает погубленную им женщину. И там и тут это дочь мельника. И Гуан не случайно говорит своему слуге: “Ступай же ты в деревню, знаешь, в ту, Где мельница” (VII, 309). Затем он называет это место проклятой *вентой*. Окончательная редакция стихов отчасти стерла это сходство, но теперь, когда черновики разобраны, для нас нет сомнения, что трагедия Пушкина начинается с глухого упоминания о преступлении героя, которого рок приводит на то самое мес-

¹ Несмотря на это, тема язвленной совести возникает в лирике Пушкина в конце 20-х годов: грандиозное “Воспоминание” (1828) и написанная через несколько дней “Грузинская песня” (“Не пой, красавица, при мне...”), где “роковой” образ “далекой бедной девы” напоминает бедную Инезу.

то, где это преступление было совершено и где он соверша-
ет новое преступление. Этим предрешено всё, и призрак
бедной Инезы играет в “Каменном госте” гораздо большую
роль, чем это было принято думать.

6

Всё сказанное выше относится к донжуановской линии трагедии “Каменный гость”. Но в этой вещи есть, очевидно, и другая линия — линия Командора. Здесь у Пушкина тоже полный разрыв с традицией. У Моцарта — Дапонте Дон Жуан так не хочет вспоминать о Командоре, что когда Лепорелло просит разрешения что-то сказать, его хозяин отвечает: “Хорошо, если ты не будешь говорить о Командоре”.

А пушкинский герой сам почти непрерывно говорит о Командоре.

Но что всего существеннее, так это то, что и в легенде, и во всех ее литературных обработках статуя является усовещивать Жуана, чтобы он раскаялся в грехах. В трагедии Пушкина это бы не имело смысла, потому что Гуан без всякого принуждения сам только что покаялся:

Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колена преклоняю.

Командор приходит в момент “холодного, мирного” поцелуя, чтобы отнять у Гуана свою жену. Везде у других авторов Командор — ветхий старик, оскорбленный отец. У Пушкина он ревнивый муж (“А я слыхал, покойник был ревнивец. Он Дону Анну взаперти держал”; VII, 307–308) и ни из чего не следует, что он старик. Гуан говорит:

Не мучьте сердце
Мне, Дона Анна, страстным поминаньем
Супруга —

на что Дона Анна возражает: "Так вы ревнивы" (VII, 163).

Мы имеем все основания рассматривать Командора как одно из действующих лиц трагедии "Каменный гость". У него есть биография, характер, он действует. Мы даже знаем его внешность: он "мал был, худощав" (VII, 310). Он женился на не любившей его красавице и сумел своей любовью заслужить ее расположение и благодарность. Из всего этого нет ни слова в донжуановской традиции. С первой минуты мысль о его ревности приходит в голову Дон Гуану (в черновике — даже когда он еще не знает Дону Анну); и тогда-то Лепорелло и говорит о своем господине: "Над гробом мужа... Бессовестный; не сдобровать ему!" (VII, 308, 309).

И пушкинский Командор больше похож на "разгневанного ревнича" юношеского стихотворения Пушкина "К молодой вдове", где мертвый муж чудится неверной его памяти вдове (и где покойник тоже называется счастливцем, как в "Каменном госте"), чем на загробное виденье, призывающее героя отречься от нечестивой жизни.

Темы загробной ревности касается Пушкин в седьмой главе "Онегина" в связи с могилой Ленского и изменой Ольги:

Смутился ли, певец унылый,
Измены вестью роковой...

По крайней мере, из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень.
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых —

как бы разочарованно говорит Пушкин и ищет сюжет, где бы разгневанная и ревнующая тень могла явиться. Для этого он изменяет сюжет Дон Гуана и делает Командора не отцом Доны Анны, а ее мужем.

Трогательная невеста-вдова Ксения Годунова, плачущая над портретом мертвого жениха, которого она никогда в жизни не видела, говорит: "я и мертвому буду ему верна" (VII, 42).

Знаменитая отповедь Татьяны:

Но я другому отдана;
Я буду век ему верна —

только бледное отражение того, что утверждают Ксения Годунова и Дона Анна ("Вдова должна и гробу быть верна"; VII, 164).

Но что всего удивительнее, это то, что в цитированном выше письме к матери Н.Н. Гончаровой от 5 апреля 1830 года Пушкин пишет: "Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, — эта мысль для меня — ад". И еще разительнее: "...если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца" (XIV, 76; подлинник по-французски)¹. Ср. в "Каменном госте":

Нет, мать моя
Велела мне дать руку Дон Альвару —

и дальше вся ситуация — как в письме, так и в трагедии.

Итак, в трагедии "Каменный гость" Пушкин карает самого себя — молодого, беспечного и грешного, а тема загробной ревности (т.е. боязни ее) звучит так же громко, как и тема возмездия.

Так, внимательный анализ "Каменного гостя" приводит нас к твердому убеждению, что за внешне заимствованными именами и положениями мы, в сущности, имеем не про-

¹ Напомним, что это письмо Пушкин написал сразу после получения согласия родителей невесты на его брак с Н.Н. Гончаровой, когда эти слова звучали, по крайней мере, неожиданно. Ими Пушкин совершенно точно предсказал свою судьбу: он, действительно, умер из-за Наталии Николаевны и оставил ее молодой, блестательной вдовой, свободной выбирать нового мужа.

сто новую обработку мировой легенды о Дон Жуане, а глубоко личное, самобытное произведение Пушкина, основная черта которого определяется не сюжетом легенды, а собственными лирическими переживаниями Пушкина, неразрывно связанными с его жизненным опытом.

Перед нами — драматическое воплощение внутренней личности Пушкина, художественное обнаружение того, что мучило и увлекало поэта. В отличие от Байрона, который (по оценке Пушкина) “бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя” (XI, 51), Пушкин, исходя из личного опыта, создает законченные и объективные характеристики: он не замыкается от мира, а идет к миру.

Вот почему самопризнания в его произведениях так незаметны и обнаружить их можно лишь в результате тщательного анализа. Откликаясь “на каждый звук”, Пушкин вобрал в себя опыт всего своего поколения. Это лирическое богатство Пушкина позволило ему избежать той ошибки, которую он заметил в драматургии Байрона, раздавшего “по одной из составных частей” своего характера своим персонажам и, таким образом, раздробившего свое создание “на несколько лиц мелких и незначительных” (XI, 51).

1947

<Фрагменты>

Головокружительная краткость, о которой я говорила в начале этой статьи, очень характерна для Пушкина. В 1829 году (“Роман в письмах”) он писал: “...Я и в Вальтер Скотте находжу лишние страницы”. Это стремление к краткости очень сильно сказалось и в “Маленьких трагедиях”, в частности, в “Каменном госте”¹. Эта маленькая трагедия подразумевает очень большую предысторию, которая, благодаря чудесному умению автора, умещается в нескольких стро-

ках, там и сям вкрапленных в текст. Этот прием в русской литературе великолепно и неповторимо развил Достоевский в своих романах-трагедиях: в сущности, читателю-читателю предлагается присутствовать только при развязке. Таковы “Бесы”, “Идиот” и даже “Братья Карамазовы”. Все уже случилось где-то там, за границами данного произведения: любовь, ненависть, предательство, дружба. Таков же и “Каменный гость” Пушкина: буйная столичная жизнь молодого гранда, его трагический роман с мельничихой, ссылка и продолжение любовных похождений в стране, где “небо... точный дым”, вся биография Донны Анны, ее великолепное испанское вдовство, своей суровостью изумляющее даже монаха, и т.д.

И не случайно, конечно, появляются “лавры и лимоны” “Дядюшкиного сна” при описании пародийной Испании в самом начале творческого пути Достоевского, а в своей предсмертной (1880) речи о Пушкине Достоевский называет “Каменного гостя” как образец и доказательство всемирности Пушкина и как одно из величайших произведений.

В какой-то мере все первые персонажи маленьких трагедий Пушкина чем-то похожи друг на друга. Гуан, Моцарт и Альберт — это один и тот же человек в разных костюмах и в разных положениях. Они веселы, добры, беспечны, благородны... но Моцарт, кроме того, одарен несравненным талантом.

На примере того, как Пушкин изображает Дону Анну, можно еще раз изумиться, с каким искусством он отделяет свое

¹ В сущности, в “Каменном госте” трагедия начинается, когда падает занавес, так же как в “Моцарте и Сальери” сомнений Сальери, имел ли он право убить Моцарта (гений и злодейство) или

не был

Убийцею создатель Ватикана?

До тех пор Сальери совершенно уверен в своей правоте, и никакой трагедии нет.

(30 июля 1958 г.)

к ней отношение (авторский голос)¹ от отношения к ней Дон Гуана, что, казалось бы, в этом жанре почти невозможно. Для Дон Гуана – Дона Анна ангел² и спасение, для Пушкина – это очень кокетливая, любопытная, малодушная женщина и ханжа. №. Типичная католическая “девотка” под стать Каролине Собаньской:

О Дон Гуан, как сердцем я слаба.

Пушкин не прощает ей посмертной измены Командору, который был безупречен по отношению к ней и даже

Не принял бы к себе влюбленной дамы
Когда б он овдовел.

(Снова та же тема.)

Мы даже не знаем ее судьбу – умерла она или упала в обморок, это совершенно неважно, ведь это не Татьяна, не Русалка, которых надо возвеличить, а нечто вроде Ольги Лариной.

Насколько она противна автору, явствует из сравнения тона, каким он говорит о двух других женщинах. От Лауры автор в восторге – ей все разрешено, вплоть до любовного свидания при трупе убитого из-за нее Дона Карлоса: так и кажется, что автор сам готов тешить ее серенадами и убивать соперников на перекрестках. Она – в сиянии

¹ Авторский голос я слышу в данном случае скорее всего в реплике Лепорелло:

О вдовы, все вы таковы.

² ...И мнится...
Гробницу эту ангел посетил...

По этому поводу надо заметить следующее. Едва ли черноволосая женщина, с ног до головы укутанныя в траурные вуали, похожа на ангела, который всегда должен быть белым, светлым, лучезарным. Предлагаю такую разгадку. В английском “Пире” (“The City of the Plague”) центральная героиня, отсутствующая в пушкинском “Пире”, – Магдалена, – всегда в белом платье, о чем до назойливости часто говорит автор. И когда она на могиле – ее сравнивают с ангелом:

Ты на коленях, в белом, – вся как дух... (стр. 44)
Ты на коленях ангелу подобна.

Ты молишься – и даже я надеюсь... (стр. 45).

“Вы черные волосы на мрамор бледный” – ср. “Дон Жуан” Байрона о султанше в V песне.

бессмертного искусства. Это – юность Пушкина, это – музыка.

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает...

Она – “милый демон”. (Замечу вскользь, что Демон – было прозвище Собаньской, и так называл ее Пушкин в письме от 2 февр. 1830.)

Еще замечательнее отношение автора к Инезе (по донжуанской традиции Церлина – крестьяночка лукавая и простоватая, невеста такого же простачка Мазетто), и хотя Гуан говорит о ней вскользь, всего один раз, и как бы случайно, и как бы только в связи с местом, на котором неожиданно оказался, то есть чуть ли не на ее могиле – какие слезы отчаяния и раскаяния проливает над ней автор:

Муж у нее был негодяй суровый,
Узнал я поздно... Бедная Инеза!..

И таких глаз он, Гуан, уже не видел никогда больше в жизни. И от нее расходятся стрелки ко всем покаянным стихам Пушкина (“Черты далекой бедной девы”, “Русалка”) (см. статью Берковского.)

Еще одно могло попасть в “Каменного гостя” из “Города Чумы”. Кто-то говорит о прячущем свое лицо Незнакомце (стр. 158) – преступнике:

В тряпье до глаз и в шляпе до бровей
Широкополой...

Ср. в “Каменном госте” о скрывающемся Дон Гуане:

Усы плащом закрыв, а брови шляпой...
Испанский гранд, как вор...

Очевидно, получив согласие родителей невесты на брак, Пушкин понял, что попал в совершенно безвыходное положение. При этом мы вправе ждать стихов от лирического поэта на так мучившую его тему. Однако таких стихов нет¹.

Зато к вопросу о счаствии при самых невероятных обстоятельствах, когда уже ни на что ни рассчитывать, ни надеяться нельзя, Пушкин подходит в другом жанре – в прозаической повести. Этим, по моему твердому убеждению, объясняются все happy end'ы или, вернее, "игрушечные развязки" "Повестей Белкина".

Созданные в дни горчайших размышлений и колебаний², они представляют собою удивительный психологический памятник. Автор словно подсказывает судьбе, как спасти его, поясняя, что нет безвыходных положений, и пусть будет счастье, когда его не может быть, вот как у него самого, когда он задумал жениться на 17-летней красавице, которая его не любит и едва ли полюбит. Об этом Пушкин прямо написал несколько раньше (12 мая 1830): "Я никогда не хлопотал о счаствии, я мог обойтись без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его". Автобиографичность этого отрывка ("Участь моя решена...") Пушкин заду-

¹ Кроме элегии: "Безумных лет...", где счастливый жених пишет 8 сект. (1830):

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море, –

только в конце смеется надеяться, что

И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

² Кроме того, сравнительно недавно напечатанные письма кн. П.А. Вяземского к жене сообщают довольно неожиданные подробности пушкинского сватовства 1830 г. Князь очень долго не верит слухам об этом событии и, наконец уверившись, восклицает: "Как можно, любя одну женщину, свататься к другой". Княгиня Вера, вероятно, должна была понять, кого подразумевает ее муж под первой женщиной. Но мы очень далеки от этого понимания. Привожу эту (еще не вошедшую в обиход) цитату только для того, чтобы показать, как сложна была психологическая обстановка 1830 г. и как неизбежно Пушкин должен был, создавая своего Гуана, обращаться к собственной биографии.

1957, ноябрь. Москва

мал скрыть под заголовком "С французского", но, по всей вероятности, тут же отказался от этой мысли¹.

Автор поэм со страшными и кровавыми развязками ("Цыганы", "Полтава") и якобы жизнерадостного романа ("Евгений Онегин"), где герой и героиня остаются с непоправимо растерзанными сердцами, внезапно с необычным тщанием занимается спасением всех героев "Повестей Белкина".

Тут же я должна оговориться. Образ обиженного "маленького человека" – родональника стольких несчастных героев, трогательного и величественного в своем горе, не должен все же заставить нас забыть о "благополучной развязке" повести "Станционный смотритель". К тому же сам Вырин погибает именно потому, что он не верит в возможность этой счастливой развязки.

Счастливые концы вовсе не характерны для прозы Пушкина. Нет ничего более траурно-мрачного и фатально-торжественного, чем развязка "Пиковой дамы"² (сумасшедший дом Германна, немилый брак Лизы и будущая мученица – девочка-воспитанница). Итак, дело не в прозе, а в том, как глубоко Пушкин запрятал свое томление по счастью, своеобразное заклинание судьбы, и в этом кроется мысль: так люди не найдут, не будут обсуждать, что невыносимо (см. "Ответ анониму"). Спрятать в ящик с двойным, нет, с тройным дном: 1) А.П. 2) Белкин. 3) Один из повествователей. Так вернее. И пусть это будет тихая нестилизованная провинция, которую всегда так любил и так хорошо знал Пушкин. Тихая пристань!

И пусть это будет совсем как в жизни (проблема правдоподобия). Все детали, которые он выписывает с необычайным старанием и сопатоме (вплоть до полосатого бланманже. "Барышня-крестьянка"), должны убедить читателя, что иначе и быть не может, что все это в высокой степени достоверно. От этого, естественно, возникает забота о языке:

¹ Отрывок "Участь моя решена..." был напечатан только после смерти Пушкина.

² Еще ужаснее сюжет "Марки Шонинг", который Пушкин до конца записывает по-французски (1834). Там публичная казнь героини, обвиненной в детоубийстве.

говор девичьей ("Барышня-крестьянка"), почтовой станции ("Станционный смотритель"), мещан-ремесленников ("Гробовщик"), захолустных офицеров ("Выстрел"), мелких помещиков ("Метель"), — при этом изысканные эпиграфы — Жуковский, Вяземский, Фонвизин, Марлинский, Державин — все русские...

Пушкин, наверно, не хуже нас знал, как кончилась любовь барчука к крепостной девке (Ольга Калашникова), знал, что Дуня, несомненно, должна была мести мостовую "с голью кабацкой" (полицейское наказание проституток) и что героине "Метели", обвенчанной неведомо с кем, предстояло влечь одинокие дни.

Простейший случай ("Гробовщик"), когда все ужасы оказывались сном.

Несколько выбивается "Выстрел", где развязка псевдоблагополучная, потому что Пушкин приводит к ней своего героя через страх и срам, но почему он так поступает — объяснено до конца выше сравнением со стихами "Каменного гостя", в которых совершенно совпадает взгляд на ценность жизни.

1957. Весна. Москва

* * *

K статье

"И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать
Но ближе к милому пределу..."

Пушкин всегда на стороне слабого. Женщина слабая — он за нее (Русалка, Татьяна, Дуня, Марья Ив^{ановна}).

Но как он понимает этих слабых.

Дуня, [про] для кот^{орой} родной отец не видел иного будущего, кроме метания мостовой с "голью кабацкой" (т.е. проституции) — важная дама, небогатая провинциальная

дворяночка Татьяна — царица петерб^{ургского} салона, мельничиха — днепровское божество. Поэт щедрыми руками (и золотыми стихами) одаряет обиженных людьми.

Но есть у П^{ушки}на и другие женщины — они еле намечены — они улыбаются нам с выброшенных строф "Онегина". (Цитата.) Их прообраз Клеопатра, к которой поэт подходил три раза (годы).

В заключение

А то, что в "Каменном госте" Пушкин как бы делит себя между Командором и Гуаном, [это] явление совсем другого порядка, что, как я надеюсь, доказано в этой статье.

Заключение

"Каменный гость" важен еще тем, что он показывает Пушкина, родоначальника великой русской литературы XIX века, как моралиста. Это — столбовая дорога русской литературы, по которой шли и Толстой, и Достоевский. "Нет правды на земле!" — Дона Анна свободна выбрать нового мужа, Командор не отомщен, брошенная девушка утопилась ("Русалка"), героиня "Метели" обречена осться одинокой, убежавшая с гвардейцем дочь станционного смотрителя стала проституткой. Нет, нет, нет! Пушкин бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя к ногам дочери мельника. У Пушкина женщина всегда права — слабый всегда прав. Пушкин видит и знает, что делается вокруг, — он не хочет этого. Он не согласен, он протестует — и борется всеми доступными ему средствами со страшной неправдой. Он требует высшей и единственной Правды. И тут Пушкин выступает (пора уже произнести это слово) как моралист, достигая своих целей не прямым морализированием в лоб, с которым, как мы только что доказали, Пушкин вел непримириимую войну, а средствами искусства.

* * *

С другой стороны, моя работа помогает установить до сих пор не уловленные комплексы Пушкина: боязнь счастья, то есть потери его (то есть неслыханного жизнелюбия), и загробной ревности = загробной верности (примеры: Ленский, Командор, Ксения Годунова, Дона Анна).

Однако гораздо существеннее всего этого, что после работы Берковского оказывается, что мы (совершенно независимо друг от друга) каким-то образом и различными методами пришли к сходному выводу. Так можно решить задачу и арифметическим, и алгебраическим способом. То, что говорит Берковский о "Русалке", я говорю о "Каменном госте". (И еще, как я знаю, это можно и должно сказать о "Повестях Белкина".) Корень, очевидно, в жадной и неистребимой жажде Пушкина *Истины* (справедливости) самой высокой и самой сокровенной. Поэтому он отдает князя во власть погубленной им девушки, Дон Гуана во власть убитого им Командора. И так как ни то, ни другое не может случиться естественным образом, то в первом случае он пользуется фольклором, во втором легендой о <El> Burlador <de> Sevilla, и "бедная Инеза" оказывается мостиком, связавшим оба эти произведения, и дело не в том, что она дочь или жена мельника (мельница могла быть и ветряной из Дон Кихота <...>).

Строго говоря, Пушкин в "Каменном госте" сделал для своего героя то же, что Гёте сделал для народного мифа – "Фауст" и Байрон для своего Фауста – "Манфреда". Во всех трех случаях "миф" (комплекс моральных черт) получает некую реальную биографию, кроме контрастного слуги, который находится во всех мидах.

Байрон совершенно явственно приближает Манфреда к своему постоянному герою, т.е. к себе (напр., воспоминание об Астарте).

Полагаю, что и Гёте уступил своему герою большую часть своей души и биографии (напр., всю линию Гретхен, естественно отсутствующую в мифе, где Фауст просто развратник и некромант, любовник призрака Елены Троянской).

Мог ли Лессинг, заставляя своего Фауста выбирать из семи бесов самого "скоростного", думать, что примерно через 150 лет скорость станет идолом человечества. Очевидно, она ею всегда была (см. миф о Фаусте, его постоянные полеты и мгновенные возвращения).

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

(8-я глава "Онегина")

...Среди произведений Пушкина, осуществленных осенью 1830 года в Болдине, почетное место занимает 8-я (последняя) глава романа "Евгений Онегин". Написана она в сентябре (окончена 25-го). Первоначальный замысел начальных строф был ранее иной, они были замышлены как своеобразная автобиография. Довольно подробно излагалось лицейское детство и начало юности поэта, зарождение поэтического дара¹ и затем об отношениях с другими поэтами. На первый взгляд кажется, что это может быть подражанием знаменитому посланию Попа к доктору Арбутноту, которого Пушкин не мог не знать по переводу Дмитриева, где встречается строка.

В отважном мальчике грядущего поэта².

Строка эта замечательна тем, что ею обозначили Вяземский и Ал. Тургенев (см. Остафьевский архив) отношение Карамзина к самому Пушкину на заре его поэтической деятельности. Ср. также "И Дмитрев не был наш хулиитель" (Пушкин) с Попом — Дмитриевым:

¹ Здесь о воспоминаниях лицейского детства и юности — отсюда стрелка к стихотворению "Пак".

² "Послание от Английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту", сочинения Дмитриева, 1823. Одной мысли, что его могут назвать подражателем Дмитриева, к которому Пушкин относился весьма иронически, было достаточно, чтобы отбросить строки о поэтах. И Пушкин круто оборвал на Державине.

Конгрев меня хвалил, *Свифт не был мой хулиитель*;
И Болингброк, сей муж, достойный вечных хвал,
Друг старца Драйдена, с восторгом обнимал
В отважном мальчике грядущего поэта.

(*"Послание от Английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту"*)

У Пушкина все довольно близко к тому тексту, но дело в том, что классик Поп, в свою очередь, заимствовал этот кусок у Овидия, из знаменитейшей элегии (кн. IV, элегия X), которую так и называют автобиографией Овидия, изучение которой входило в курс всех классических учебных заведений, в частности Лицея. Что Пушкин восходит к Овидию (хотя он не мог не знать и Попа — Дмитриева), доказывается тем, что он после и перед поэтами рассказывает о том, как стал воспевать свою возлюбленную, и <нрзб.> между тем Поп рассказывает, как он сначала писал невинные идиyllии:

Цветочки, ручеек, журчащий средь долины,
Обидны ли кому столь милые картины...

Но еще убедительнее то, что в пушкинском тексте находится еще никем не отмеченная цитата из Овидия:

И стриг над губой первый пух...

4 февраля 1959
Ленинград

* * *

...Известно, как любил сосланный в Бессарабию Пушкин уподоблять свою судьбу судьбе Овидия (цитата) <Как ты, враждующей покорствуя судьбе, Не славой, участью я ранен был тебе. Здесь, лирой северной пустыни оглашая. Скитался... "К Овидию", 1821>, как группировал вокруг этого имени политические иносказания ("Август смотрит сентябрем"), как о нем, одном из античных поэтов, пишет в

своих исторических записках. Но одна подробность ускользнула от внимания исследователей.

В отброшенной автобиографии 8-й главы "Онегина" Пушкина есть почти дословная цитата из Овидия. У Овидия она находится в той же X элегии. Сразу после перечисления поэтов (Горация, Вергилия и др.) Овидий рассказывает, что, когда он впервые публично читал свои стихи, он едва ли дважды сбривал бороду:

...populo juvenalia lege
Barba reseda mihi bisque semelae fuit.

Это сопоставление, кроме того, объясняет, что Пушкин хотел сказать следующими стихами:

*Когда в забвеньи перед классом
Порой терял и взор и слух
И говорить старался басом
И стриг над губой первый пух...*¹

Вслед за этими стихами Овидий повествует, что он начал воспевать Делию, а Пушкин – безымянную деву.

От всего этого у Пушкина в окончательном тексте осталась только "Старик Державин..." и в "Путешествии Онегина" воспоминание о том, что Вл. Ф. Раевский когда-то назвал его, Пушкина, – певцом Кавказа². К этому же ряду hommage ей (дань уважения) товарищам-поэтам относится и стих

Там пел Мицкевич вдохновенный...

Там – (в Крыму) в Тавриде. Пушкин имеет в виду знаменитые "Крымские сонеты" Мицкевича, посвященные Д.Д.,

¹ То, что в Риме бритье бороды имело религиозный характер, не имеет в данном случае никакого значения. № "Паж" – 7 октября:

...уж над губой
Могу свой ус я защипнуть...

² И зрел я, слабый твой певец,
Казбека царственный венец.

(“Путешествие Онегина”, варианты XII строфы)

Тебе сей лавр, певцу Кавказа
(В.Ф. Раевский – Пушкину)

т.е. Каролине Собаньской, в которую Пушкин был влюблен в зиму 29–30 года, т.е. во время создания "Путешествия Онегина".

Однако в "Путешествии Онегина", вероятно как hommage мэтрам, есть и державинская строка (о Кавказе), и дмитриевская (о Волге), и карамзинские "грозные Иоанны".

Свою биографию Пушкин рассказывает через разные образы музы, которую он приводит наконец на петербургский раут.

Биографическая часть кончена – начинается повествование. Появляется Онегин.

Следует сатирическое описание света¹. Байроновский прием: "There was..." и "There were..." – "Тут был...", "Тут были...". Это итоги трех петербургских сезонов 27–28, 28–29, 29–30 годов (до 4 марта ст. стиля).

* * *

Главу эту писал Пушкин (1830 г.) – жених Наталии Николаевны Гончаровой. Оттуда мы узнаем, что блажен тот, кто

...в тридцать выгодно женат,

но беда тому, кто похож на целый ряд "отрицательных" героев, и в частности на белокурого мизантропа, то есть "Адольфа" Констана. Связь произведения Пушкина с этим романом Бенжамена Констана давно привлекала внимание исследователей (Дашкевич). Ей посвящена и моя работа 1936 года ("Пушкинский временник", № 1). Сейчас нам предстоит обратиться к ней с совершенно неожиданной стороны. Дело в том, что 2 февраля 1830 года в Петербурге Пушкин написал *единственное* дошедшее до нас любовное письмо. Долгое время почти не поддающийся расшифровке черновик считался наброском к какому-то произведению Пушкина. Однако вскоре после того, как Т.Г. Зенгер (Цяв-

¹ Свет фигурирует дважды с разных точек зрения: 1) То, что я называю "Раут у Д. Фикельмон" (весьма почтительно). 2) Бал у Татьяны (сатирически – "There were").

ловская) прочла это письмо и установила, что оно обращено к Каролине Собаньской, всплыл целый ряд документов: письмо Пушкина к А.Н. Раевскому 15–22 окт. 1823 г., Одесса, где он пишет, что влюблен в Собаньскую; воспоминания друга Мицкевича о том, как в 28 г. оба поэта-соперника бывали у Каролины; альбом Собаньской, куда на ее просьбу написать свое имя Пушкин вписал 5 января 1830 г. стихотворение: “Что в имени тебе моем?”, и, наконец, записка самой дамы, на которую Пушкин и ответил этим невероятным письмом. И что же? – обращаясь к Собаньской, Пушкин пишет: “Chère Ellenore, permettez-moi de vous donner ce nom qui me rappelle et les lectures brûlantes de mes jeunes années et doux fantôme qui me séduisait alors, et votre propre existence si violente, si orageuse, si différente de ce qu'elle devait être”¹.

Письмо от 2 февраля 1835 г. в эпистолярном наследии Пушкина – единственное в своем роде. Письма к невесте рассчитаны на то, что их будет читать Наталья Ивановна, письма к Керн какие-то слишком галантные, довольно дерзкие и свидетельствуют главным образом о полном отсутствии уважения к адресатке. Остальные дамы, очевидно, уничтожили письма Пушкина.

Упоминание об “Адольфе” в письме от 2 февраля весьма многозначительно. Им Собаньская-Элленора отсылается к тексту романа, где может узнать все, что испытывает автор письма, как он мечется, тоскует, в каком он отчаянии. И все это затем из “Адольфа” переносится в VIII гл. “Онегина”.

Пушкин делает это, не повредив нигде священный для него образ Татьяны (“мой верный идеал”). В одном лишь месте, по моему разумению, образовалась крошечная трещинка. Едва ли нужно и можно сказать Татьяне:

Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

¹ “Дорогая Элленора (имя героини “Адольфа”), позвольте мне называть вас этим именем, напоминающим мне и жгучие чтения моих юных лет, и нежный призрак, прельщавший меня тогда, и ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно было быть” (*ф.р.*).

Это, конечно, из письма от 2-го февраля: “Il y a en vous une ironie, une malice...”, “un être... malfaisant” – “в вас есть ирония, лукавство...”, “зловредное существо” – это уже совершенно оглушительно в любовном письме. А у Татьяны этого не было (“Vous êtes le démon”¹ Пушкин – Собаньской, а Карлос в “Каменном госте” говорит Лауре: “Милый Демон”).

Судя по записочке Каролины Собаньской, которая, видимо, и вызвала это безумное пламенное послание, она (Каролина) сохраняла весьма холодный, учтивый и светский тон, и человек, прочитавший ее записку, меньше всего мог бы себе представить, что на нее будет отвечено таким образом.

* * *

“Et cependant vous êtes toujours aussi belle <...> Mais vous allez vous faner; cette beauté va pencher tout à l'heure comme une avalanche” (“А вы, между тем, по-прежнему прекрасны <...> Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина”) – из письма 2 февраля 1930 года.

Ты молода ... и будешь молода
Еще лет пять иль шесть...

(“Каменный гость”. Сцена II.
Дон Карлос – Лауре)

* * *

У Собаньской был прекрасный голос – она чудесно пела и имела прозвище – демон. Демоном называет Собаньскую и Пушкин: “Vous etes le demon”. Напомню, что Дон Карлос говорит волшебной певице Лауре – “Милый Демон!”² Обращение не такое уж банальное, как, например: “мой ангел”, как называли все всех. Надо сказать, что Дон Карлос

¹ Вы – демон (*ф.р.*).

² Здесь отчего-то Демон с большой буквы, как собственное имя (так же как в 8-й главе: “И даже Демоном моим”, т.е. Ал. Раевским), а когда Дона Анна говорит Гуану: “Вы сущий демон” – то с маленькой буквы...

и дальше повторяет то, что Пушкин пишет о красоте, которая исчезнет.

Эти три совпадения – 1) демон, 2) музыка, 3) красота, которая исчезнет (*va pencher comme une avalanche*), – позволяют нам утверждать, что и здесь Пушкин восходит к собственному опыту прошлой зимы, а возможно, и 28-го года, когда он встречался с Собаньской.

Полагаю, что цитата из альбома Шимановской здесь не совсем у места – ведь гости слушали *pénée*, а не музыку. Едва ли Лаура так ослепительно аккомпанировала себе на гитаре (и гость, к тому же, заинтересовался текстом песни: “А чьи слова?”, а не композитором...). Да и не за это ее хвалят гости (цитата) <“...Никогда с таким ты совершенством не играла, как роль свою ты верно поняла!” и т.д.>.

В письме от 2 февраля Пушкин говорит то, что мы читаем в выпущенной строфе Онегина (6-я глава, строфа XVI):

...о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным...

(Но здесь Пушкин объясняет, что обращается к мертвой.) “C'est à vous que je dois avoir connu tout ce que l'ivresse de l'amour à de plus convulsif et de plus douloureux comme tout ce qu'elle a de plus stupide” <“Вам обязан я тем, что познал всё, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и всё, что есть в нем самого ошеломляющего”>.

* * *

Не только, как указывает Зенгер, письмо Онегина совпадает с письмом от 2 февраля¹, в самой 8-й главе находятся текстуальные совпадения, которые всего больше напоминают перевод. Ключ – “в тоске безумных сожалений” (*le*

¹ <Но> именно в письме Онегина – маленькая трещинка – ирония Татьяны. Почти все это письмо (кроме сафической перевернутой <строфы> “*Heureux qui pres de toi*” <“Счастлив тот, кто подле тебя”>), представляет собой цитаты из Адольфа (см. мою статью 1936 г.).

regret). Затем – “а счастье было так возможно” в устах героини, описание Онегина, ставшего вдруг неловким, и т.д. Вообще надо сказать, что Пушкин осенью 1830 г. написал почти одновременно два произведения на тему о влюбившемся по-настоящему Дон Жуане: 1) “Каменный гость”, 2) 8-я гл. “Онегина” (в начале романа Онегин, конечно, законченный Дон Жуан).

И в том и в другом случае это ничем хорошим не кончается. Это может означать только одно. Пушкин считал себя впервые влюбленным по-настоящему. Для осуществления своей задачи Пушкин воспользовался антибайроновским героям Адольфом (три цитаты совпадают). Поэтому Гуан похож на Онегина – вернее оба они похожи на Адольфа, то есть на Пушкина. В 8-й гл. Пушкин сливаются с Онегиным (развить). Он отдает ему свои воспоминания (см. статью И.М. Семенко).

Гуан говорит: “Я счастлив, как ребенок!” Ср.: “Евгений... как дитя влюблен...”

АДОЛЬФ

Je n'espèrè rien,
je ne demande rien, je
ne veux que vous voir;
mais je dois vous voir
s'il faut que je vive...¹

ОНЕГИН

Я знаю: век уж мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижуся я...

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ

Я ничего не требую, но видеть
Вас должен я, когда уже на жизнь
Я осужден.

Адольф начинается в 8-й гл. с “белокурого сумасброда”, оставшегося в черновике. Рядом с ним фигурирует Ал. Раевский (*Satan son maître* <Его повелитель сатана> – “Демоном моим” и Мельмотом). Все это связано с Собаньской (см. одесское письмо к Ал. Раевскому). В своих письмах этого времени Пушкин почти с отчаянием долго и подробно

¹ Я ни на что не надеюсь, ни о чем не прошу, хочу только вас видеть; мне необходимо вас видеть, если я должен жить (*фр.*).

говорит о женитьбе и вдруг вспоминает, что существует не-кто... Онегин... "вновь займуся им" (тут же он словно впервые замечает, что Онегин холост: "...без жены, без дел..."). Но вместо того дает картину света — петербургские впечатления 27–30 гг. — и дальше Пушкин пишет о Татьяне: "В сей величавой, в сей небрежной" и тогда же в стихотворении "Паж": "Вечор она мне величаво" — с оттенком иронии. Вспоминается, что в 1824 г. В.Ф. Вяземская в письмах из Одессы писала мужу, что Пушкин настоящий *Керубино*, что она его так называет (и в то время он был влюблена в Собанскую). В "покаянную" болдинскую осень, вспоминая все и всех, Пушкин мог и это вспомнить (окруженный собственными стихами, которые просто кричат о его страсти). К тому же в этом стихотворении "Паж" дама, которая величаво клянется дать ему из ревности яду, названа *Варшавской* гра-финей (см. черновик), то есть попросту полькой¹.

Ничему из сказанного не противоречит, что стихотворение это близко к стихотворению Мюссе² [“L Andalouse”].

"И цвет ланит ее так темен" — "elle est jaune comme une orange" <она желта, как апельсин> (см. у Вяземского "Она желта, как померанец"). Известно, что в это время Пушкин читал Мюссе и писал о нем.

11 февраля 1959
Красная конница

* * *

В письме есть еще одно одесское воспоминание. Вот оно: "Он полон самомнения, как *его повелитель — сатана*". Ср. "Вы — мой неизменный учитель в делах нравственных". Полагаю, что Пушкин в первом случае имеет в виду не нечистую силу, а просто Александра Раевского. Очевидно (по второй цитате), Собаньская знала о демоническом влиянии Раевского на Пушкина и должна была понять, кого он имеет в

¹ В дневнике Пушкин пишет (1834 г.) о Шуваловой: "Она кокетка польская, т.е. самая неблагопристойная". Не Каролину ли вспомнил при этом Пушкин!

² Прославленному тем, что из него [sic!] светских модных красавиц называли "львица" (а не женский род от льва)!

виду под "его повелитель — сатана", так же, как в "Гаврии-лиаде".

* * *

Вяземский (5 апр. 1830 г.) пишет жене: "Собаньска умна, но слишком величава. Спроси у Пушкина, всегда ли она такова, или только со мною и для первого приема".

Не отсюда ли стих в VIII гл.:

В сей величавой...

* * *

Пушкин был у Собаньской 5 января. Это — канун Крещения. Может быть, отсюда —

У! Как теперь окружена
Крещенским холодом она!

Последний Петербург в "Онегине" может быть февральский (по-нашему мартовский). Пушкин уехал 4 марта старого стиля 1830 г.

...В воздухе нагретом
Уж разрешалася зима...

Так бывает...

* * *

Близость так несомненна, ситуация создана столь сходная, что места для сомнений не остается. Теперь понятно, почему никому это не могло прийти в голову. Сравнивать по тем временам деклассированную 37-летнюю Собаньскую — бывшую Виттову любовницу, агентку Бенкendorфа (это, впрочем, было тогда неизвестно) с законодательницей зал юной и прекрасной Татьяной — безупречной женой свитского генерала и героя Отечественной войны, да кому это придет в голову? Я и не предлагаю это делать.

* * *

Итак, в 8-й главе между Пушкиным и Онегиным можно поставить знак равенства. Пушкин (не автор романа) целиком вселяется в Онегина, мечется с ним, тоскует, вспоминает прошлое:

То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных...

Разве это не пушкинские воспоминания? Никаких презренных товарищ у пустынного Онегина мы не знаем. Ка-верин? Автор романа? В никаком кругу этот нелюдим как будто не вращался. И разве не так, на два года раньше, в 28 г., вспоминает сам Пушкин свою жизнь? См., например, "Воспоминание", где в той же тональности сказано почти то же самое:

Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Упрек жестокий и кровавый (1828), —

и уже в 1820 ("Погасло дневное светило"):

И вы забыты мной, изменницы младые, —

и в 1821 ("Мой друг, забыты мной следы минувших лет").
Пушкину для Онегина ничего не жалко — он даже отдает ему собственных "изменниц молодых".

* * *

Пушкин не только отдает Онегину свои воспоминанья (строфа XXXVII), он целую строфи (следующую) тратит на то, чтобы показать, как не могший когда-то

ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить, —

Онегин под влиянием влюблённости стал похож на поэта, то есть на него, Пушкина, или, по крайней мере, на автора, и

силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бесполковый ученик.

* * *

В черновиках и в отброшенных стихах (8-й главы) преследование, которому подвергалась дама, описано гораздо подробнее. <...> Примеры: "У художниц мод" (это пахнет действительностью, т.е. у портних); "на берегу замерзлых вод" (на набережной).

* * *

Две картины мокрой гнилой осени в 8-й главе "Онегина" было, очевидно, то, на что смотрел поэт из своего окна, когда писал эту главу:

1) Истлели быстрой чередой,
Как листья осени гнилой.

(Строфа XI)

2) Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

(Строфа XXIX)

Ср.

Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея...

("Румяный критик мой...")

* * *

Что Пушкин и в Моцарта вложил много самого себя, в этом, кажется, никто не сомневается. Позволю себе привести еще один характерный пример:

“А я и рад: мне было б жаль расстаться с моей работой”, — говорит Моцарт о своем только что законченном Requiem’е (26 октября 1830 г., Болдино). “Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи”, — говорит почти одновременно Пушкин о только что законченном “Онегине” (стих. “Труд”, 1830, Болдино).

* * *

Чем кончился “Онегин”? — Тем, что Пушкин женился. Женатый Пушкин еще мог написать письмо Онегина, но продолжать роман не мог.

Из заключения

То, что Собаньская, дожив до 80-х годов, так глухо молчала о Пушкине — *mauvais signe!* <дурной знак!> Женщина, которая еще в России собирала самые редкие и трудно находимые автографы (тюремный автограф Марии-Антуанетты, [автограф] Фридриха II...) и, очевидно, знала им цену, не сохранила безумные письма Пушкина. Как стало известно сравнительно недавно, уже в самом начале 30-х годов, она была агенткой Бенкендорфа. Очень вероятно, что и к Пушкину она была подослана, и боялась начинать вспоминать, чтобы кто-нибудь еще чего-нибудь не вспомнил. Это, как известно, сделал Вигель для одесского периода ее жизни <...>.

Трудно предположить, что существо, занимавшееся предательством друзей и доносами в середине 20-х годов и в начале 30-х, именно в зиму 1829–30 было далеко от этой деятельности. А если она находилась в связи с III отделением,

невероятно, чтобы у нее не было каких-нибудь заданий, касавшихся Пушкина. Из письма Собаньской к Бенкендорфу следует, что она писала ему до польского восстания, то есть до 1831 г. (“...à qui j’ai parlé si ouvertement *avant et pendant les horeurs qui agitaient le pays*”. <“...Которому я писала так искренно *до ужасов, волновавших страну, и во время них*”>. Значит, означенная Каролина писала Бенкендорфу в то время, когда встречалась с Пушкиным.

Заключение

Таким образом, оказывается, что осенью 1830 г. Пушкин написал два произведения с донжуанским героем (конечно, Онегин в начале романа законченный Дон Жуан), который влюбился в самом деле: одно из этих произведений — “Каменный гость”, второе — 8-я глава “Онегина”. Для обоих он воспользовался антибайроновским героем Адольфом Б. Констана в такой мере, что три цитаты из “Адольфа” в обеих вещах совпадают¹. От этого Гуан несколько (через Адольфа) похож на Онегина. И оба они, конечно, похожи на самого Пушкина, который 2 февраля 1830 г. в Петербурге написал Каролине Собаньской нечто столь близкое 8-й главе, что оно могло бы быть одним из писем Евгения, если бы там не было упоминания о Крыме, а было бы упоминание, скажем, о Ленском и еще кой-каких мелочей.

Что Онегин похож на Адольфа, написал сам Пушкин в предисловии (1825 год). Рукопись разобрана уже после выхода в свет моей статьи в 1-м № “Пушкинского временника”, 1936.

Лейтмотив и письма (к Собаньской) и 8-й главы:

В тоске безумных сожалений...

Онегин просто по письму Татьяны знает, что некогда он был любим...

¹ 1) “Я знаю: век уж мой измерен...” 2) “Печальная тайна” и 3) “Если я прежде”.

*А счастье было так возможно,
Так близко!*

Адресатка Пушкина, может быть, чтобы подразнить его, сказала ему нечто аналогичное. И он теряет голову: “Le bonheur est si peu fait pour moi que je ne l’ai pas reconnu quand il etait devant moi”. <“Счастье так мало создано для меня, что я не признал его, когда оно было передо мною”>. И дальше об угрызении (remords), в котором могло бы быть даже наслаждение, и о сожалении (regrets), которое рождает в душе только ярость и богохульство. Так было 2 февраля, а 5 апреля того же года Пушкин уже счастливый жених Н.Н. Гончаровой. Но в творческом плане, очевидно, не так легко выйти из этого круга: мысли о собственном донжуанстве, суеверное¹ ожидание какой-то страшной кары (хотя бы в виде посмертной ревности, о которой столь живописно он пишет своей будущей тепе). И опять все то же, то же. Он бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя в “Русалке” к ногам, pardon, хвосту дочери мельника. У Пушкина женщина всегда права – слабый всегда прав. И из того, что Пушкин так круто обрывает роман на этой mise en scene, видно, как она для него важна. Он покидает Онегина “в минуту, злую для него...”². И в минуту злую для себя он уезжает из Петербурга. Это свидетельствует о том, как живы еще осенью в Болдине воспоминания прошлой зимы. “Онегин” обрывается, как натянутая струна, когда читатель и не помышляет, что читает последнюю строфу. Мы знаем “Онегина”, сколько себя помним, и, естественно, нам трудно себе представить что-нибудь иное, но если сделать некоторое усилие воли и вообразить, что какая-то книга кончится на том, что героиня “неубрана, бледна” сидит и обливается слезами, герой на коленях целует ее руку, а в дверях звенит шпорами муж – свитский генерал, все же останется некоторое недоумение...

Итак, это наблюдение дает в какой-то мере ключ к 8-й гл. “Онегина”, к трагедии “Каменный гость” и вместе с недоумением Вяземского по поводу пушкинского сватовства освещает очень важный момент биографии Пушкина.

¹ С.М. Бонди сказал мне, что “На совести усталой много зла” Пушкин приписал потом (“Каменный гость”, сцена IV).

² 19 октября 1830 г. гибнет 10-я глава.

О XV СТРОФЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ “ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА”,
О МАНИИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (ХАНДРЕ),
ПОСВЯЩЕНИИ В ШПИОНЫ (О “МНИМОЙ ДРУЖБЕ”)
И ПЕРВОМ СЛОЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
“ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ”
("МИЛЫЕ ЮЖНЫЕ ДАМЫ")

“Пушкин любил пользоваться таким приемом письма: характеризуя какого-нибудь человека, он показывал, каких отрицательных свойств у этого человека нет. Он подбирал из них другой образ. Таким путем в тени явного портрета возникал другой портрет — скрытый, но, несомненно, более важный для Пушкина. Он получал возможность, не называя своего врага, обнажить все отталкивающее в нем”. Это не я говорю, а Т^{актияна} Г^{ригорьевна} Ц^{явловская}. Но в “Онегине” уже несколько лет тому назад я нашла подтверждение этого наблюдения.

.....
И управлять кормилом мнений
Нужды большой не находил,
Не посвящал друзей в шпионы...

.....
Но уважал в других решимость,
Гонимой славы красоту,
Талант и сердца правоту.

(гл. II, черновая строфа
перед XV беловой)

Значит, на портрете в тени кто-то хочет управлять. Кто-то посвящал друзей в шпионы. Обратно: кто-то не уважал в других решимость, красоту гонимой славы, талант и правоту сердца. <...>

По сопоставлению с стихотворением “Коварность” и еще... несомненно оказывается, что второй — тайный —

портрет написан Александром Сергеевичем с “новоизбранного” одесского друга Ал. Раевского. Это он повторил клевету — а клевета была “жестокая, кровавая” (см. тот же сгусток в стихотворении “Воспоминание” 28 г.), а здесь она раскрывается так:

Не посвящал друзей в шпионы —

то есть не посвящал Евгений Онегин, а кто-то посвящал¹, и даже очень, и этот кто-то — Раевский.

В трех последних строчках Пушкин запрятал самого себя. Итак, Онегин уважал Пушкина, а Раевский нет. Этую совершенно доработанную великолепную строфу Пушкин не включил в окончательный текст. То ли испугался в этом контексте слова *шпион*, то ли не захотел оставить собственный лестный портрет...

* * *

<...> Сравнить собственную характеристику Пушкина в стихах к Вл.Ф. Раевскому (1822):

Что непреклонным вдохновеньем
И бурной юностью моей
И страстью воли и гоненьем
Я стал известен меж людей...

Так говорил о себе Пушкин уже в 22 году. Про блеск изгнанья и т.п. он повторял много раз. Близость этих двух характеристик совершенно очевидна.

В соответствующей этой печатной строфе (XIV) читаем:

*Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.*

(См. мои разыскания в связи с словом “иной”.) Тут это сам Пушкин. Это — Пушкин, гордящийся гонением, Пушкин из послания к В.Ф. Раевскому, и такого Пушкина не должно было быть в “Онегине”, по крайней мере, явно.

1 Слово “посвящал” — как посвящать в рыцари.

* * *

<...> О изменившей дружбе Пушкин писал много и страшно. Первое обвинение относится к послелицейскому периоду и, как известно, имеет в виду выдумку Американца-Толстого (будто Пушкина высекли в тайной канцелярии). Второе обвинение относится к Ал. Раевскому, и, по-видимому, это он

посвящал друзей в шпионы.

(строфа XV, Одесса, 1824)

В “Путешествии Онегина” Пушкин вспоминает это время:

...я жил тогда в Одессе
Средь новоизбранных друзей
<чфрн. строфа XXX>.

Эта так называемая теневая характеристика (он не делал того-то и этого-то) намекает, что кто-то и находил нужным управлять кормилом мнений, и посвящал друзей в шпионы, и не уважал в других решимость, красоту гонимой славы, талант и правоту сердца, то есть не уважал его – Пушкина и его же, друга, посвящал в шпионы, то есть распускал слухи о том, что Пушкин – шпион. Это и есть

. суеты
Укор жестокий и кровавый –

и этого, как мы сейчас увидим, Пушкин до смерти не забыл и не простили. Здесь очень пахнет Собаньской, которая, заметая следы, могла сказать, что в чем-то виноват Пушкин, в то время как это была ее работа. Об этом Пушкин говорит четыре раза. 1) “Коварность” (1824), 2) соответственная строфа “Онегина” (IV гл.), 3) “Воспоминание” (1828) и 4) соответствственное строфа в VIII гл. “Онегина” (1830). Все это не может быть случайностью <...>

* * *

Во всяком случае, в 1830 году тень Ал. Раевского возникает дважды: 1) “Ни даже Демоном моим” (“Онегин”, гл. VIII, стр. ХII), 2) “его повелитель – сатана” (письмо 2 февраля), а в XIX строфе <Пушкин> опять поминает клеветников и трусов злых и друзей презренных, а, как мы знаем, таким другом Пушкин считал Ал. Раевского. Итак, мы видим, что общенье с Собаньской ведет за собой тень Раевского, воспоминанье о “клевете, вралем рожденной”. Он не Раевского обвиняет в доносе на него (ускорившем его ссылку, как принято думать¹), а попрекает его, что он его, Пушкина, посвятил в шпионы или повторил эту клевету, идущую от кого-то другого.

Вот здесь надо вспомнить про какие-то темные слухи вокруг Пушкина в южный период его жизни. Что удивительного в их возникновении, если он был при даме, которая вела слежку за братьями Раевскими, Орловым и т.д. и в конце концов добилась их ареста. Конечно, Пушкин понятия об этом не имел. Но Александра Раевского он поймал на повторении этой клеветы. Вот как он дважды повествует об этом:

Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом...

(“Коварность”, 1824, Михайловское)

Что нет презренной клеветы...
Которой бы ваш друг с улыбкой...
Не повторил стократ ошибкой...

(“Онегин”, гл. IV, строфа XIX)

¹ Существует мнение, что Пушкин считал Раевского виновником своей ссылки в Михайловское. Во всякой случае, в стихах он упрекает его не за то. И разглашение его “романа” с Елиз. Воронцовой Пушкин не назвал бы “презренной клеветой” и “кровавым упреком” – а как-нибудь иначе. Всем этим самым факт сплетен Раевского ничуть не опровергается.

* * *

Можно, конечно, предположить, что Раевский, чтобы унизить Пушкина, “ошибкой” повторил при Каролине “чердачную”, то есть еще петербургскую, сплетню, что Пушкина секли в III-м Отделении. На это намекают слова:

Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной...

(“чердак” – Шаховского, “враль” – Толстой-Американец, он же Зарецкий), но в конце концов одно не исключает другого. В 1829 году Толстой уже был сватом Пушкина, а Раевскому (своему Демону, Мельмоту и т.д.) Пушкин всю жизнь чего-то не мог простить. За что-то он сердился и на Орлова (мужа Катерины Раевской).

“Коварность” во всяком случае обращена к Ал. Раевскому: “Ты осужден последним приговором” – это слишком роскошно для картежного вора.

* * *

Эти две беглые зарисовки (себя и Раевского) позволяют предположить, что в “Онегине” еще немало таких совершенно зашифрованных характеристик. Напр., гл. 1, строфа XLII:

Хоть, может быть, *иная дама*
Толкует Сея и Бентама,
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор;
К тому ж они так непорочны,
Так *величавы*, так умны,
Так *благочестия* полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин...

Ср. Вяземский жене (апр. 1830): “Собаньска умна, но слишком величава”. Не знали ли Вяземские, что здесь изоб-

ражена Собаньская? Уж *благочестием*-то она владела в совершенстве, как мы знаем по ее письмам.

* * *

Почти одновременно с этой строфой (XV, гл. II), то есть в октябре 1823 года, Пушкин написал письмо Раевскому, в котором он обещает как-то ему мстить и унижать его в глазах Каролины Собаньской. По тону письма видно, что он находится в путах каких-то интриг, как-то связанных с Ал. Раевским и одесской *Клеопатрой*. Напомню, что Витт был предателем братьев Раевских.

* * *

В скобках замечаю: в той же строфе 2-й главы три последних стиха – “Но уважал в других решимость, гонимой славы красоту, талант и сердца правоту” – это, конечно, не что иное, как один из самых лучших автопортретов молодого автора “Онегина”.

Кто хоть сколько-нибудь знает пушкинскую “тайнопись”, и даже тот, кто ее совсем не знает, не может не догадаться, о ком идет речь. Это просто очередной “арапский профиль” и кудрявая голова на полях рукописи.

А тайнопись у Пушкина была. Не знаю, довольно ли сказано в науке о величайшем поэте XIX века (во всяком случае) про эту его особенность и так ли легко довести эту мысль до рядового читателя, воспитанного на ходячих фразах о ясности, прозрачности и простоте Пушкина. Зачем она была ему нужна? Во-первых – говорит ли он сам с собой. Беру для примера ту же тему дальше:

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты...

(NB. Ср. отрывок 1830 года – “И злое мрачное мечтанье.”)

И дальше излагает то, с чем не мог разделаться всю жизнь, что, как я говорила выше, стало нерастворимым мучительным густоком, к чему он вернется еще не раз в самом “Онегине” (“Вас оскорбивший за бутылкой” <VII глава> и почти вся тридцать седьмая строфа 8-й главы). (Цитаты). Это же возникает с очень важными пояснениями в белую петербургскую ночь 19 мая 1828 года (“Воспоминание”), и, наконец, в “Соснах” <“Вновь я посетил...”> поэт квалифицирует это как свою душевную болезнь, и всегда это соединено с образом *тифа* (или проще — за бутылкой).

* * *

Вот что я называю пушкинской болезнью (поэт говорит о послеодесском периоде):

Я зрел врага в бесстрастном судии,
Изменника — в товарище, пожавшем
Мне руку на пиру, — всяк предо мной
Казался мне изменник или враг¹.

Нам кажется, что такого Пушкина никогда не было — мы такого не знаем, но ведь он же лучше знал самого себя. И как с корнем все это вырвано из олимпийски спокойных и величавых “Сосен”.

Это тот *первый* слой, который поэты скрывают почти что от себя самих (об этом больше в другом месте). Но сколько раз в течение своей жизни Пушкин повторяет это, и только здесь он сам согласен, что это болезнь.

* * *

<...> К этому надо добавить, что Пушкин увез из Одессы в 1824 году не только жгучую обиду на Раевского (“Коварность”, 18 октября), но и на каких-то дам или даму — см.

¹ Прочтите эти строки любому врачу-психиатру, и он скажет: “У меня половина пациентов такая”.

“Разговор книгопродавца с поэтом”, который подытоживает южные, в частности одесские, впечатления:

Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.

(1824, 26 сент.)

Ср.: “А я от милых южных дам...” (черновик “Путешествия Онегина”). А книгопродавец говорит:

... но исключений
для милых дам ужели нет?

Совершенно с таким же содроганием говорит о Собаньской Мицкевич, упрекая ее в том, что она завлекала его, не любя, а желая получить от него посвящения стихов (“К Д.Д.”, “Прощание”), что не мешало ему в 1828 году бывать у нее в Петербурге, а затем через много лет в Париже.

* * *

О пушкинской хандре

- 1) Французское письмо к брату <№ 37. 1822 г. 4.IX–6.X>.
- 2) Письмо к Плетневу <№ 354. 1830 г. 31.VIII>.
- 3) “Евг. Онег.” (гл. 2 — 1824 и VIII — 1830 г.).
- 4) “Вновь я посетил...” (1835).

Он застрелился, слава богу,
Попробовать не захотел...¹

(гл. I, строфа <XXXVIII>)

и

Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете...
(VIII гл., строфа <XXXIV>)

¹ Ср. в 8-й гл.: “Не умер, не сошел с ума”, потому что вся глава об этом.

Вот что вспомнилось Онегину кроме всего описанного в строфе XXXVII. Как совершенно верно наблюдал Семенко, Пушкин в 8-й главе сливается с Онегиным и отдает ему свои воспоминанья, и здесь Пушкин вспоминает и, конечно, свою тогдашнюю влюбленность в Собаньскую, *taedium vitae¹* 1824 года, и ту хандру, которая граничила с манией преследования, как мы узнаем из первого слоя стихотворения "Вновь я посетил...". Вот о чём пишет великой осенью 30-го года счастливый жених Н.Н. Гончаровой. Вот с чем сравнивает свою последнюю петербургскую зиму В "Путешествии Онегина" мелькает припев: "Тоска, тоска!", в декабрьском письме то же. В другом письме 1830 — я хандриген и подозрителен, как мой отец...

Очевидно, эта волна мнительности и тяжёлой депрессии, которую Пушкин пережил в Одессе и которую воронцовско-раевская история (и еще какие-то неизвестные нам обстоятельства) обострила, если не вызвала, и которую он привез с собой в Михайловское (и там якобы от неё освободился — "Я помню чудное мгновенье"), — снова, под влиянием черной мутной страсти, описанной в письме от 2 февраля, начала овладевать им. Но к его, а тем более нашему счастью, эти страшные периоды не были отмечены молчанием его Музы. Наоборот! То, что он своими золотыми стихами описывал эти состояния, и было своеобразным лечением. Пушкин сам говорил об этом:

Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.
("Вновь я посетил...", черн.).

<1959>

1 Отвращение к жизни (лат.).

Пушкин в 1828 году
<Уединенный домик на Васильевском>

В 1828 году в салоне Карамзиных, в присутствии Екатерины Николаевны, в которую был влюблён, Пушкин рассказал демонскую сказку, назвав её "Уединенный домик на Васильевском".

Молодой москвич Титов, вернувшись домой, записал рассказ Пушкина, отнес рукопись в трактир Демута, где жил Александр Сергеевич. Пушкин, по словам Титова, одобрил его запись и даже внес какие-то поправки.

"Уединенный домик" был напечатан в "Северных цветах" у Дельвига (1829) за подпись Тит Космократов.

По-видимому, Пушкин не однажды занимал общество этой сказкой. Анна Петровна Керн тоже вспоминает, что Пушкин как-то "собрал нас в кружок" и рассказал приключения влюбленного черта, извозчика № 666 и т.д. на Васильевском острове. Едва ли Анна Петровна бывала в 1828 году в салоне Карамзиных <...>.

* * *

Не знаю, заметил ли кто-нибудь, что описание сцены в доме графини И. подозрительно похоже на записку Пушкина к Путяте:

M'étant appoché hier d'une dame qui parlait à M-r de Lagrenée, celui-ci lui dit assez haut pour que je l'entendisse: renvoyez-le. Me trouvant forcé de demander raison de ce pro-

pos, je vous prie, Monsieur, de vouloir bien vous rendre auprès de M-r de Lagrenée et de lui parler en conséquence.

Pouchkine.

<Вчера, когда я подошел к одной даме, разговаривавшей с гномом де Лагренэ, последний сказал ей достаточно громко, чтобы я его услышал: прогоните его. Поставленный в необходимость потребовать у него объяснений по поводу этих слов, прошу вас, милостивый государь, не отказать посетить г-на Лагренэ для соответственных с ним переговоров.

Пушкин>

[1829]

Янв<арь> 1828–сеп<едина> окт<ября> 1829 в Петербурге.

Домик: “Он увидел, что она в стороне говорит тихо с одним мужчиной: любопытство, ревность заставили Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит над его дурным произношением. Наш юноша взбесился, хотел тут же броситься и наказать насмешника...” (далее “бездна разврата”).

1828 – самый разгульный пушкинский год.

“Он опять вспомнил о давно покинутой им Вере, как грешник среди бездны разврата вспоминает о пути спасения” (“Уединенный домик на Васильевском”).

* * *

Прочла “Домик”

Сцена в свете напоминает “Renvoyez-le” <прогоните его> Лагренэ и вызов П<ушки>на.

1828 год в жизни Пушкина.

За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной...

(“Бал” Баратынск<ого>, 1828)

Ср. “черные, большие, влажные очи красавицы” (“Домик”, 1828).

Нина и графиня И. – вампы, тогда у П<ушки>на Закревская. Кто беседовал с Лагренэ?

Я еще боюсь утверждать, но вдруг “Домик” не петербургск<ая> гофманиана, а некое осознание своей жизни как падение (карты, девки, гульба), кот<орое> если не спасет какая-нибудь Вера, кончится безумием. Титов мог так огрубить ее, что и не доберешься. Во всяком случае Аагренэ остается в силе.

М.б., П<ушкин> и рассказал это все для какой-нибудь Веры, кот<орая> должна его спасти и кот<орой> было многое понятно.

Так и “Х” пользуется рассказом Титова о Клеопатре, чтобы спросить мнение дамы.

“Домик” и “Бал”

Его любимые картины
У ней являлись. Не раз
Блистали новые уборы
В ее покоях, чтоб на час
Ему прельстить, потешить взоры.
Был втайне убран кабинет,
Где сладострастный полусвет,
Богинь роскошных изваянья,
Курений сладких легких пар –
Животворили все желанья,
Вливая в сердце томный жар...

Ср. с опис<анием> intérieur’а гр. И.

Я не думаю, что рассказчик (П<ушкин> или Т<ит>ов) восходит к “Балу” Баратынского, здесь мне чудится нечто иное: воспоминание двух любовников вамп Закревской об ее покоях, где она их принимала. Это объяснение, кот<орое> начинается возле трюмо, которое замыкало анфиладу (проп<ущено> комнат), дьявольски выпадает из топорной прозы Титова. Оно в самом деле существовало. <...>

Если П<ушкин> – Павел, Оленина – Вера, Закревская – гр. И. (вамп), я пока не вижу Варфоломея. М.б., Соболев-

ский? Но гр. И. может быть и Собаньская, имевшая кличку – Демон (“Милый Демон”) и своей игрой доводившая Пушкина до отчаяния. Которая-то из них и Клеопатра, которой Пушкин снова занялся (“Онегин”, в 8-й гл. романа).

Влюбленным мужчинам свойственно считать соперника чем-то вроде дьявола. Мне не раз приходилось сталкиваться с этим явлением (“Он ее гипнотизирует” – по-нынешнему).

Мне приходилось с ним сталкиваться на собственном горьком опыте. (И имею даже литературный пример!).

Факт тот, что в 1828 г. около Пушкина был Ангел (цифата) в виде Олениной и вамп **<в>** виде двух дам: Закревской и Собаньской. И там и тут у него соперников было больше, чем нужно. Описание отчаяния Павла напоминает карамзинские описания самого Пушкина, его знаменитую *ревность* (“глаза наполнились кровью и слезами”).

К теме Пушкин-тигр: “стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке (“Выстрел”).

22 января 1963
Москва

* * *

У Карамзиних. Насколько изменил Титов, трудно сказать, но, по мнению исследователей, начало более пушкинское. А что мы видим в этом начале?

30 января

* * *

Уединенный домик

I. Описание могилы декабристов (место). Очень легко отделить элементы фантастической повести от чего-то совсем иного.

II. Родители героини – взяточник и ведьма (Оленины).

III. Героиня Вера (стихи к Олениной). Сказка. “Роман” 1829 года. Теневой портрет. 8-я гл. “Онегина” “Вся... в отца и мать”.

IV. Графиня И. (Закревская). Большой свет – филиал ада, который наносит Пушкину неотразимые обиды. Все, кроме Павла и Веры, – черти. *Лаэрнэ*. Закревская – сравнить с “Балом” Баратынского. Античная (эротика) обстановка дома. (В какой мере античная обстановка была тогда обычной?)

V. Друг-Демон (Раевский).

“Ночная гульба”, от дурных последствий которой умеет спасти только друг-демон. Все аналогии.

VI. Письмо Вяземскому, несомненно рассчитанное на перлюстрацию, где Пушкин учит князя, что отвечать где-то, и советует правительству не вмешиваться.

Там *единственные* в своем роде комплименты Бенкендорфу, которые должны смягчить чудовище. Случай был, по-видимому, серьезный, потому что Пушкин к этому методу больше никогда не прибегал. Дан как французская цитата в русском письме, чтобы Бенкендорф мог насладиться комплиментом во всей красе.

* * *

Про “Домик”

В этой незатейливой, на первый взгляд, вещи при ближайшем рассмотрении оказывается ряд подозрительно связанных с Пушкиным проблем (“пушкинских”).

I. Трудность попасть в “высший свет” из среднего (?). То, что этот вожделенный “высший свет” оказывается филиалом ада (“И сердцу вновь наносит хладный свет // Неотразимые обиды”). (19 мая 1828).

II. Демоническая женщина, к изображению которой подбирался тогда Пушкин (Анти-Татьяна), и такая женщина была тогда в его жизни¹ (дама “с черными, влажными” глазами – см. “Клеопатра” – 1828).

¹ См. письмо к Хитрово <“Я имею несчастье состоять в связи с остроумной, болезненной и страстью особой, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю ее всем сердцем”>. Авг. – перв. пол. окт. 1828. “Приехал Пушкин... Он влюблен в Закревскую”. <Т.Г. Цялловская>. Дневник Олениной, прямое свидетельство одновременности этих двух таких разных любовей.

III. Мнимая дружба или дружба с демоном (Раевским). Измена демониче~~ско~~го друга. Женщина.

IV. Ангел (Вера), чья любовь должна спасти (см. стихи к Олениной), чья чистота — последнее прибежище, утешение. Родители Веры и родители А.А. Олениной.

V. Софья Астафьевна и барышня в розовом капоте 18 апр~~еля~~ 1828, к кот~~орой~~ П~~ушкин~~ попросился в гости, — и “где третьего дня были” повести. И “ночная гульба”. Вероятно, были и по этой линии доносы на П~~ушкина~~, и вся история <с> поездкой в Коломну не так невинна, как представляет П~~ушкин~~ в письме к Вяземскому, уверенный, что письмо будет прочитано. Недаром Бенк~~ендорф~~ страшал Вяземского. Можно себе представить, на какие “проделки” намекает Павел, говоря о Варфоломее.

VI. Безумие Павла совпадает с реальным “безумием” М.А. Дмитриева-Мамонова. Политический характер не то гамлетовского, не то чаадаевского помешательства. Бело-куryй высокий молодой человек с серыми глазами (?), вероятно, внешность Вар~~фоломея~~.

* * *

Пушкинская тайнопись.

...И все-таки “Дубровский” — неудача Пушкина. И слава богу, что он его не закончил. Это было желание заработать много, много денег, чтобы о них больше не думать. Это, в противоположность “Пик~~овой~~ даме”, вещь без Тайны. А он не мог без Тайны, она одна всегда влекла его неудержимо. “Дубровский” оконч~~ен~~-ный по тому времени был бы великолепное “чтиво”. Там есть все.

Я, как видите, оставляю целых три строки для перечисления того, что там есть “соблазнительного для читателя”. Да, там есть все — но нет тайнописи “Пиковой дамы”.

* * *

В 1828 году Пушкин не только влюблялся и разлюблял и, как никогда, расширил свой донжуанский список, о чем он сам говорит:

Каков я прежде был, таков и ныне я, —
но и в “Полтаве” (т. е. осенью 1828 г., в октябре) хочет быть
теоретиком этого образа действий и как бы считает его
нормальным и вообще свойственным молодежи:

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь... —

и далее называет любовь молодого человека “мгновенными страстями”, которыми сердце пылает “послушно” и “слегка”. Это, очевидно, опыт 1828 года, когда исследователю грозит опасность заблудиться в прелестном цветнике избранниц, когда Оленина и Закревская совпадают по времени, Пушкин хвастает своей победой у Керн, несомненно как-то связан с Хитрово и тогда же соперничал с Мицкевичем У Собанской. И все это только в Петербурге.

Однако все это не так мило, как кажется на первый взгляд. Все эти “мгновенные” страсти не могли у человека с характером Пушкина протекать безболезненно. И, во-первых, большую роль должна была играть ревность, без которой, как известно, никакой влюбленности не бывает, тем более у человека с таким бешеным темпераментом, как Пушкин (“не исправленный стократно обидой”).

Надеюсь, что все эти соображения приближают нас к пониманию, почему Павел под влиянием ревности бродит по зимнему Петербургу и не топится только потому, что Нева подо льдом, причем Павлу-то и ревновать особенно некого.

* * *

<...> Главная страсть повести *ревность*. Павел ревнует и Ангела (Веру) и чертовку – к Варфоломею, страсть, столь свойственная Пушкину. Можно с уверенностью сказать, что описание блужданий Павла по зимнему ночному Петербургу – пушкинское.

Что делать с этими тремя странными совпадениями (Дмитриев–Мамонов, Закревская и Лагренэ) плюс описание Голода, пока непонятно. На всякий случай я решила записать мои находки, потому что они могут пригодиться кому-нибудь в работе. С Пушкиным никогда не знаешь *à quoi s'en tenir* <чего держаться>.

28 марта 1963
Комарово

* * *

Вчера, сегодня начинает смутно проступать, что сделал Пушкин в “Домике”. В старый план адской повести он вложил многое из своего настоящего и недавнего прошлого

Впечатление от места погребения пяти декабристов (к которому еще дважды вернется, как мы видели – “Отрывок” 1830 года и “Медный всадник”), своего столкновения с Лагренэ, своего романа с дьяволицей с влажными глазами (Закревской, Собаньской), описание ее дома (см. “Бал” Баратынского) и Ангела-Веры – Олениной (“сколько *томных выражений*”), которая должна была его спасти, – стихи к ней – вопись о спасении, припадки черной ревности, которым Пушкин был подвержен, мать героини – ведьма, это Елизавета Марковна Оленина, которая искала дочери выгодную партию и была грубой с Пушкиным. Папаша обозван взяточником и отправлен женой-ведьмой совместно с ее любовником. См. Пушкин об Олениной в “Онегине”. Недурные папа и мама у Ангела. В 1830 году сама Анна Алексеевна (Оленина) “вся... в отца и мать”. Все это *настоящее*, то есть 1828 год.

К недавнему прошлому восходят отношения с Варфоломеем. В них нетрудно распознать тяжелый и ни в чем не растворимый густок – Демон–Друг–Предатель–Раевский¹, есть даже словесное совпадение с стихотворением “Коварность”: [Павел] отскочил, как от лютой змеи [от Варфоломея].

№. Не надо ни минуты забывать, что мы имеем топорную копию Титова с зашифрованного подлинника Пушкина, но придумывать за Пушкина Титов, конечно, не может.

Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем...

(“Коварность”, 18 окт. 1824 г.)

Затем Варфоломей именуется коварным.

Рассказ произнесен для девичьего слуха. (Или записан.) Нетрудно догадаться, куда водит Варфоломей Павла, в каких проделках он его обвиняет (ночная гульба). Не следует обойти молчанием и следующую подробность. (Если это подробность.)

В маленькой трагедии (в прозе), которую приходится условно именовать “Мы проводили вечер на даче”, Пушкин рассказывает, как Алексей Иванович занимает общество историей Клеопатры (в прозе и стихах), а Титов, московский архивный юноша (и ученик иезуитов), удивляет всех своей всемирной ученостью. Все это делается только для того, чтобы услыхать роковое *да дамы с огненными глазами*. Не хотел ли Пушкин и в 1828 году в своей петербургской повести сказать что-то какой-то даме, присутствующей на

¹ Открытие этого пушкинского приема [“теневого портрета”] принадлежит С. Бонди. Он заметил, что под видом похвал Ильину Пушкин поливает грязью Воронцова (“Воображаемый разговор с Александром Г.”).

В нашей строфе дело обстоит примерно так же: Онегин не делал того и того-то, что, очевидно, делал кто-то, и, что для нас самое главное, Онегин

Не посвящал друзей в шпионы... —

вот они, все разговоры о “малодушии” Пушкина и его “характере”. Вот что повторил Раевский, о чём узнал Пушкин и чего он не мог ему простить. Страна не вошла в печатный текст.

вечере? Может быть, не случайно Титов в глубокой старости вспоминает, что в тот вечер была дома Ек. Ник. Карамзина, которую Пушкин обожал?..

Здесь нeliшне напомнить, что написанную в 1824 году в Одессе "Клеопатру" Пушкин снова берется обрабатывать в 1828 году, что Закревскую он просто называет Ниной Воронскою. "Сей Клеопатру Невы", что у Каролины Собаньской были огненные глаза и она была вдова по разводу, как героиня маленькой трагедии "Мы проводили вечер на даче". Итак, и Клеопатра Невы, и гр. И. – это кто-то из этих дам, а еще вернее, желанье Пушкина изобразить в противовес светлой и чистой Татьяне страшную темную грешную женскую душу.

<...> Из всего этого явствует, что было время, когда Пушкин уже разочаровался в родителях, но был еще очарован А<нной>А<лексеевной>, а она сама еще казалась ему прелестнейшей из всех женщин, и ей он почти молился. Вот это время и есть время сочинения "Домика" и рассказа его у Карамзиних и еще где-то (Воспоминания Керн). Уже примерно через год он узнает все и о самой Олениной (см. "Роман в письмах" 1829 г., работы Зенгер-Цявловской. (Цитата): ("Часто удивлялся я тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем, очень любезных. Часто самую тонкую шутку, самое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграмму, или за неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид, ими принимаемый, так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит. Это испытал я с Еленой***, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность; она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало". В женщине, в которую поэт был влюблен без памяти, которая приняла его нежность за грубость, которую Пушкин назвал было О., а затем Елена, нельзя не узнать Олениной).

Проходит еще год, и на ряте в 8-й главе "Онегина" Пушкин с омерзением говорит обо всей семье ("Тут Лиза Лосина была").

Все это в конце концов окажется истиной, придут откуда-то еще новые подтверждения.

Но что, милый читатель, вы скажете о развязке петербургской повести Тита Космократова?

Кажется, чего проще, чего банальнее...

После смерти Веры Павел сходит с ума. Но почему, скажите мне, он делает это точь-в-точь, как самый знаменитый московский богач Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, основатель и глава тайного додекабрьского общества Русских рыцарей, которого Пушкин считал одной из центральных фигур 1812 года, о чем сказано в "Рославлеве" (1831) (цитаты) [“Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением”], друг и единомышленник Орлова. В снаряженном на его деньги полку служил кн. Вяземский, и в это время дружил с графом. Н.В. Герцен о Мамонове.

Лотман считает, что сумасшествие Мамонова было вроде гамлетовского (во всяком случае, вначале) или чаадаевского. В 1826 г. Мамонов отказался присягать Николаю I. С ним обошлись как с душевнобольным, но держали как арестанта, Мамонов уехал в свою подмосковную, отрастил бороду, сделался человеком-невидимкой, подписывал бумаги не своим именем, запрещал упоминать при нем о *государе*, государыне и вел. князьях, избил лакея. Все это делал и Павел "Домика".

Кроме того, Павел приходил в исступление при виде (где он его брал в своей подмосковной?) высокого белокурого молодого человека с серыми глазами.

Весьма таинственный блондин!

Но здесь нельзя не вспомнить, что Пушкину была предсказана гибель от белокурого человека, а что Николай I был совсем белокурым, и у него были серые глаза. Когда Пушкин в 26 году впервые увидел государя в Москве в Кремлевском Дворце, он вспомнил об этом предсказании и говорил об этом друзьям.

Н.В. (И опять, что Мамонов запрещал упоминать при нем о *государе*.)

А 1828 год был годом взятия Пушкина под тайный надзор и год, когда "Гавриилиада" дошла до правительства. Поэт ждал новой ссылки "прямо, прямо на Восток".

20 апреля 1963
Ленинград

P.S.: Одновременность влюблённости Пушкина в Оленину и Закревскую и то, что он, конечно, бешено ревновал обеих, должна была стеснить рассказчика "Домика", так как такая одновременность несколько противоречит правилам фантастической сказки. Там влюблен — так влюблен. Не так бывает в жизни и в особенности с лирическими поэтами. Оленина — Вера была надеждой на спасение, очищение, прощение. Та, другая, Закревская — графиня И. повести — водила его по опустошённым кругам своей обутленной души. Это была дама с огненными или влажными черными глазами (полу-Закревская, полу-Собаньская), та, которая в "Маленькой трагедии" скажет да, т.е. потребует, чтобы он убил себя, это, одним словом, современная Клеопатра.

Итак, судя по всему, Пушкин рассказал у Карамзина "Домик", когда он был еще без памяти влюблен в Оленину, он уже знал все об ее родителях, когда его терзала какая-то Клеопатра Невы, которая тоже появится во всей красе в 8-й гл. "Онегина" (1830). (Цитата: "Нина входит"...) Но ей он не мстит ни в стихах, ни в прозе. (См. "Роман в письмах" 1829. Елена — Оленина. См. дневник Олениной: "У Пушкина роман с Закревской").

* * *

В 1828 году Пушкин не только влюблялся и разлюблял и как никогда расширял свой донжуанский список, о чем он сам говорит:

Каков я прежде был, таков и ныне я, —
но и в "Полтаве" (то есть осенью 1828 года, в октябре) хочет быть теоретиком этого образа действий и как бы считает его нормальным и вообще свойственным молодежи:

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь...

и далее называет любовь молодого человека "мгновенными страстями", которыми сердце пылает "послушно" и "слегка". Это, очевидно, опыт 1828 г., когда исследователю грозит опасность заблудиться в прелестном цветнике избранниц, когда Оленина и Закревская совпадают по времени. Пушкин хвастает своей победой у Керн, несомненно, как-то связан с Хитрово и тогда же соперничал с Мицкевичем у Собаньской. И все это только в Петербурге¹. Однако все это не так мило, как кажется на первый взгляд. Все эти "мгновенные" страсти не могли у человека с характером Пушкина протекать безболезненно. И, во-первых, большую роль должна была играть ревность, без которой, как известно, никакой влюблённости не бывает, тем более у человека с таким бешеным темпераментом, как Пушкин ("не исправленный стократно обидой").

Надеюсь, что все эти соображения приближают нас к пониманию, почему Павел под влиянием ревности бродит по зимнему Петербургу и не топится только потому, что Нева подо льдом, причем Павлу-то и ревновать особенно некого.

* * *

Итак, "Домик", говоря иными словами, это повесть о том, как поэт в 1828 году погибал в чьих-то сетях, ревновал, мечтался, бился.

Как изменили и дружба и любовь, как он был виноват, как какой-то темный спутник предавал его, как демоница над ним издевалась, как единственная надежда — Вера — была у него отнята, отчасти по его же вине. А высший свет, куда его вводят сатана, оказывается филиалом ада.

Это главная линия повести, которая во всех деталях совпадает с тем, что (судя по стихам) происходило с Пушкиным.

¹ Титов в старости вспоминает, что примерно в то же время Пушкин обожал Карамзину-Мещерскую.

Для кого он ее рассказал? — Конечно, не для Анны Алексеевны Олениной. Для самой демоницы? Сомневаюсь.

22 апреля 1963

P.S. Самое таинственное для меня — это развязка. Может быть, Титов, когда нужно было изобразить безумие, просто записал все слухи о Дм^{ини}триеве>Мамонове. Как недавний москвич, он должен был быть “хорошо” осведомлен.

Думаю, что в описании болезни и смерти старухи и в рассказе пожарного П^{ушкин} неповинен.

Там что-то очень длинно, скучновато и однообразно.

Болезнь Веры тоже описана трафаретно. Лобовая мораль — враждебна П^{ушкину}. Вообще участие Титова было, несомненно, очень значительным. <...>

Да [вообще] кто бы мне поверил, если бы не открытие Б.В. Том^{ашевского} 1937 г. о портретах Оленина и дочери в 8-й гл^{аве}. Да и то без работы Цявловской о “дневнике Олениной” это все, вероятно, имеет довольно легкомысленный вид. Я помню, как все мы были сконфужены, когда гадкой Lisette¹ 8-й гл^{авы} оказался главный ангел — Анна Алексеевна Оленина.

(Очень приятно, что у нас есть возможность проследить, что она, так же, как ее почтенный папаша, вполне заслужила такое отношение поэта.)

На свой бал [(или раут)] в 1830 г., где он судит пет^{ербургский} высший с^{вет}, Пушкин приводит обеих геройн 1828 г. Целая строфа посвящена Нине (“Клеопатре Невы”):

И все в восторге в небесах
Пред этой чудною картиной.

Не то случается, когда там же появляется Annette Olenine (Lisette) — Лиза Лосина:

¹ Теперь она же чванная и глупая Елена в “Романе в письмах” 1829 <года>. Но оттуда мы узнаем, что П^{ушкин} был в нее влюблен. (Это я испытал с Еленой Олениной, в которую был влюблен без памяти.)

Тут Лиза¹ Лосина вошла
.....
Так неопрятна (писклива),
Что поневоле каждый гость
Предполагал в ней ум и злость.

По планам “Русского Пелама”, “Романа в письмах”, “На Кавказских водах” (да и других произв^{едений} П^{ушкина}) мы знаем, как охотно [он] П^{ушкин} в своей прозе изображал знакомых ему людей.

* * *

M. б. примечание

Мне кажется, мы еще в одном очень виноваты перед Пушкиным. Мы почти перестали слышать его человеческий голос в его божественных стихах. Приведу как пример стихи к Олениной. Что может быть пронзительней и страшнее этих воплей воистину как-то гибнущего человека, кот^{орый} взывает о спасении, взывает к Чистоте невинности². (“И твое воспоминанье <заменит душу моей силу, гордость, упование и отвагу юных дней”. — “Предчувствие”.) Это настоящее SOS.

А “Воспоминание”, когда в [майскую], [белую] бесконную петербургскую ночь 19 мая поэт клянет что-то, рыдает над чем-то — не видит выхода.

Вообще мой лозунг: “Побольше стихов — поменьше III Отд^{еления}”. Потому что из стихов может возникнуть нужная нам проза, которая вернет нам стихи обновленными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал — во всей многоцветности пушкинского слова и с сохранением его человеческой интонации, а из III Отд^{еления}, как известно, ничего не может возникнуть.

21 апреля 1963
Ленинград

¹ П^{ушкин} дает ей имя ее матери — Елизавета. Как к [ней] той относится П^{ушкин} ясно и без объяснений. Еще черновая строка: “Что вся была в отца и в мать”.

² А мы деловито комментируем: “В это время поэту угрожала ссылка за “Гавриилиаду”.

Пушкин и Невское взморье

В титовской повести "Уединенный домик на Васильевском" (1829) поражает подробность описания северной оконечности Васильевского острова (т.е. острова Голодай)¹.

"Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в солнечные воды залива. По мере приближения к этой оконечности, каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение все исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разливов; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противопо-

¹ Остров Голодай получил свое название не от слова "голод", а от английского слова "holiday", потому что английские купцы ездили туда по воскресеньям —

Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров...

ложные берега Петровского острова, — всё погребено в седые сугробы, как будто в могилу".

Для южной стороны Васильевского острова, которую он ежедневно видит, автор не находит, однако, ни одного живого слова, а над северной, где вообще никогда никто не бывает, он почти плачет, угнетенный мрачным летним пейзажем, и представляет себе еще более унылый зимний, сравнивая его с могилой. Мы узнаем, что — направо, что — налево, ощущаем под ногой тонкость почвы. Все это увидено не из окна кареты и даже не с дрожек. Автор так занят северной оконечностью Васильевского острова, что даже моря не замечает. Петербург для него вовсе не существует. От звона часов на Думе вздрагиваешь, как от неожиданности, потому что нет ни Невского, ни Гостиного двора, ни дворцов, ни набережных. К сюжету описание острова Голода не имеет ровно никакого отношения, и ничто другое так подробно в повести не описано.

Б. В. Томашевский в книге "Пушкинский Петербург" сближает это место в повести с описанием Невского взморья в "Медном всаднике".

Остров малый.
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхой. Над водою
Остался он, как черный куст,
Его прошедшую весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,

И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.

Сюда же, по нашему твердому убеждению, следует отнести и несколько загадочный отрывок 1830 года “Когда порой воспоминанье...”.

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне;
Когда, людей повсюду видя,
В пустыню скрыться я хочу,
Их слабый глас возненавидя, —
Тогда, забывшись, я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
На пожелтевший мрамор плещет
И лавр, и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы.
Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикой
Усеян зимнею брусликой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеной подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлыи мой челнок...

В этом отрывке таинственно решительно все: и необычная для Пушкина порывистая обнаженная нетерпимость страдания (такой стон не характерен для зрелой пушкинской лирики, и его можно сравнить только с “Воспоминанием” 1828 года), и готовность в честь чего-то пожертвовать заветнейшей и любимейшей мечтой жизни — Италией, вернее, мечтой об Италии; и подробность описания забытого Богом и людьми уголка убогой северной природы; и все это в трагических тонах, а не в порядке реалистической полноты жизни (как в “Путешествии Онегина”):

Иные нужны мне картины;
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор...
.....
Фламандской школы пестрый сор!

Следует сравнить отрывок “Когда порой воспоминанье...” с первой главой “Онегина”, где происходит нечто диаметрально противоположное... Можно даже предположить, что автор имел в виду воспользоваться опрокинутой композицией. Там Пушкин отрекается от Петербурга, белых ночей и т.п. в честь Италии:

Но слаше, средь ночных забав,
Напев Торкватовых Октав!

К описанию Невы и белой ночи Пушкин берет как примечание большой кусок из “Рыбаков” Гнедича, где фигурируют “невские тундры” (“...на невские тундры роса опустилась...”). Это же слово повторяется в отрывке 1830 года (“Увядшей тундрою покрыт...”).

Петербург для Пушкина — всегда север¹. Когда он сочиняет стихи, то всегда как бы находится на каком-то отдаленном юге. Тем более “Отрывок” написан в Болдине (14 октября 1830 г.).

¹ См., например, о петербургских дамах: “О, жены Севера...”

Что же произошло между первой главой “Онегина” (1823), где поэт так изящно готов променять Петербург на Италию, и трагическим порывом (1830), заставляющим его отказаться от этой заветной мечты?

И теперь нам точно неизвестно место погребения пяти казненных декабристов. Считается, что вдова Рылеева точно знала место могилы. Это остров Голодай, то есть северная оконечность Васильевского острова, отрезанная от всего массива острова узкой речкой Смоленкой. В николаевское царствование приходилось питаться более или менее достоверными слухами, которые неизбежно должны были возникнуть сразу после казни. Мысли о декабристах, то есть об их судьбе и об их конце, неотступно преследовали Пушкина. Из его стихов следует, как он думал о тех из них, кто остался жив (см. переписку Пушкина, “Послание”: “И в мрачных пропастях земли!”). Теперь более подробно рассмотрим вопрос об его отношении к тем, кто погиб.

Первое упоминание находится в 6-й главе Онегина, немедленно после того, как Пушкин узнал об этом трагическом событии (то есть 26 июля 1826 года), 6-я глава окончена 10 августа 1826 года. Там имя Рылеева стоит рядом с именами Кутузова и Нельсона. Ленский мог быть “повешен, как Рылеев”. Затем следуют рисунки виселиц на черновиках “Полтавы” – 1828 года, виселицы в книжке “Айвенго” Вальтера Скотта, подаренной Пушкиным в имении Полторацких Ал. Ал. Раменскому (вместе с цитатой из десятой главы Онегина) 8 марта 1829 года. Словами “Иных уж нет, а те далече...” кончается “Онегин” (1830 г.). Пушкину не надо было их вспоминать: он просто их не забывал – ни живых, ни мертвых. Я не допускаю мысли, чтоб место их погребения было для него безразлично.

Из воспоминаний И.П. Липранди мы знаем, как он разыскивал могилу Мазепы и расспрашивал о ней 135-летнего казака Искру, который “не мог указать ему желаемую могилу или место”. Пушкин “не отставал... спрашивал, нет ли еще таких же стариков, как он”¹. А из текста “Полтавы” мы

¹ И.П. Липранди “Из дневника и воспоминаний” “Русский Архив”, 1866. С. 1464.

читаем [знаем, как он жалеет, что не нашел ее] “И тщетно там пришлец унылый // Искал бы гетманской могилы...”. Говорят о могиле Наполеона на острове Св. Елены и о могиле Кутузова в Казанском соборе. Что же касается могил казненных Кочубея и Искры, то по этому поводу придется еще раз вспомнить, что Пушкин систематическиставил Николаю I в пример его великого прадеда Петра I. Каждый читатель может с легкостью вспомнить: “Во всем будь пращуро подобен” (1826. “Стансы”). И вот что мы читаем в пушкинском примечании к Полтаве: “Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись:

“<...> Року 1708, месяца июля 15 дня, посечены средь обозу войскового за Белою Церковию на Борщаговце и Ковшевом, благородный Василий Кочубей, судия генеральный; Иоанн Искра, полковник полтавский. Привезены же тела их июля 17 в Киев и того же дни в обители святой Печерской на сем месте погребены”.

Этим Пушкин, несомненно, горько попрекает Николая I, который не только не вернул родным тела казненных декабристов, но велел закопать их на каком-то пустыре.

А там, то есть в “Полтаве”:

Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил:
Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила¹.

И это в “Полтаве”, черновики которой испещрены рисунками пяти виселиц, Пушкин нарочно приводит точные данные, когда тела были возвращены родным, чтобы еще раз напомнить царю, как в подобных случаях принято по-

¹ Не забывает Пушкин и о дубах ...друзьями насажденных:

Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.

Это Пушкин напоминает нынешним Кочубеям, что им не мешало бы гордиться так страшно погившим предком.

ступать: “Их мирно *церкоевь* приютила”. И не только церковь как таковая, а центр православия и величайшая святыня России, чтобы поклониться которой сотни тысяч ежегодно проходили не одну сотню верст. Напоминаю, что Пушкин говорит о телах только что казненных государственных преступников.

И это пишет поэт, который через два года и, кстати сказать, просто рядом с отрывком “Когда порой воспоминанье...” утверждает культ могил в словах величавых и, как всегда у этого автора, не подлежащих отмене:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пишу¹:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертвa,
Как... пустыня
И как алтарь без божества.

Измайлова, отмечая отношение Пушкина к кладбищам, говорит только о родовых приусадебных могилах (тут можно еще прибавить и “Дорожные жалобы”):

“Не в наследственной берлоге
не средь отеческих могил...”.

Это, конечно, правильно. Но когда Татьяна говорит, что готова отдать все

...за смиренное кладбище.
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...²

¹ См. в черновике: “Находит сердце тайну пишу”.

² Она, Татьяна, как раз вспоминает не родовую могилу отца (“Господний раб и бригадир Дмитрий Ларин, а смиренный крест няни. Может быть, сам автор вздохнул о своей Арине Родионовне, которую похоронили на Охтинском кладбище, как кухарку в “Домике в Коломне” (и гроб на Охту отвезли). См. также таинственную запись 1829 года: “Я посетил твою могилу – но там тесно; les morts m'en distraient (мертвые развлекают мое внимание...)” [См. Prologue, III, 477].

Дуня приезжает на могилу станционного смотрителя, а Марья Ивановна перед отъездом из крепости идет проститься с могилами родителей, похороненных у церкви (жертв Пугачева?!), – это уже не родовые могилы. Здесь Пушкин щедро отдает свои сокровеннейшие чувства и мысли своим избранницам.

Пушкин полностью разделяет высокое верование античности (см. Софокл, “Эдип в Колоне”) о том, что могила пра-ведника – сокровище страны и благословение богов.

Из того же загадочного отрывка “Когда порой воспоминанье...” мы узнаем, что Пушкин бежит от разговоров, связанных с чем-то очень ему дорогим, о чем люди говорят недолжным образом. Что это не что-то личное, показывает слово “свет”¹, то есть общество, потому что в свете личные дела в присутствии участника этих дел не обсуждались. Поэт готов бежать, но не куда глаза глядят и даже не в свою обожаемую Италию, а на какой-то покрытый тайгой северный островок, точь-в-точь похожий на тот, где он закопает “ради Бога” через три года своего Евгения Езерского.

В дошедших до нас строфах десятой главы “Евгения Онегина” идет речь о декабристских делах – даны характеристики участников движения. Органичны для “Онегина” переходы, переключения из плана в план: ирония сопровождает Ленского почти до последнего часа его жизни, но Пушкин с невероятной силой и скорбью оплакивает его и возвращается к этому в 7-й главе. В не вошедшей в 6-ю главу (1826 г.) строфе он представляет его как возможного участника восстания на Сенатской площади: “Иль быть повешен, как Рылеев”. И можно быть уверенным, что и их могилы не остались там забытыми. В своих мемуарах барон Розен пишет, как он ездил по взморью, чтобы найти могилы пяти казненных друзей. Скорбный интерес, который проявляет к этому месту Пушкин, трижды описывая его (“Домик”, 1829, отрывок “Когда порой воспоминанье...”),

¹ См. черновики, где слово “свет” написано три раза. Какие разговоры о декабристах можно было услышать в свете, мы знаем хотя бы по “бес-смертному” высказыванию царицы лучшего петербургского салона гр. Нессельроде: “Какое несчастье иметь такого человека в своей семье”.

1830, и “Медный всадник”), позволяет нам предположить, что и он искал безымянную могилу на Невском взморье. Что перемаранный черновик может оказаться строфой “Онегина”, мы знаем по тому случаю, когда “Женись. – На ком?... – на Вере Чацкой” считалось отдельным стихотворением, пока Т. Г. Цявловская не догадалась, что это строфа из “Онегина”. Такой же строфой, уже почти готовой, являются и следующие строки “Отрывка”:

Стремлюсь привычно мечтою	(ж.)
К студеным северным волнам,	(м.)
Меж белоглавой их толпою	(ж.)
Открытый остров вижу там.	(м.)
Печальный остров – берег дикой	(ж.)
Усеян зимнею брусликой,	(ж.)
Увядшей тундрою покрыт	(м.)
И хладной пеной подмыт.	(м.)

Надеюсь, спорить, что этот фрагмент написан по всем правилам онегинской строфы, никто не станет. В последнем четверостишии вместо онегинской охватной рифмы (авва) имеем опять перекрестную (авав). Но ведь это перечерченный черновик, и что Пушкин сделал из него потом, мы не знаем. Вначале отрывок просто совсем не обработан, и в него к тому же вставлено готовое стихотворение 1827 года (“Кто знает край...”)...

Над виселицами на черновиках “Полтавы” Пушкин пишет: “И я бы мог тут, как шут”, а в стихах Ушаковой: “Вы ж вздохнете ль обо мне, если буду я повешен?” (1827, III, 56)¹, как бы присоединяя себя к жертвам 14 декабря. А безымянная могила на Невском взморье должна была казаться ему почти его собственной могилой:

Туда “погода волновая заносит утлы́й мой членок”.

23 января 1963
Москва

¹ А через два года Полторацкой:
Когда помилует нас Бог,
Когда не буду я повешен...

ДВЕ НОВЫЕ ПОВЕСТИ ПУШКИНА

Автобиографический отрывок 1830 года и 1-я глава “Египетских ночей”.

Работа над ним: тщательно изгнаны бедность¹, неудача и зависимое положение писателей. Почему Чарский не Пушкин 1835 года? В связи с одной из важнейших проблем “Египетских ночей” взят только поэт (Пушкин 35 года – литератор, историк, изнемогающий от долгов критик). Если это Пушкин, то до 27–30 года, холостой, еще не знающий литературных неудач и литературных тягот, “такой превосходный поэт”.

Пушкинская проза – отстоявшаяся (“Выстрел” и “Кирджали” – Кишинев, “Пиковая дама” – роман с Фикельмон). Чарский – Пушкин конца 20-х годов (ср. халат Чарского). “Х” “Отрывка” слишком фотографичен (как сказали бы теперь), актуален. Чарский удален временем, идеализирован – разбогател, стал независимым, одендался, автор, изображая его, не хочет снизойти до описания собратий (тоже, конечно, портреты)².

Появляется один “собрат”, которого стоит изобразить. Да еще как! Так, как Пушкин никогда никого не изображал. Начать с внешности. Известно, как эскизы пушкинские портреты (Швабрин, Германн), как невозможно себе представить и офицеров “Повестей Белкина”, и светских людей

¹ Для этого Чарскому придан богатый дядя.

² “Двойное ремесло” – доносы, конечно, Булгарин.

прозаических отрывков (Минский, Волоцкий). О внешности Чарского не сказано ни слова¹. Исключение Пугачев, Хлопуша и Кирджали — лица действительно существовавшие и о внешности которых Пушкин собирал сведения². С такой же подробностью изображен импровизатор. Это, несомненно, портрет.

Весьма примечательно, что автор “Отрывка” не писатель, как Белкин, а “Х” — писатель. Вот трюк: не-писатель описывает писателя. То же в предисловии к Селу Горюхину.

* * *

Что итальянец не только импровизатор, но и поэт, видно из нескольких “описок” Пушкина: 1) Стул в комнате итальянца завален “бумагами” и бельем. Какие же, помилуй бог, “бумаги” у только что приехавшего нищего импровизатора? Это, конечно, рукописи писателя. 2) Чарскому было не приятно видеть поэта в одежде заезжего фигляра. 3) “Вы поэт так же, как и я”, — говорит иностранец. Мало того, итальянец — образованный человек, может импровизировать на любую тему, даже такую высокую, как первая импровизация, и такую специальную, как вторая. Говорит языком образованного человека о сущности импровизации. Надо сознаться, что это существо все время как бы двоится перед нашими глазами. (То червь, то бог...) <...>

* * *

<Портрет импровизатора у Пушкина> во всех подробностях соответствует описанию внешности Мицкевича, оставленному нам Полевым, первая импровизация — описанию первого знакомства поэтов в Москве осенью 1826 года, ко-

¹ Но одет Чарский, как Пушкин конца 20-х г. (халат), — см. воспоминания Кс. Полевого.

² Сравнить также Нину в “Онегине” с портретом Закревской (“На углу маленькой площади”).

гда Пушкин, услыхав Мицкевича, бросился ему на шею (Вяземский). К тому же импровизатор вообще редкость, и у нас нет сведений, что Пушкин слышал кого-нибудь из них, кроме Мицкевича. NB. Мицкевич не только импровизировал публично. Он также читал свои стихи по-польски (см. статью Пушкина о Мильтоне).

Немыслимо себе представить, чтобы Пушкин, беря темой импровизацию, не вспомнил столь поразившую его импровизацию Мицкевича. А то, что импровизатор — портрет Мицкевича, окончательно доказывает, что в повести “Египетские ночи” есть *attière-pensée* *<здесь: подтекст>*.

История отношений Пушкина с Мицкевичем еще не написана. Биографы Мицкевича (Погодин, а также Браиловский) склоняются к тому, что отношения их были сложные, и трудно говорить о дружбе двух поэтов. Сравнительно недавно найденное письмо Пушкина к Хитрово скорее подтверждает это мнение. Говоря о мрачности любви поляков к своему отечеству, Пушкин добавляет: “Вспомните их поэта Мицкевича” (9 декабря 1830 года).

* * *

В 1835 году реальные жалобы Пушкина на свою профессию должны были быть совсем иными. (Цензура, критика, безденежье). Поэтому и выпад против меценатов зачеркнут Пушкиным. У Чарского не должно было быть врагов. Итак, в Чарском Пушкин изображает себя не таким, каким он был в 1835 году, а таким, каким он был в 1826–1828 годах, и в помощь своей памяти берет “Отрывок” 1830 года, внося в него те изменения, которых требовала фабула “Египетских ночей”. В дальнейшем я постараюсь доказать, что события, описанные в “Египетских ночных”, тоже относятся к концу 20-х годов. Такое обращение к материалу, уже отстоявшемуся, очень характерно для Пушкина. См. “Выстрел” (30 г.) и “Кирджали” (34 г.) —

кишиневские воспоминания Пушкина¹. (Быть может, “Домик в Коломне”.)

* * *

То, что Чарский “Египетских ночей” – сам Пушкин, никто в этом не сомневается. Но одна подробность ускользнула от вниманья исследователей. Чарский – Пушкин, но не Пушкин того времени, когда писалась эта повесть, – жена-тый, отец семейства, муж красавицы, писатель, который долгие годы не прочел о себе ни одного доброго слова, разорившийся камер-юнкер, неудачливый журналист (“Современник”). Нет! – это Пушкин знаменитый, всеми любимый, прославленный, независимый, холостой – одним словом, Пушкин дополтавский. Это – Пушкин примерно 1827–1828 годов.

Это Пушкин, слушавший вдохновенные импровизации Мицкевича, это Пушкин, вновь встретившийся с Собанской (1828 г.).

* * *

...Полагаю, что одна из тем – “La primavera veduta da una prigione” <“весна из окна тюрьмы”> – дана Чарским, который знал обстоятельства импровизатора. Однако это уже другая тема...

Здесь, т.е. в повести “Мы проводили <вечер на даче>”, тоже есть *ключевая фраза*, <ее> произносит молодой человек по имени Алексей (то есть, вероятно, сам Пушкин): “Есть черта в ее жизни, которая так врезалась в мое воображение, что не могу взглянуть почти ни на одну женщину, чтоб тотчас не подумать о Клеопатре”.

¹ Программы романа “Русский Пелам” показывают, что в том же 35-м году Пушкин предполагал изобразить русское общество таким, каким он застал его по выходе из Лицея, – декабристы, Шаховской – театр и т.д., Всеволожский.

Пушкин знал Aurelius Victor’а очень давно: в первый раз он начал заниматься Клеопатрой еще в 1824 году, затем он вернулся к той же теме в 1828-м – год встреч с Собанской.

В 1835 году устами Алексея Ивановича он нам объяснил, почему. От этого никуда не уйдешь. Итак, тема Клеопатры по Аврелию Виктору возникла у Пушкина в Одессе. Пушкин знал и первое в мире упоминание о Клеопатре: Оду Горация, кн. I, ода XXXVII “Ad Sodales” <“Друзьям”>. Первое полустишие этой оды: “Nunc est bibendum” <“Теперь время пить”> Пушкин сделал эпиграфом лицейской годовщины 1825 года в Михайловском (см. черн<овик>). Но во всей истории Клеопатры его интересовала только запись Аврелия Виктора. Ни любовная связь с Цезарем, ни бурный предсмертный роман с Антонием, ни героическое самоубийство (“I am air and fire” <“Я воздух и огонь”> – у Шекспира) – все это не привлекало внимания Пушкина. Он заметил и запомнил “одну черту”, как говорили в его время. И, смотря почти на каждую женщину, 10 лет подряд думал – а может ли она, как Клеопатра... Что же после этого удивительного в том, что про какую-то женщину XIX века он решил – да, она это может...

И даже если, как я почти уверена, тяжелая, почти переводная проза в рассказе Ал<ексея> Ив<ановича> окажется почти переводом кого-нибудь из французских романтиков и выплынут какие угодно неожиданности, сказанное мною остается в силе.

19 февраля 1959
Ленинград

P.S. Итак, новые соображения в моей статье доказывают, что кроме политической полемики (“Медный всадник” и “Он между нами жил”) и переводов (“Будры”, “Конрад Валленрод”, “Воевода”) Пушкин всякий раз занимался Мицкевичем, когда это было связано с Каролиной.

“Что в имени тебе моем?”. Бахчисарай – Мицкевич. Мицкевич Крымский. Импровизации Мицкевича в “Египетских ночах”.

Каролина — Клеопатра — это одна из женщин, которых Пушкин не только не возносит, как Татьяну или дочь мельника, это та, кого он боится и к которой тянется против силы.

Милый Демон!

* * *

Если вдуматься в отрывок “Мы проводили вечер...”, нельзя не поразиться сложностью и даже дерзостью его композиции. Во-первых, кто это “мы”, ничем не выдавшие своего присутствия? Да и отрывок ли это? Все, в сущности, сказано. Едва ли читатель вправе ждать описания любовных утех Минского и Вольской и самоубийства счастливца. Мне кажется, что “Мы проводили...” — нечто вроде маленьких трагедий Пушкина, но только в прозе. Представьте себе все это в стихах и в драматической форме, и вам не придет в голову ждать продолжения. Его просто не может быть. Смесь (дерзость) и необычность поражают и в деталях. Алексей Иванович говорит, что советовал** сделать из этого поэму, затем читает куски этой поэмы — следовательно, стихи**, а стихи-то Пушкина. Кажется, нельзя достоверно определить, что написано раньше — “Мы проводили...” или “Египетские ночи”. Возможно, что “Мы проводили...” и есть последнее пушкинское слово о Клеопатре. Там фигурирует гениальный импровизатор, здесь светская злодейка — вдова по разводу с огненными глазами, с ледяным самообладанием авантюристки высшего полета.

К этому следует прибавить, что светское общество (салон) дано так же, как в 8-й главе “Онегина”, хозяйка что-то вроде Д. Фикельмон (“был принят слог простонародный” и ее разрешение рассказать неблагопристойную историю), чей салон он так расхваливает в письме к ней. Польский граф и его дурнушка жена тоже как бы из 8-й гл^{авы} “Онегина”, затем ученый спор двух латинистов, из которых один — Титов (вполне реальное лицо). Гости пьют чай, дамы занимаются вышиванием.

Героиня произносит только три фразы:

- 1) “Ах, нет, не рассказывайте!”
- 2) “Что вам сказать? И нынче *иная* женщина дорого себя ценит. Но мужчины девятнадцатого столетия слишком хладнокровны, благоразумны, чтобы заключить такие условия”.
- 3) “Думаю, даже уверена”... и роковое: “*Hem*”.

(Между прочим, разговор после стихов ведется как в драматическом произведении, то есть не обозначено, кто что именно говорит. Очень существенно, что этот кусок пушкинской прозы ничем не похож на другие два куска светской повести (“На углу <маленькой площади>” и “Гости съезжались <на дачу>”), а тем более на “Пелама”. Я не согласна с мнением Х, что это просто обрамление “Клеопатры” (стихи и проза), но головокружительный лаконизм здесь доведен до того, что совершенно завершенную трагедию более ста лет считали не то рамочкой, не то черновичком, не то обрывком чего-то. Неужели рассуждения Алексея Ивановича о ценности жизни — светская болтовня? Разве мы не узнаем в них самых сокровенных, глубинных и дорогих для Пушкина мыслей:¹ (Разве жизнь уж такое сокровище? — Vivre est-il donc si doux? A. Chénier <А. Шенье>.) Повторю, если бы это было сказано в стихах, никто бы не усомнился в законченности этого произведения.

* * *

Надо думать, что Вольская Zelie Зинаида из отрывка “Гости съезжались на дачу...” не имеет ничего общего с нашей Вольской² — вдовой по разводу, чопорной ханжой с огненными глазами³, которая, не дрогнув и на глазах у всего общества, предлагает Алексею Ивановичу условия Клеопатры. Такой

- 1 В его рассуждении о дуэли есть что-то очень страшное, пророческое. Словно он предсказал то, что так скоро (через 1–2 года) его постигло, словно он видел неизбежность этого, но в творческом плане до конца не отдавал себе отчета.
- 2 Так, никто, я полагаю, не думает, что гусар из “Станционного смотрителя” и светский герой повести “Гости съезжались на дачу...” одно и то же лицо, только потому, что у них одна и та же фамилия — Минский.
- 3 И, как известно, Закревская ни ханжой, ни чопорной, ни вдовой по разводу не была.

именно и была по всем признакам Каролина Собаньская¹, которая носила весьма недвусмысленное прозвище – *демон*. Несомненно, Пушкин, воскрешая счастливое, т.е. независимое, время, которое в 1835 году должно было казаться ему просто золотым веком, вспоминал и свою неодолимую влюбленность в эту женщину.

№. Эпиграф 8-й главы “Онегина”, вероятно, имеет отношение к еще до конца не открытой сфере переживаний Пушкина, связанных с письмом 2 февраля 1830 года:

Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare thee well.

Byron

«Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. *Байрон*»

* * *

То, что Вольская, оказывающаяся Клеопатрой XIX века, – Каролина Собаньская, в этом нет ничего удивительного, и внимательный читатель Пушкина должен быть к этому подготовлен, прочитав в любом комментированном издании Пушкина, что Зинаида (“Гости съезжались на дачу”) – это Закревская, что в княжне Елене в “Романе в письмах” (1829) надо узнавать Оленину, Лиза Лосина 8-й главы “Онегина” – она же и т.д. и т.д., а Проласов – ее отец, что в “Романе на Кавказских водах” фигурируют современники Пушкина, что в планах “Русского Пелама” мелькают фамилии знакомых автора, что, по указанию самого Пушкина, старая графиня в “Пиковой даме” – кн. Голицына (а по нашему мнению – Загряжская). <...>

* * *

“...Но в ней находится то сказание о Клеопатре, которое так меня поразило”, говорит Алексей Иванович (это явно автор-

¹ Пушкин дважды говорит, что у В^{<ольской>} были *огненные глаза*, Маркевич, вспоминая Собаньскую, говорит, что у нее были огненные глаза.

ский голос). Это не Алексея Ивановича (который советовал, то есть Пушкину, сделать из этого поэму, и якобы тот начал, да бросил) так поразило сказание Аврелия Виктора, а самого Александра Сергеевича, который трижды, если не четырежды (1824, 1828 и 1835–1836 гг.) подходил к этой теме.

* * *

Тема Клеопатры была для Пушкина так неотвязна, что и в “Повести из римской жизни” (1833–35 гг.) он снова (чуть не 5-й раз) предполагал к ней вернуться (см. в наброске плана: “Он перевязывает рану – и начинаются рассказы – 1) О Клеопатре – наши рассуждения о том”)¹.

Эта повесть с стихотворными пушкинскими вставками по жанру очень близка произведению, носящему условное заглавие “Мы проводили вечер...”²; там тоже пушкинская стихотворная вставка и та же тема смерти мужественной, добровольной, и та же античность (самоубийство), и она тоже могла бы стать прозаической маленькой трагедией.

Во всяком случае, эти две вещи тесно примыкают друг к другу, высоко трактуют одни и те же предметы, могли бы стать частями какого-то цикла и представляют собою яркое свидетельство того, что в это время глубоко волновало Пушкина³.

План статьи о поздней пушкинской прозе

1. Положение вещей до моих наблюдений.
2. “Мы проводили...” и ранние светские повести (“Роман на Кавказских водах”, “Роман в письмах”, 1829, “Гости съезжались на дачу”, 1828. Реальные действующие лица: Кубович – Якубович, Вольская – Закревская, то же в “Русском

¹ Очевидно, Пушкину еще захотелось на тему о Клеопатре заставить высказаться древних римлян (между прочим, кажется, Нерон был правнуком Антония), современников Нерона и Петрония.

² Рассказ ведется также от лица каких-то непонятных персонажей.

³ Сюда, вероятно, принадлежит и странный “Странник” Беньяна (1835).

Пеламе"). "Мы проводили..." — проза совершенно другого типа и, во-первых, ни в каком случае не отрывок, не обрамление "Клеопатры". Эту прозу следует сравнить и сблизить с другой пушкинской прозой — "Цезарь путешествовал". И там и тут рассказ ведется от лица каких-то неизвестных "мы", которые ничем не обнаруживают свое присутствие. Пусть нас не обманывает форма. В первом случае это как бы светская повесть (хозяйка салона из 8-й главы "Онегина" Д. Фикельмон¹), архивные юноши (один из них Титов) — латинисты, комические персонажи, уродливая графиня и ошибшийся польский муж (ср.: "...женатый На кукле чахлой и горбатой"), где-то за кулисами сам Александр Сергеевич, произведение которого тут же читается (ср. "Роман в письмах" и "Гости съезжались...").

Но все это мелочи, которые не должны отвлекать нас от главного. "Мы проводили..." — не отрывок. Там сказано все, что хотел сказать автор. У этой вещи очень крепкий и решительный конец. Этим Пушкин, который так много и долго думал об условиях Клеопатры, хотел сказать: "Вот какой вид это имело бы теперь в XIX веке в Петербурге". (Принцип маленьких трагедий — все происходит, когда занавес уже упал, что замечено рядом пушкинистов.)

Второе мужественное и продуманное самоубийство происходит на фоне древнего Рима. Здесь нас не должны отвлекать почти археологические подробности (вроде описания статуй и обстановки дачи)¹. Тема этой вещи — самоубийство писателя Петрония (автора Сатирикона). Не надо забывать, что и сама Клеопатра прославлена как одна из знаменитых самоубийц в мировой истории.

Примечание. На женщину, которую Пушкин назвал Вольской (и которую не надо смешивать с Вольской отрывка "Гости съезжались на дачу" (Закревской) и в которую он был влюблен в 1830 году так, как Онегин в Татьяну), больше всего похожа Каролина Собаньская — вдова по разводу, ханжа, обладающая огненными глазами. Маркевич вспоминает кро-

¹ Объяснить, что это 3-й слой пушкинской античности. Первый в Личе, второй — Шенье.

ме этих огненных глаз еще *пунцовую* току со страусовыми перьями, которая очень шла к Каролине (30-е годы). Боясь, как бы эта пунцовская тока не оказалась *малиновым* беретом героини 8-й главы "Онегина". Дело в том, что красочные эпитеты так редки у Пушкина, а описаний женских туалетов и совсем нет (а единственное описание в той же 8-й главе (Нина) сделано несомненно с натуры: "в залу Нина входит, Остановилась у дверей").

* * *

Эти наблюдения позволяют поставить вопрос о том, что Пушкин, в 30-х годах прибегавший к циклизации своей лирики, так же относился к тому, что в его творчестве только намечалось и в его время могло бы называться "философской прозой".

Таковы два совершенно законченные и глубоко продуманные произведения, внутренне очень близкие друг другу (и по фактуре) и трактующие одну и ту же проблему (самоубийство). Это — "Мы проводили..." и "Цезарь путешествовал". (Дать подробную характеристику обоих произведений.)

Повторяю: нас не должно обманывать внешнее несходство: в первом случае обличие "светской повести" (обстановка из 8-й главы "Онегина"), во втором археология 3-го пушкинского слоя античности и тон Тацита-Платона. Проблема остается та же. Добровольный уход из жизни сильного человека, для которого оставаться — было бы равносильным потерять уважения к самому себе (Ал. Ив.) или подчинению воле тирана. Позволю себе заметить, что Клеопатра столь же знаменитая самоубийца, как и Петроний. Сближаю с этим в творчестве Пушкина следующие строки:

Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —

в том же 1835 году писал Пушкин о Барклее де Толли ("Полководец").

Кажется, все уже давно согласны с тем, что в этом стихотворении Пушкин оплакивает если не самого себя, то какого-то носителя истины в растленном одичалом обществе ("О люди! жалкий род, достойный слез и смеха...") и не находит для такого человека никакого исхода, кроме самоубийства.

"Все это мало похоже на Пушкина", — скажут мне. Да, мало — на того Пушкина, которого мы знаем, на автора "Евгения Онегина", но уже автора "Дневника" мы не особенно хорошо знаем.

9 марта 1959

Страницы из книги
"Гибель Пушкина"

Как ни странно, я принадлежу к тем пушкинистам, которые считают, что тема семейной трагедии Пушкина не должна обсуждаться. Сделав ее запретной, мы, несомненно, исполнили бы волю поэта.

И если после всего сказанного я все-таки обратилась к этой теме, то только потому, что по этому поводу написано столько грубой и злой неправды, читатели так охотно верят чему попало и с благодарностью приемлют и змеиное шипение Полетики, и маразмический бред Трубецкого, и сюсюканье Араповой. И раз теперь, благодаря длинному ряду вновь появившихся документов, можно уничтожить эту неправду, мы должны это сделать.

Работа эта сделана уже очень давно, в основном еще до войны. В дальнейшем мне приходилось только вставлять в нее новые сведения (из дневника Фикельмон, о Дантесе в гостях у Александры Николаевны, семейную переписку Карамзиных и т.д.), которые ни разу не противоречили первоначальной концепции. Я часто сначала рассказывала, а потом читала свою работу. Поэтому кое-что в ней может показаться уже слышанным. Истина — едина. Очень трудно, услышав ее, продолжать настаивать на прежнем заблуждении, и совершенно естественно принять ее своим открытием. Это

происходит часто подсознательно, и я уверена, что каждый сталкивался с этим явлением.

26 августа 1958 г.

1

Голландский дипломат барон Геккерн не был ни Талейраном, ни Меттернихом.

Ни на что больше его, очевидно, не хватило бы, но образовать то, что мы теперь обозначаем изящным словом "склока", Геккерн мог, и он, как мы видим, безупречно провел всю задуманную игру. Такого рода игры для потомства, естественно, превращаются в карточный домик. Дунул, и нет. Это происходит оттого, что выплывают взаимно друг друга уничтожающие документы и вообще тайное становится явным. Тем не менее у Пушкина был опасный и опытный враг. И Пушкин это знал.

Современникам казалось, что Дантес был игрушкой в руках Геккера. Я этого не думаю. Поначалу, пока он был влюблён в Наталию Николаевну, он даже, вероятно, его обманывал (см. 2-е письмо 36 года, где он пишет, что, узнав о любви к нему Наталии Николаевны, почувствовал к ней только уважение. Это всего вернее ответ на первое предупреждение Геккера: "Опомнись!" – или нечто подобное). Это же он старался внушить Александру Карамзину. Вообще же в этой игре Дантесу предоставлялась голубая роль – он должен был играть на одном обаянии, что, благодаря его удачной внешности, ему и удавалось. (См. сцену в письме Андрея Карамзина из-за границы – Дантес бросается к нему в парке, Дантес – плачет и т.д.)

Следующей [агенткой или] жертвой Геккера была Н.Н. Пушкина. Она была задумана как передатчица Пушкину неудачи его политики. (Это то, что Пушкин считал актом доверия с ее стороны и чем он очень гордился.)

Мы, к сожалению, знаем, что Наталия Николаевна неплохо справилась со своим заданием (см. дневник Фикельмон). Оуществить это Геккерн мог только при беспамят-

ной влюбленности Наталии Николаевны в его приемного сына. Очень близка к этой роли была Софья Карамзина, что явствует из ее писем к брату. Для нее Дантес всегда прав.

Всего чего угодно посол добивался по той же причине от Екатерины Николаевны, которая с легкостью отреагировала на заменившую ей мать тетки Загряжской (тон ее письма о тете – Геккерн называет Загряжскую несносной) и по приезде во Францию немедленно тайно перешла в католичество.

Все остальные члены дантесовской "bande joyeuse" <веселой шайки>, о существовании которой мы узнали сравнительно недавно, приносили посильную пользу. Их деятельность, получившая отражение в семейной переписке Карамзиных (об отсутствии которой так сокрушался Щеголев), сводилась к тому, что они, во-первых, осуждали Пушкина и представляли его старым ревнивым мужем красавицы, человеком с невыносимым характером и т.д., а во-вторых, несомненно сообщали через своего главаря голландскому послу все, что делается у Пушкина, и не приходится удивляться, что кто-то предупредил баронов, что Пушкин намерен их бить на балу у графини Разумовской. Даже после смерти Пушкина они продолжали эту линию поведения (Машенька Вяземская-Валуева)¹.

Так же несомненно Геккерн организовал кавалергардов (конечно, не без помощи Дантеса), так что дантесовская история сделалась вопросом чести полка. (Мнение о "правоте" Дантеса было так широко распространено, что даже попало в тютчевские стихи "Будь прав или виновен он".)

С какой готовностью молодежь этого кружка (Карамзины, Вяземские) сообщала Дантесу все, что могло его интересовать, видно из письма Дантеса к Бреверну из-под ареста.

Мы с ужасом узнаем, что через восемнадцать дней после смерти Пушкина Машенька Валуева (дочь Вяземских) пе-

¹ См. письмо Дантеса из-под ареста к презесу суда. Теперь нетрудно объяснить таинственную запись в дневнике А.И. Тургенева (19 дек^{абря} 1836г.): "Вечер у кн. Мещерской Карамзиной". О Пушкине – все нападают на него за жену, я заступался. Комплименты Софьи Николаевны моей любезности". Вот что происходило (вероятно, не особенно редко) за спиной Пушкина в доме его "друзей".

рассказывала Ек. Николаевне Дантес слова, сказанные Пушкиным в салоне ее матери ("Je suis mechant je finis toujours porter malheur..." <"Я зол и я кончаю всегда тем, что приношу несчастье..."> и т.д.)

Не верить этому сообщению Дантеса, мы, к сожалению, не можем, потому что он просит вызвать Валуеву как свидетеля защиты.

Если тяжелая трагедия, которую русское общество чувствовало и чувствует (1962) как незаживающую рану не подсказала этой молодой особе (вероятно, видевшей Пушкина в гробу), можно себе представить, как хорошо была поставлена осведомительная служба Геккерна до 27 янв^{яр}я <...>.

Я уже отметила, что эта поражающая нас недоброжелательность молодежи к Пушкину тоже была взращена Дантесом, раз он был их "законодателем".

От Геккерна же (см. его письмо в Голландию), сразу после смерти Пушкина, пошли слухи¹ о том, что Пушкин был главой тайной революционной организации. Это делалось, чтобы напугать Николая I и Бенкендорфа, что, по-видимому, было не так трудно и имело следствием тайные похороны, где жандармов было больше, чем друзей (см. дневник А.И. Тургенева).

Однако всего этого было недостаточно для Геккерна. Ему еще предстояло обеспечить почетное возвращение Жоржа в Европу после провала петербургской карьеры. Поэтому он продолжал твердить о благородстве Дантеса, который ни минуты не колебался спасти доброе имя госпожи Пушкиной и навеки закабалить себя женитьбой на ее некрасивой сестре. Но тут-то и начинается карточный домик: в это самое время посланник, как добрый папа, возит-

¹ Эти же слухи так возмутили Лермонтова, что он написал гениальные стихи в защиту Пушкина. Как они были приняты Николаем I и Бенкендорфом, мы узнали только несколько месяцев тому назад (в конце 1959 г.). Оказывается, император хотел проделать с Лермонтовым ту же шутку, что с Чаадаевым, т.е. объявить его сумасшедшим. Но, что гораздо существеннее, эта Дантесовская шайка оказала какое-то влияние на старших, т.е. единственных друзей Пушкина (Вяземские, Жуковский, Карамзины), которые любили предоставлять свой дом для встреч Н.Н. и Дантеса.

ся с Катериной, с поражавшим всех изяществом убирает ее комнаты, развлекает ее, пишет о ее здоровье и настроении письма Жоржу и, таким образом, является самым настоящим предателем по отношению к своей *belle fille* <невестке>, госпожу же Пушкину, чьей чести принесена в жертву прекрасная жизнь Жоржа Дантеса, посланник просит вызвать (как последнюю авантюристку) в суд и взять с нее под присягой показания о том, что она облазняла жениха, а затем мужа своей сестры и что он, посланник, предупреждал ее от бездны, куда она стремилась, да еще в выражениях, которые должны были ее оскорбить, о чем известно двум высокопоставленным дамам, с которыми он, посланник, ежедневно делился своими опасениями. Несомненно, одной из этих дам была гр. Нессельроде, другая — "la comtesse Sophie <графиня Софи> В." "воровской" записки — гр. Бобринская, жена церемониймейстера высочайшего двора и внука Екатерины II. Небезынтересно, что обе эти дамы были хозяйками двух влиятельных салонов Петербурга.

Письмо, в котором это написано (1 марта 1837 г.), обращено к Нессельроде, но так как в это время Геккерн (по словам Вяземского) проводил целые дни у Нессельроде, где его утешала графиня, надо думать, что это письмо принадлежит к тому эпистолярному жанру, когда адресат и отправитель стряпают произведение вместе, чтобы представить его третьему лицу. Таким лицом в данном случае был Николай I.

Может быть, кого-нибудь заинтересует, что через три года (28 декабря 1840 г.) тот же Нессельроде писал Мейндорфу: "Геккерн на все способен: это человек без чести и совести; он вообще не имеет права на уважение и нетерпим в нашем обществе".

Ни Жуковский, который писал Бенкендорфу о Дантесе: "С другой стороны был и ветреный и злонамеренный разврат", ни Вяземский, который писал нечто подобное Мусиной-Пушкиной, ни, что еще гораздо важнее, сам Пушкин,

который называл поведение Дантеса *manège* <проделка> (см. черновик картеля), не верили в любовь Дантеса¹. В нее верила только Наталия Николаевна и дамы высшего общества, и этого, как ни удивительно, было достаточно, чтобы потомки получили эту легенду во всей неприкосновенности. Случилось это потому, что так интереснее. Старший Геккерн не только восторжествовал, к нашему стыду, над Пушкиным при жизни, он до сих пор продолжает праздновать победу своей дипломатии. При жизненной победе Геккерна не приходится удивляться; проваренная в интригах старая дипломатическая лиса должна была успешно провести всю операцию и даже замести следы, но как русское общество не разоблачило “котильонного короля” Дантеса и потерпело, что великкая жизнь была принесена в жертву тщеславию мелкого карьериста, и в течение ста двадцати лет повторяло, превращало в театральные представления, а затем и в кинофильмы злонамеренное вранье подозрительного барона²? Легенда о многолетней, возвышенной любви Дантеса идет от самой Наталии Николаевны (*une persévérence de deux années* – двухлетнее постоянство – сказано в ноябрьском письме 36 года).

Итак, Жорж Дантес любил Наталию Николаевну и был верен ей с осени 34 года? Однако теперь мы имеем письмо Дантеса от 20 января 36 года, где он сообщает посланнику как последнюю новость, что он влюбился в даму, чей муж *est d'une jalouse révoltante*, возмутительно ревнив. (Значит, уже тогда Н.Н. жаловалась Дантесу на ревность Пушкина.) По Щеголеву, все оставалось непонятно. Как Пушкин, при его характере, мог терпеть двухлетний или даже трехлетний роман своей жены и, следственно, сплетни света? Те-

¹ Я ничуть не утверждаю, что Дантес никогда не был влюблён в Наталию Николаевну. Он был в неё влюблён с января 36 г. до осени. Во втором письме “elle est simple” все же – дурочка. Но уже летом эта любовь производила на Трубецкого впечатление довольно неглубокой влюбленности, когда же выяснилось, что она грозит гибелью карьеры, он быстро отрезвел, стал осторожным, в разговоре с Соллогубом назвал её *tiègée* (кривлякой) и *Narrin* (урошкой, глупышкой), по требованию посланника написал письмо, где отказывается от нее, а под конец, вероятно, и возненавидел, потому что был с ней невероятно груб и нет ни тени раскаяния в его поведении после дуэли.

перь же все становится на свое место: Дантес влюбился в январе 36 года, объяснился в феврале, получив известный ответ¹ дамы, которая в это время была беременна на 6-м месяце (23 мая родилась последняя дочь Пушкина Наталия). Надо думать, что последние два месяца Наталия Николаевна не показывалась в свете², тем более что в Страстную субботу умерла мать Пушкина и у них был траур³. Пушкин уехал сначала в Михайловское хоронить мать, затем в Москву. Письма поэта к жене совершенно безмятежны (например, “как ты перетащила свое брюхо?..”). Наталия Николаевна переехала с детьми на нанятую ею дорогую дачу Доброльского. Коко и Азя стали кататься верхом с кавалергардами (“кланяйся своим наездницам”) – т.е. уже появляется Дантес. После родов Наталия Николаевна была больна месяц. С июля она снова начала выезжать. И вот только с этого времени начались сплетни (минеральные воды, катанье верхом и т.д.).

В мае вернулся после годичного отсутствия старший Геккерн, и только тогда он мог, по выражению Пушкина, сводить его жену с собственным “батаром”. Это опять информация Наталии Николаевны, и опять ложная. Дантес и Наталия Николаевна прекрасно объяснились в феврале, когда барон путешествовал по Европам и усыновлял Дантеса, а фраза: “Rendez-moi mon fils” <“Верните мне моего сына”> не свидетельствует о сводничестве, а скорее наоборот. Затем не совсем понятно, почему супруга камер-юнкера Пушкина и первая красавица придворного Петербурга оказывалась на балах в каких-то углах (“dans tous les coins”) и позволяла нидерландскому посланнику говорить ей непристойности. (А дело в том, что в октябре Дантес был болен и Наталия Николаевна, конечно, хотела узнать, как он себя чувствует.)

¹ Т.е., что она его любит, никогда так не любила, хочет, чтобы он ее любил, но верна долгу, т.е. отвечала, как Татьяна.

² Раньше я думала так, однако из карамзинской переписки яствует, что Н.Н. встречалась с Дантесом у Карамзиных, где все знали, что он в неё влюблен.

³ 9 июня Пушкин пишет: “Я в трауре и никуда не езжу” – не тогда ли Наталия Николаевна выезжала одна, в чем упрекает Пушкина Долли?

Геккерн сразу и до конца понял линию поведения Пушкина. Но если бы он почему-нибудь ее не понял, ему бы ее немедленно объяснили.

Вся молодежь двух дружественных Пушкину домов (Карамзины, Вяземские) была за Жоржа – белокурого, остромного котильонного принца. К этой молодежи принадлежала и Наталия Николаевна, которая спокойно выслушала от Валуева, девятнадцатилетнего камер-юнкера и мужа Машеньки Вяземской, такой вопрос: “Как вы позволяете подобному человеку так обращаться с вами?” (это о Пушкине!). И даже ответила: “Я знаю, что я не права, потому что всякий раз, как он ко мне обращается, меня охватывает дрожь”. Это единственная известная нам фраза Н.Н., относящаяся к преддурьльной истории.

Итак, Геккерн знал, что намерен был сделать Пушкин. Он хотел сделать смешным Дантеса и выставить его трусом. Может быть, современному читателю не до конца понятно, чем этот план грозил Дантесу. А грозил он крушением карьеры, потому что гвардеец, а тем более кавалергард не мог всенародно оказаться трусом. Надо было подавать в отставку и оставаться ни с чем. На это Геккерны были не согласны. Надо было быть не трусом, а героем. И посланник начал превращать своего приемного сына в героя. Для этого Дантес должен был симулировать несчастную страсть на всех петербургских балах, т.е. стоять у колонны, вздыхать, бросать страстные взгляды, произносить громкие фразы вроде: “Пусть меня судит свет” (дневник Мердер). Но дело в том, что сама версия Геккерна содержит в себе нечто, бросающее тень на жену поэта. Сплетники, как видим, честно сделали свое дело. Оставил Пушкин. До его сведения необходимо было довести, что Дантес не George Dandin и т.д., а благороднейший молодой человек, который ни минуты не колебался, а сразу принес себя в жертву любимой женщине, женясь на ее некрасивой сестре. Однако довести это до сведения Пушкина было не так легко. Друзья только оглаживали взволнованного и омраченного поэта или довольно нескладно пытались сблизить Пушки-

на с Дантесом, в чем их так горько упрекает графиня Фикельмон (см. дневник).

Враги бы поостереглись заговорить с Пушкиным на эту тему, рискуя получить пощечину или вызов на поединок (см. историю с мальчишкой Соллогубом), и в план Геккерна, очевидно, вошло возложить эту миссию на Наталию Николаевну. Она одна могла пересказывать мужу уверения посланника и новеллы о благородстве Дантеса, что она, как мы знаем, и делала, становясь, таким образом, агенткой Геккерна. А им это было необходимо, чтобы разоружить Пушкина и заставить его замолчать. Таким же агентом Геккерна был и Долгоруков-бансал, который подставлял рога Пушкину за его спиной. Когда же появился еще один человек, который мог начистоту говорить с Пушкиным и, очевидно, сообщил поэту, что Геккерн победил, версия о благородстве Дантеса взяла верх над его *tu l'as voulu*, George Dandin <ты этого хотел, Жорж Данден> и т.д., тогда произошла дуэль. Этим человеком была тригорская соседка и старый друг Пушкина баронесса Вревская, которая в начале 1837 года приехала в Петербург, и вот за что обвиняла ее Наталия Николаевна после смерти Пушкина, а не за то, что она, зная о дуэли, не приняла должных мер. О дуэли знали многие (Вяземский, Перовский...), и, между прочим, “друг Пушкина” Александрина Гончарова. Могу сообщить многочисленным поклонникам этой дамы, что много лет спустя Александра Николаевна, не без умиления, записала в своем дневнике, что к ней в имение (в Австрии) в один день приехали ее beau-frère <зять> Дантес (очевидно, из Вены, от Геккерна) и Наталия Николаевна из России. И вдова Пушкина долго гуляла вдвоем по парку с убийцей своего мужа и якобы помирась с ним. Судя по мемуарам Араповой, легенда о великой любви Дантеса бытовала в доме Ланских. Туда она могла попасть только от самой Наталии Николаевны.

Совершенно понятно, что свадьба Екатерины Николаевны активизировала сплетни¹ (отношения между сестра-

¹ См., например, запись в дневнике А.И. Тургенева (21 января) о том, что д'Аршиак показывал ему ноябрьские дуэльные документы. Зачем? Когда все было, по-видимому, так благополучно завершено.

ми, отсутствие Пушкина на свадьбе...), и Вревская могла сообщить Пушкину целый ворох новостей.

После декабрьского успокоения Геккерны в связи со свадьбой опять потянули своих куколок за нитки: "Городские сплетни возобновились" (Вяземский). "Все снова стали говорить про его любовь" (Н. Смирнов).

Итак, Вревская сделала свое роковое сообщение. В глазах света Данте斯 герой и т.д., а если Данте斯 герой — Пушкин смешон. Пушкину было нечего возразить на это. Так возник январский вызов.

Второй причиной посылки картеля я считаю событие давно известное, но неверно толкуемое. Николай I, через много лет, рассказывал Корфу, что чуть не накануне дуэли говорил с Наталией Николаевной о ее семейных делах, а затем Пушкин якобы благодарил Николая I. Надо думать, что монарх кое-что забыл, кое-что смягчил и это был просто очередной ремонтранс (выговор) жены камер-юнкера, которая подала повод к сплетням. Если сравнить этот эпизод с тем, что записывает Пушкин в дневнике о молодой Суворовой (Ярцевой), ясно, что разговор царя с Наталией Николаевной был для Пушкина чуть ли не последней каплей, переполнившей чашу. Значит, здесь опять виноват Николай I (рассказ Николая I кончается так: через три дня был его последний дуэль).

Это значит, что по-тогдашнему, по-бальному, по-зимнедворскому, жена камер-юнкера Пушкина вела себя неприлично¹. И Николай I, конечно, не упрекал Наталию Николаевну за то, что в нее влюблен Данте, — его он, однако, не вызывал и не делал ему замечаний (так же как и полковой командир) по поводу его поведения.

Поведение Данте было точно выверено, и все разговоры о неприличии его манеры держать себя возникли уже после смерти Пушкина, когда стали искать причины катастрофы, а ищут в таких случаях весьма примитивно. (На-

¹ Что Наталия Николаевна не умела вести себя в обществе, мы узнаем не от одной графини Фикельмон, но и из писем Вяземского к самой Наталии Николаевне уже после смерти Пушкина.

пример, то, что Данте публично звал Катерину *ma legitimate* *<моя законная>*, не свидетельствует ни о чем, кроме некоторого стремления к просторечию, а отнюдь не намекает на какую-то "незаконную"…)

Что же касается тайны, окутывающей эту историю и о которой дважды пишет Вяземский (Булгакову и Мусиной-Пушкиной от 26 февраля 37 года), напомню, что в письме к Михаилу Павловичу он же говорит, что Пушкин считал анонимное письмо проделкой Геккера и умер в этой уверенности (значит, Жуковский утаил, что, умирая, Пушкин еще вспомнил о Геккере). Не это ли знание Пушкина казалось Вяземскому неразрешимой тайной?

Эта уверенность Пушкина сыграла немалую роль в преддурьльной истории. Благодаря ей состоялась его встреча с Бенкендорфом, который, получив письмо Пушкина, где находилась фраза о посланнике как авторе диплома, немедленно повез поэта в Зимний дворец¹. Там Пушкин доказал Николаю I свое подозрение, иначе быть не могло. Бросить столь важной персоне, как нидерландский посланник (царский любимец, только что награжденный орденом Анны I степени), такое обвинение и не доказать его значило оказаться в каземате или ехать с фельдъегерем в Нерчинск. А мы знаем, что с Пушкиным после этого свидания решительно ничего дурного не случилось, а Николай I (по словам Гогенлюэ-Кирхберга и Смирнова) считал Геккера автором пасквиля по сходству почерка. Буквально то же сказал Данзас Аммосову. Почерк при библиотечном начертании букв едва ли можно до конца определить, но во всяком случае три известные нам дипломы написаны не Геккерном.

¹ Как трудно было Пушкину получить аудиенцию у царя, видно из того, как долго и бесплодно он хлопотал о ней, когда хотел поднести Николаю I "Историю Пугачева" и жандармы кормили его таким ответом: "Государем Императором будет угодно назначить Вам...", а тут сразу же, в тот же день.

Когда же Геккерн после смерти Пушкина попробовал оправдаться, послав Николаю I какие-то пять документов, ему было предложено подать в отставку, хотя для царя было гораздо проще повелеть провинившемуся камер-юнкеру уехать в свою деревню, чем потребовать отставки посла.

Однако было еще по крайней мере семь дипломов, до нас не дошедших, а еще был печатный текст, с которого производилась переписка, и в нем надо было вписать только две фамилии. Напомню, что о каком-то дипломе какого-то формата очень тревожились Геккерны. А еще они тревожились о печати, и не случайно, конечно, и Пушкин пишет Бенкендорфу, что догадался по печати. Итак, из сравнения письма Пушкина Бенкендорфу с "воровской запиской" дипломата к своему приемному сыну в тюрьму видно, что бароны в чем-то просчитались и Пушкин их на чем-то поймал. И, торжествуя, Пушкин пишет ноябрьское письмо. Это документ такой важности для нашей темы, что на нем придется остановиться подробнее.

В своих письмах к Пушкину по поводу пушкинского ноябряского плана мести Жуковский так сдержан, изъясняется столь туманно, что из них немногое извлечешь. Гораздо выразительнее его "сказочки", которую я сейчас перескажу и должным образом прокомментирую. Напомню тогда же, когда Соллогуб предложил свои услуги как секундант, Пушкин сказал: "Дуэли не будет, но будет одно объяснение, при котором желательно присутствие светского человека".

В этой "сказочке", на которую никто не обратил должного внимания, Жуковским иносказательно рассказаны события преддверья истории. Серый волк (Дантес), который хочет съесть любимую овечку (Н.Н.) пастуха-стрелка (Пушкина), но заглядывается и на других его овечек (Коко, Азя), да и облизывается. Тут же Дантес называется волком-прожорой¹. Далее так изображено сватовство Дантеса: "Но вот узнал прожора, что стрелок его стережет и хочет застрелить (вызов). И стало это неприятно серому волку (Дантес струсили); и стал он делать пастуху *разные предложения* (женившись на К.Н.), на которые пастух и согласился". Затем следует описание плана мести Пушкина: "(пастух думал) — как бы мне доконать этого долгохвостого хахаля... Я соберу

¹ Ср. с характеристикой, данной Дантесу Жуковским в письме к Бенкендорфу: "с другой стороны был и ветреный и злонамеренный разврат".

соседей, и мы накинем на волка аркан"¹. И тут же Жуковский отказывается от роли свиньи, которая должна своим хрюканьем выманить волка, т.е. заманить Геккернов к Пушкину, где в присутствии "соседей" — светских людей — будет разоблачено авторство посланника (а м.б., и Дантеса, ср. в письме Бенкендорфу: "mm. les H.").

Но месть Пушкина должна была состоять из 2-х частей, первую о Дантесе мы уже рассмотрели (и знаем ее судьбу), вторая относится к дипломату (теперь мне старичка подавайте — сказал в ноябре Пушкин Соллогубу). Пока я не буду доказывать свои утверждения и прошу читателя поверить, что могу доказать каждое слово.

Итак, месть Пушкина состояла в том, чтобы выманить Геккерна и в присутствии светского человека уличить его в составлении пасквиля.

Едва ли нужно говорить, что после этого Геккерн не мог ни минуты оставаться послом (*vous de la votre...*), а Дантес кавалергардом. На это намекает Пушкин даже в январском письме, прибавляя, что имел намерение и власть это сделать, и не Жуковский уговорил Пушкина, Пушкин его бы просто не послушался. Это сделал Император Всероссийский Николай I в Зимнем Дворце 23 ноября. Об участии в этом деле Жуковского и о том, что Пушкин, все-таки нарушив обещание, объявил (в французском посольстве, в присутствии двух светских людей Даршиака и Данзаса), что он считает посла автором пасквиля, я буду говорить особо, однако прошу заметить, что Николай I запретил сразу касаться вопроса о дипломе, а Данзас, очевидно, повторил слова Пушкина, утверждая, что поэт догадался по *почерку*.

Весь пушкинский план дискредитации Геккерна оказался неприемлемым для Николая I, хотя Пушкин и убедил его, что автором диплома был посол. Царь, очевидно, за-

¹ Письмо Жуковского к Пушкину: "Зная предварительно о том, что ты намерен *сделать*" (Пушкин, т. XVI, стр. 186). Пушкин, действительно, собирался собрать соседей и накинуть на Геккернов аркан, и это была та месть, в сравнении с которой одесские "подвиги" Раевского превращались в ничто и которую ему Пушкину запретил царь, а не Жуковский, как думает Соллогуб.

претил Пушкину посыпать ноябрьское письмо Геккерну и разоблачать его в глазах петербургского общества, а в этих черновиках Пушкин писал: “Дуэли мне уже недостаточно, каков бы ни был ее исход”, — значит, ему мало было убить Дантеса и пр., он хотел убрать с поста нидерландского посланника, предварительно опозорив его в глазах общества и обоих дворов как автора анонимных писем.

В январе все наоборот: Данте斯 герой, принесший свою жизнь в жертву во спасение чести Наталии Николаевны, посол под охраной Николая I, и дано слово его не разоблачать, остаются только бездоказательные обвинения — отказ от дома (который, однако, не следует преуменьшать) и поток ругательств, которые свидетельствуют лишь о бессильной ярости.

Дуэль была назначена на 21 ноября (8 ч. утра) <...>. Вместо этого произошло официальное сватовство Дантеса, и Пушкин приступил к исполнению мести — разоблачению Геккерна-старшего как автора анонимных писем (суббота). Пушкин считал, что с молодым он достаточно расправился, жения его на Коко. К этому времени Наталия Николаевна снабдила мужа достаточным материалом для бешенства самого безудержного, в этот же день возникли страшные черновики писем и письмо (к Геккерну-старшему), Пушкин, очевидно, писал их почти одновременно с письмом (сначала тоже черновик) к Бенкендорфу. Письмо к Геккерну комментирует черновики письма к Бенкендорфу. Письмо к Бенкендорфу комментируют черновики письма к Геккерну. Геккерну он, конечно, не объясняет, как он догадался, кто послал пасквиль, а только хвастается своей находчивостью и говорит, что они были сфабрикованы со столь малыми *предосторожностями*. Бенкендорфу он объясняет, что догадался, что пасквиль исходит от дипломата, иностранца и пр.: 1) по бумаге (гладкая, английская), 2) по печати или сургучу, 3) отгадал по тому, как они были составлены. Третье — отпадает. Диплом в печатном виде был у Аршиака — его только стоило списать. Бумага и печать могли выплыть в откровениях Наталии Николаевны, если, на-

пример, какая-нибудь записка Дантеса была запечатана ею. Недаром Геккерн описывает Дантесу *печать*, которой были запечатаны пасквили, в своей “воровской записке”. Какое дело невинному человеку до того, какого формата бумага на штурмском дипломе и что изображено на печати?

Не потому ли III Отделение затребовало почерк Дантеса? Там уже знали, очевидно, что диплом из голландского посольства¹.

Если январское письмо построено только на информации, доставленной Наталией Николаевной, в ноябрьском несомненно чувствуется еще один голос, что никогда и nowhere не отмечено. Все, что относится к анонимному письму, сообщено не Наталией Николаевной, она, конечно, не могла знать, что в посольстве фабрикуется документ, порочащий ее честь. Прибавим к этому, что своими сведениями Пушкин очень гордится и непоколебимо уверен в их достоверности. Понимать это надо так: некто присутствует при разговоре Геккерна с Дантесям, при нем же решается “le coup décisif” <решительный удар> — анонимные письма, затем это лицо идет к Пушкину и все ему рассказывает, чем дает ему возможность вточить посланника в грязь, но, очевидно, по совершенно понятным причинам это лицо пожелало остаться неизвестным. Здесь вспоминается рассказ барона Бюлера: “В 40-х гг. у Одоевского Лев Пушкин впервые узнал из подробного, в высшей степени занимательного рассказа гр. Виельгорского все *коварные подстрекания*, которые довели брата его до дуэли. Передавать в печати слышимое мною тогда и теперь еще неудобно². Скажу

1 Упоминание Бенкендорфом Тибо, учителя француза, жившего у Карамзина (как возможного автора диплома), после обнаружения “bande joyeuse” становится интересным. Он тоже мог быть одним из “mes drôles” <“моих молодцов”>. Шефу жандармов было, очевидно, известно, что карамзинский француз был как-то связан с Дантесям. И вообще, при всей нашей нелюбви к Бенкендорфу не следует преуменьшать его осведомленность. Поэтому же Щеголев совершенно напрасно иронизирует над тем, что Бенкендорф запросил почерк Дантеса. Это следствие разговора (23 ноября) в Зимнем, следствие того, что Николай I поверил Пушкину.

2 Вероятно, в этом же рассказе фигурировала неприглядная роль Николая I в этой истории: он взял с Пушкина слово ничего не предпринимать самому, обещая принять меры, и ничего не сделал.

только, что известный впоследствии писатель-генеалог П.В. Долгоруков был тут поименован в числе авторов возбудительных подметных писем" (Русский архив. 1872.1, стлб. 204). Здесь все: и то, что автор анонимного письма был не один, и какие-то коварные подстрекания, и имя Долгорукова.

А примерно через 20 лет (1860 г.) сам Одоевский пишет о Долгоруком: "Этот недоучившийся господин практиковался лишь по части сплетен, *переносов анонимных подметных писем* и действовал на этом поприще с большим успехом: от них произошли многие ссоры, семейные бедствия и, между прочим, одна великая потеря, которую Россия доныне оплакивает".

Эта известная цитата в свете моего открытия о неизвестном получает новое значение — значит, Одоевский знает, что имел место какой-то *перенос анонимных писем*.

Так как Виельгорский был одним из лиц, получивших диплом, он, очевидно, знал от Пушкина, что не все дипломы были писаны одним почерком. До сих пор мы не знали, какие "коварные подстрекания" довели Пушкина до дуэли. Но здесь можно предположить двойную игру Долгорукова. Не он ли информировал Пушкина и дал ему материал для ноябрьского письма: о разговоре между Геккерном и Данте-сом, о плане анонимного письма, о рассылке его. Думать, что Пушкин просто фантазировал, немыслимо. В январском картеле голос этого таинственного осведомителя отсутствует. "Господа Геккерны" в письме к Бенкендорфу ("mes droles" — в ноябрьском черновике) указывают на то, что он знал о причастности Дантеса к пасквилю. Вот в чем, по нашему мнению, состояли "коварные подстрекания" Долгорукова или кого-нибудь другого из шайки Геккерна.

Дальнейшие разыскания подтверждают близость Долгорукова к "bande joyeuse" Дантеса. Вяземский пишет же-не (1839 г.): "косолапый Долгорукий — приятель Валуева", Валуева (зятя Вяземского) называет и сам bancal [светское прозвище Долгорукова] в своем оправдательном письме среди лиц, с которыми он дружил до своего отъез-

да за границу, его же Данте просит вызвать как свидетеля защиты.

С другой стороны, о близости банкаля к своре Геккерна довольно энергично выразился тот же Вяземский, назвав bancal'я одним из "молодых людей наглого разврата", окружавших голландского посланника.

В 1839 году Долгоруков сыграл весьма странную роль в дуэли кн. Лобанова-Ростовского с кн. Львом Гагариным. Он предложил участникам этой дуэли составить документ о дуэли, взял его на хранение и, по-видимому, доставил полиции, так что, когда участники дуэли явились на место поединка, их уже ждали там жандармы.

Противники версии о bancal'е как авторе пасквиля указывают на то, что она возникла лишь после воронцовской истории (1861 г.), между тем как Гагарина называли сразу. На это я могу возразить следующее: в 1848 году, т.е. через 11 лет после рассылки пасквиля и сразу после французской революции, Чаадаев в Москве получил письмо за подписью Луи Колардо, который был якобы знаменитым французским психиатром, прибыл из Парижа, города, как известно, переполненного безумцами всякого рода, в Москву, желая излечить Чаадаева от мании величия. Ряд знакомых Чаадаева тоже получили подобные письма с просьбой уговорить Чаадаева принять услуги знаменитости, потому что, вылечив его, г. Колардо будет иметь доступ в дом знаменитейшего сумасшедшего Дмитриева-Мамонова. Письмо Колардо составлено весьма нагло. Чаадаев немедленно догадался, что автор этого послания — bancal, и тотчас же сочинил очень остроумный ответ, который, по-видимому, забыл отправить¹. Я обращаю внимание читателей на следующие обстоятельства: 1. Письмо послано целому ряду людей (друзей жертвы); 2. Дмитриев-Мамонов играет в письме ту же роль, что Нарышкин в пасквиле 1836 г. Там — знаменитый рогоносец, здесь — знаменитый сумасшед-

¹ "Вестник Европы". 1871. № 9. С. 48—49 <С. 9—54. Жихарев М. Чаадаев. Из воспоминаний современника>. На эту статью обратил мое внимание Н.И. Харджиев, за что приношу ему живейшую благодарность.

ший. Это писала одна и та же рука, это придумал тот же самый человек, и этим человеком был кн. Петр Владимирович Долгоруков. Здесь имело место то, что в уголовном праве носит название “единство метода” и является безусловным доказательством виновности подсудимого.

О причинах отправления диплома

Очевидно, голландский посланник, желая разлучить Данте с Наталией Николаевной, был уверен, что “*la man d'une jalouse révoitante*” <возмутительно ревнивый муж>, получив такое письмо, немедленно увезет жену из Петербурга, пошлет к матери в деревню (как в 1834 г.) – куда угодно – и все мирно кончится. Оттого-то все дипломы были посланы друзьям Пушкина, а не врагам, которые, естественно, не могли увещевать поэта. Исключение одно. Тетка Соллогуба – Васильчикова. Она не была в окружении Пушкина. Однако она была сестрой упомянутого в дипломе Нарышкина, и кто-нибудь из “mes circles” мог выбрать ее именно поэтому. Мы знаем, что Пушкин сделал попытку увезти Наталию Николаевну от свадьбы Данте, поехав с ней в Михайловское, о чем он пишет Осиповой, на что соседка отвечает, что красавица жена, наверно, не захочет уезжать (очевидно, в разгар сезона) и кто бы мог найти это дурным (январь 1837), да еще прибавляет: “Honny soit qui mal y pense” <“Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает”>.

Кажется, никто почему-то не отметил, что письмо Пушкина к Данте с отказом от дуэли носит совершенно специфический характер. Это письмо главы дома, на чьем попечении была молодая девушка, к человеку, ее обесчестившему, а затем под угрозой дуэли согласившемуся на ней жениться. И больше ничего. Потому-то секунданты это письмо Данте не показали. С этого письма Пушкин начинает свой первый план мести, который должен изобразить Данте трусом. Письмо это, конечно, компрометирует Ка-

терину, и неудивительно, что она стала его открытым врагом.

Здесь уместно заметить, что брак Данте с Катериной, который казался Пушкину таким смехотворным, вполне устраивал обоих Геккернов.

К этому времени слухи об истинном характере отношений обоих баронов сделались довольно упорными (см. показанья коллег голландского посланника), и Жоржа надо было непременно женить. При такой репутации рассчитывать на блестящую партию было трудно. Жениться на дочери богатого откупщика – опять конец карьеры. Катерина была фрейлиной императрицы, племянницей всесильной Загряжской и великолепного Строганова. Этого, на худой конец, было достаточно для баронов.

Но, что было гораздо важнее, Катерина была без памяти влюблена в Данте и с первого же дня стала игрушкой в руках баронов. Приехав во Францию, она немедленно перешла в католичество. Она, несомненно, была посвящена в игру, т.е. знала, что Жоржу надо притворяться влюбленным в ее сестру (см. черновик дуэльного письма: “vous avez joué à vous trois un rôle... enfin Mad. Neckern” <“вы сыграли все трое такую роль... наконец, г-жа Геккерн”>). Она никак не ревновала – ей все объяснили. Ревновала Наталия Николаевна, которая продолжала тупо верить в великую страсть Данте (см. дневник Фикельмон: “disputant avec son mari sur la possibilité du changement dans le coeur à l'amour duquel elle tenait peut-être par vanité seulement” <“спорила с мужем о возможности такой перемены в сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из-за одного тщеславия”>).

По-видимому, надо верить Жуковскому, когда он уговоривал и успокаивал Пушкина (в ноябре): “Он <Геккерн> дал мне материальное доказательство, что это дело <свадьба> задумано гораздо раньше”. (См. также “сказочку” Жуковского об охотнике и волке.)

Тетка Загряжская написала Жуковскому, благодаря его за устройство свадьбы Катерины: “Итак, все концы в во-

ду” — едва ли подходящая фраза, когда выдают замуж фрейлину.

Вяземский писал Эм. Мусиной-Пушкиной 26 февраля 1837 года: “Эта история, окутанная столькими тайнами даже для тех, кто следил за нею вблизи”. Итак, Вяземскому казалось, что он с близкого расстояния следит за этой историей, однако вот что он писал той же Эмилии Мусиной-Пушкиной 15 января, т.е. через пять дней после свадьбы Катерины. Был у Барантов 14 января: “Мадам Геккерн имела счастливый вид, который ее молодил на десять лет и придавал ей вид только что постригшейся монахини или обманувшейся новобрачной. Я не могу от вас скрыть, что муж тоже много танцевал, много веселился и никакая тень брачной меланхолии не легла на черты его лица, такого красивого и *выразительного*”.

Вот какое впечатление производила эта пара за 10 дней до вызова Пушкина.

Конечно, в этом письме нас интересует не то, что от счастья 29-летняя Катерина казалась 19-летней девочкой, что она была точь-в-точь похожа на новобрачную (вероятно, намек на ее добрачную связь с Дантесом), и не описание красоты Дантеса и отсутствия в нем признаков супружеской меланхолии... Все это банальное великосветское злоречие изящного сплетника.

Нас поражает в этом письме безмятежный тон и, очевидно, полная уверенность Вяземского, что все в порядке, тревожиться ни о чем не надо и, главное, нет никакой тайны (“tant de mystère!” <столькими тайнами> — из цитированного письма Вяземского Эм. Мусиной-Пушкиной). (С этим письмом вполне гармонируют жениховские записочки Дантеса, спокойный, радостный тон которых так удивлял Щеголева.) Это тот же Вяземский, который говорит, что Пушкин сердит на Дантеса, потому что тот перестал ухаживать за его женой. А Жуковский примерно в это же время *смеялся*, узнав, что Андрей Карамзин старается разгадать *тайну* женитьбы Дантеса. Со свадьбы Дантеса и Катерины (10 января) шафера поехали к Карамзинам (см. днев-

ник А.И. Тургенева). Еще бы: ведь Дантес считал карамзинский дом почти родным, как видно из письма Андрея Карамзина.

Замечу вскользь, что об исходе дуэли Вяземские посыпали спрятаться не к Пушкинам, а к Дантесам и что Вяземский за сутки знал о дуэли и не сделал ничего, чтобы спасти своего друга, а княгиня в письме в Москву называла Дантеса только черепицей, которая упала на голову. И очень страшно, что ровно через месяц этот самый Вяземский напишет этой самой Мусиной-Пушкиной о полной победе Дантеса: “Celui qui après l'avoir assassiné *moralement* a fini par être son meurtrier de fait” <“тот, кто был его *моральным* убийцей”, кончил тем, что стал им в действительности>¹.

Как надо понимать эту страшную фразу? Вяземский называет моральным убийством, конечно, то, что никто не верил в трусость Дантеса, а все говорили, что своей женитьбой он спас Н.Н. Этого Пушкин не мог вынести. Это и есть констатирование полного провала пушкинской политики (он морально убит).

Щеголев не прав, когда пишет, что в январском письме не осталось и следа утверждения авторства Геккера. Фраза: “...только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение” — находится и в ноябрьском черновике в несколько иной форме, но относится прямо к возможности разоблачения Геккера как автора анонимных писем.

Если бы Пушкин перестал думать, что Геккерн автор диплома, эта фраза не фигурировала бы в январском письме.

Теперь находит себе место темный и спутанный рассказ Бартенева, со слов кн. Вяземского, о письме 21 ноября: “После этого (т.е. после оглашения помолвки Дантеса) государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, ес-

¹ Старик Левенштерн (очевидно, рупор большинства) пишет, что Дантес триумфально вышел из положения, сделав предложение Катерине (рукопись П.Б.).

ли история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед¹. Так как отношения Пушкина с государем происходили через гр. Бенкendorфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя гр. Бенкendorфа, собственно назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился послать". (Еще в 1-м изд. "Дуэль и смерть" Щеголев предполагает, что это письмо к Нессельроде.)

Эту цитату, а не разговор с Николаем Павловичем надо было привести Щеголеву. Здесь и только здесь сказано, что разговор Николая I и Пушкина имел место после помолвки Дантеса и что царь взял с Пушкина слово. Это слово Пушкин нарушил 27 января во французском посольстве, заявив при двух свидетелях, д'Аршиаке и Данзасе, что Геккерн – автор диплома. Но Пушкин написал 26 января: "Истина сильнее царя" (в письме Толю) – и не скрывал "правды своей в сердце своем", как сказал о нем Тургенев.

Краткое резюме

Итак: Щеголев не учитывает следующих обстоятельств: что весь "роман" длился 1 год, что до мая Наталия Николаевна была беременна, до июля больна, что старик Геккерн появился только в мае, что объяснение произошло в феврале 1836 года, что в ноябре Данте斯 называл уже Наталию Николаевну *méjaurée* (кривляка, дурочки), что план компрометировать Наталию Николаевну возник у Геккернов сразу после сватовства Дантеса, что 23 ноября в Зимнем дворце Николаю I было доказано, что Геккерн послал анонимные письма (или организовал их рассылку), и с Пушкина было взято слово молчать об этом, чем было разрушено

¹ О том же пишет Вревская, когда сообщает, как, встретив Пушкина в театре, умоляя его не послать вызов и пожалеть своих детей. "О них позаботится государь, он знает все мое дело", – ответил Пушкин. Говоря так, Пушкин, очевидно, имеет в виду свою поездку в Зимний и реацию царя на его сообщение. В письме к сестре Николай I сообщает все факты как бы под диктовку Пушкина. Он несколько раз говорит *tогда*, имея в виду ноябрь, т.е. день свидания в Зимнем.

его намерение разоблачения посла в глазах петербургского общества, что, по-видимому, царь обещал поэту, что сам займется этим делом, что весь декабрь Пушкин терпеливо ждал и дождался только активизации сплетен в связи со свадьбой ("городские толки возобновились"). Таким образом, очевидно, что Николай I его обманул, а он сказал Вревской о детях: "Царь позаботится о них, он знает все мое дело", что брак на Катерине весьма устраивал Геккернов (чего не знал и Пушкин), что Катерина *etait dans le jeu* *<участовала в игре>*, что дуэль произошла оттого, что геккерновская версия взяла верх над пушкинской и Пушкин увидел свою жену, т.е. себя опозоренным в глазах света. Замечание, которое сделал Николай I жене Пушкина относительно ее поведения, было последним ударом, с этим совпали *revelations <разоблачения>* Вревской о петербургских сплетнях. Сначала Пушкин хотел просто избить Геккернов на балу у Разумовской (?), но их предупредили (у них были свои люди в ближайшем окружении Пушкина – вся молодежь). Вяземские и Карамзины до последнего дня принимали Дантеса. После катастрофы все перепугались и изо всех сил начали оправдывать Наталию Николаевну, которая одна могла все остановить в любой момент, но она была не в состоянии поверить, что Дантес ее разлюбил и издается над нею. Как бесконечно одинок был Пушкин все это время, до какой степени вялым и неудачным было поведение друзей (два письма Вяземского). Поведение обоих Геккернов... Да он и не терпел, а просто не знал всего. А когда узнал, послал картель.

<ДВЕ ВЕРСИИ>

...Итак, эти две версии начали “иметь хождение” в петербургском свете и прилегающих к нему областях. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы формулировать их с наибольшей точностью, какими они были выпущены в свет своими авторами (Пушкиным и Геккерном).

I. *Версия Пушкина:* Наглый мальчишка Данте осмелился писать влюбленные записки Наталии Николаевне и симулировать “grande passion” <великую страсть>, а тем временем не то сошелся, не то не сошелся с ее сестрой. Тогда Пушкин, как глава дома, вызвал его на дуэль (ноябрь), и тот, будучи трусом, под дулом пистолета сделал предложение Катерине. Ему, очевидно, не место в первом гвардейском полку. Его карьера кончена.

II. *Версия Геккерна:* Романтически настроенный и рыцарски возвышенный юноша хранит в душе какое-то не совсем ясное простым смертным чувство – *vénération* <почитание>¹ – дурно себя ведущей и соблазняющей его красавице и, спасая ее честь, женится на ее некрасивой сестре, которая ему все же чем-то нравится. К этому полагалось в виде наглядного пособия – поведение Данте на балах и, как мы теперь знаем, у Карамзиных. Оно было абсолютно выверено, продумано опытным светским дипломатом. В *vénération* верил даже Александр Карамзин. Все, что мы знаем противоречащего этому, появилось потом, когда воз-

¹ Это *vénération* Данте придумал еще в феврале 1836 г. (см. 2-е письмо к Геккерну).

никла потребность объяснить катастрофу. Но дело в том, что сама версия Геккерна содержала в себе нечто бросающее тень на жену поэта.

Затем (с нашей точки зрения) началось самое ужасное и о чем не имел представления Щеголев. Геккерн для распространения своей версии имел весь кавалергардский полк и по крайней мере два лучшие салона. Пушкин сам начинает à qui veut l'entendre <тем, кто хочет это слушать> рассказывать как законченную новеллу свою версию. Геккерн в ответ продолжал демонстрировать издали благоговеющего Данте и попутно “гнездышко” молодых, поражавшее всех роскошью и превосходным вкусом. Карамзины как краснуш девицу замуж выдают Данте почти из своего дома (братья шафера и т.д.), там же осуждают Пушкина за жену (см. дневник Тургенева), Вяземский острит, что Пушкин сердит на Данте за прекращение ухаживаний за Наталией Николаевной, и в письме к Мусиной-Пушкиной беспечно описывает молодоженов на балу у французского посла Баранта.

Жуковский вообще умывает руки. Кавалергарды и салоны становятся на сторону Данте. Поэт – один, и после разговора с Вревской и реприманда Николая I понимает, что для него все кончено.

**<Пушкин в семейной переписке
Карамзинов>**

...Наше отношение (то есть отношение русского общества) к окружению Пушкина оченьочно и как бы не подлежит какому бы то ни было пересмотрю. (В этом косность литературоведения.) Появление семейной переписки Карамзинов (1836–1837) должно было бы в корне изменить наше представление об отношении этого семейства к Пушкину. Однако этого не случилось, и пушкинисты продолжают писать о Карамзинов как о близких друзьях поэта ("Пушкин. Исследования и материалы", т. II, 1958, Н. В. Измайлов, Лирические циклы Пушкина). Даже оглушительное открытие Софии Николаевны о том, что Пушкин исписался и Булгарин прав, не заставило исследователей пересмотреть свои старые воззрения. Меня же не трогает даже письмо Ек. Карамзиной о том, как она благословила умирающего Пушкина, потому что оно написано с целью показать сыну Андрею, насколько лучше Николай I относился к ним, к Карамзинам, чем к только что погибшему поэту. В этом я вижу только безмерный эгоизм и душевную черствость, да еще, пожалуй, отражение того, как дурно относился к Пушкину сам Карамзин. (Не надо забывать холодное и даже раздраженное отношение Карамзина к Пушкину в связи с "Вольностью" в 1820 году и "Старым мужем".) А ламентации по поводу того, что умер лучший друг их семьи, скорее свидетельствуют о высоком отношении его к ним, а не их – к нему. Он о них таких писем не оставил!..

...Отчего Аврора не отдала письма (100-й юбилей)?...

...Появление семейной переписки Карамзинов, которую в свое время утаила от мира Аврора Шернваль-Демидова-Карамзина, заставляет нас пересмотреть вопрос о так называемых друзьях поэта. Появились новые и очень неожиданные враги Пушкина и участники подготовки (во всяком случае, косвенные) гибели поэта. Редактор, увлеченный новизной и интересностью материала, не замечает, что попал в самую гущу врагов Пушкина, которые, кстати сказать, были гораздо опаснее, чем Уваров или Булгарин. Опаснее, потому что Пушкин их любил, был с ними или с их родителями откровенен, и, применяя военный термин, можно сказать, что Пушкин попал в окружение. Мы слишком хорошо знаем, чем это кончается...

...С какой готовностью молодежь этого кружка (Карамзинов–Вяземские) сообщала Данте все, что могло его интересовать, видно из письма Данте к Беверну из-под ареста.

Мы с ужасом узнаем, что через 18 дней после смерти Пушкина Машенька Валуева (дочь Вяземского) пересказала открытому врагу Пушкина Екатерине Николаевне Данте слова, сказанные Пушкиным в салоне ее матери – В. Ф. Вяземской, якобы друга Пушкина "Je suis méchant je finis toujours porter malheur..." <"Я зол и я кончу всегда тем, что приношу несчастье..."> и т.д. Не верить этому сообщению Данте мы, к сожалению, не можем, потому что он просит вызвать Валуевых как свидетелей защиты.

Если тяжелая трагедия, которую русское общество чувствовало и чувствует [сейчас] (1962) как незаживающую рану, не подсказала большей сдержанности этой молодой особе (вероятно, видевшей Пушкина в гробу), можно себе представить, как хорошо была поставлена осведомительная служба Геккернов до 27 янв^{яря}, и то, что пишет Пушкин посланнику в ноябрьском письме ("Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делается у других, и расстраивать их планы, вы отадите мне справедливость и признаете, что были побиты по всем пунктам"), с большим правом мог написать ему сам Геккерн. Пушкин же, так же

как его друзья, совершенно не знал, что происходит в голландском посольстве. Информация Наталии Николаевны (тоже направляемая Геккерном) была типичной дезинформацией...

...Это мое наблюдение подает нам надежду, что Пушкин не так уж был "смешон" и не бросался на каждого встречного и поперечного (о чем пишет Софи 29 декабря 1836 года), чтобы рассказать ему о Данте. Сестра ее, Мещерская, с которой говорил Пушкин, не была ему первой встречной. Все это внушил Софи тот же Данте, которого, естественно, рассказ Пушкина мало устраивал. Тем более что и само описание поведения Пушкина очень механично, в нем совершенно отсутствует элемент живого наблюдения; и какой-то раз навсегда принятый пошловатый и небрежный тон – *chat tigre* *<как тигр>*, грызет ногти и т.д.

Думаю так, потому что иначе неизбежно мы знали бы о неуместных, с точки зрения светских приличий, "конфидансах" Пушкина уже давно из других источников. Александру Ивановичу Тургеневу, с которым часто и подолгу беседовал в ту пору Пушкин, он ничего не рассказал, это видно из дневника Тургенева. Кроме того, образ поэта, который создает карамзинская переписка, слишком уж разнится от того, который восстает из донесений послов, находившихся тогда в России, и большая часть которых была знакомы Пушкина... Тургенев называет Пушкина одним из корифеев салонов Петербурга...

Я уже отметила, что эта поражающая нас недоброжелательность молодежи к Пушкину тоже была возвращена Данте, раз он был их законодателем.

Я обращаю внимание моих слушателей на то, что Геккеры с самого начала (письмо голландского дипломата – Загряжской) до самого конца (письмо Андрея Карамзина, передающего слова Дантеса) упрямо твердили одно и то

же: "Помните, что вы делаете это, чтобы спасти своих" (*Геккерн*).

"Я все сделал, чтобы их спасти" (*Дантес*), когда для всех было ясно, что это спасение заключалось в могиле великого поэта и весьма двусмысленной высылке только что овдовевшей женщины с четырьмя маленькими детьми".

<“МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”>

Я всегда была твердо убеждена, что стихотворение “Моя родословная” (1830) сыграло роковую роль в отношении к Пушкину тех людей, с которыми он собирался жить. Как известно, не напечатанная при жизни (запрещенная Николаем I), она (“Моя родословная”) имела широкое хождение, и сохранилось несколько копий, сделанных самим Пушкиным. По мысли Пушкина, она должна была нанести обиду “новой знати”, потомкам фаворитов XVIII в., но Пушкин не рассчитал, что к его времени вся русская аристократия так или иначе уже была в родстве с этой новой знатью, охотно заключая браки с детьми и внуками фаворитов, — так что он обидел ее всю. Я не надеялась найти где-нибудь документы, подтверждающие эту мысль. Чваные аристократы, думалось мне, ни за что не выскажут свою обиду. Так, вероятно, и было, но человек, связанный с этой аристократией, так формулирует отношение петербургского света к Пушкину:

“Ответ Булгарину”¹, в котором, отражая упреки аристократии, Пушкин с правом или без права нападал на самые высокопоставленные фамилии в России, — вот истинные преступления Пушкина, преступления тем более тяжкие, чем выше и богаче были его враги, чем теснее они были связаны с влиятельнейшими домами и окружены многочисленными приверженцами... Вот настоящие причины

того недоброжелательства, которое известная часть дворянства (особенно та, которая занимала видные посты в государстве) питала к Пушкину при его жизни и которое отнюдь не исчезло с его смертью”.

Слова эти были написаны через несколько дней после смерти Пушкина. Можно себе представить, с каким злорадством это общество следило за развитием романа жены Пушкина, как охотно делалось оно эхом вымысла Геккера о героизме Дантеса и пр. Лермонтов в своем показании сообщает: “Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называя *его благороднейшим человеком*”. Итак, геккерновская версия брака Дантеса с Катериной осталась в силе и после гибели Пушкина.

¹ Подразумевается стихотворение “Моя родословная”.

Наталия Николаевна

Из всех доступных нам материалов следует, что влюбленность Дантеса в жену Пушкина была очень короткой и не особенно сериозной. Если хоть отчасти поверить кн. Трубецкому, Данте^s уже летом рассказывал о своем флирте товарищам. Но надо иметь в виду, что в мае уже вернулся Геккерн и начал оказывать влияние на своего приемного сына. <...> если бы *<этот> Данте* летом охладел – не было бы пасхиля.

Если Пушкин разгадал всю игру Геккернов, почему же он не разоблачил их перед Н.Н., что было бы всего целесообразнее. Оскорбленная Н.Н. на версту не подпустила бы к себе ни посланника, ни его сына. Раньше Пушкин именно так и поступал (см. письмо от 14 июля 1834)¹.

Надо думать, что насколько Геккерн имел влияние на Данте^s, настолько Пушкин не имел влияния на Н.Н. Она всегда делала, что хотела. Не пустила в дом (Н. Пушкину) свою большую свекровь, привезла против желания мужа сестер, нанимала дорогие дачи, когда не было ни гроша, систематически забывала адрес Пушкина, когда он уезжал, топала ножкой (Нащокин). Лежала в истерике, когда это

¹ “А о каком соседе пишешь мне лукавые письма? ком это ты меня страшашь? отселе вижу, что такое. Человек лет 36; отставной военный или служащий по выборам. С пузом и в картузе... накануне отъезда сентиментальничает перед тобою. Не так ли? А ты, бабенка, за неимением того и другого, избираешь в обожатели и его: дельно?” Насколько убедительнее было бы сказать Н.Н., что Данте трус и мерзавец, замешанный в истории анонимных писем.

было надо, никаких истерик, дружила с Полетикой, которая была врагом Пушкина, не соглашалась уехать в деревню, когда этого требовали дела Пушкина. По мере увеличения своих светских успехов Н.Н. делалась все более самостоятельной и самоуверенной. Есть еще одно предложение, которое даже не хочется записывать. М.б., Пушкину было даже обидно за Н.Н. Он не решался сказать ей, что из нея по холодному расчету (Жуковский: ветреный и злонамеренный разврат) просто делают орудие для борьбы с ним. Или Пушкин был уверен, что она ему все равно не поверит. Но как бы то ни было – она вела себя все время как союзница Геккернов, а не Пушкина. Не случайно единственная ее фраза, известная нам, служит Данте^s оправданием. Он приводит ее в письме (из тюрьмы) к презу суда Бреверну. Н.Н. позволяет мальчишке Валуеву называть Пушкина “таким человеком” и удивляться, как она допускает, чтобы Пушкин обращался с ней таким образом. Сам Данте^s уже в ноябре называет ее (в ноябре 36 г.) кривляка, дурища.

Пушкин, прося жену позволить Брюллову написать ее портрет, прибавляет: “Пожалуйста не прогони его, как прогнала ты Прусака Криднера”. Для такого поступка нужно довольно самоуверенности и решительности. Я никогда не поверю в кротость и пассивность женщины, которую нужно просить, чтобы она не прогоняла первого в России художника, если он ей не угодит.

Рассказ Смирдина о том, как Н.Н. требовала у него деньги, стоя в корсете перед зеркалом, рисует ее похожей не на Психею (прозвище Н.Н.), а на ее собственную мамашу Наталию Ивановну Гончарову, характер которой достаточно известен. Необычайная красота Н.Н. скрывала от посторонних эти черты ее характера, Россет-Смирнова так казалась всем ангелом, а мы теперь знаем, какой низменной и грубой она была. Н.Н. любила деньги, светские успехи, тряпки. Хорошей матерью ее трудно назвать. Пушкин был безмерно снисходителен к жене и, по-моему, даже ее побаивался. Н.Н. всегда делала все, что хотела.

Но Пушкин завещал друзьям хранить ее честь, и из этого выросло новое существо — если не образец чистоты и добродетели.

Н.Н. оправдывали и обеляли на все лады и даже священник, принявший ее исповедь, нарушая все правила и тайну исповеди, клялся, что она совершенно невинна.

* * *

“...с другой стороны, не ощущалось недостатка в плакальщиках по поводу овдовевшей столь романтической красавицы. Передо мной лежит письмо неизвестной, которая не находит достаточно сильных выражений для выражения сочувствия Н.Н. Все в ужасе. Боятся, что она умрет, что она сойдет с ума. Вместо этого Н.Н. уже в апреле завела роман с Муравьевым-Святым: тем самым, который “разбил твой истукан” и был необычайно хорош собой. Впрочем, нас это не должно интересовать. (Далее): приехавшая к Н.Н. старуха Карамзина пишет сыну (дать?), что в жизни вдовы будет еще много радостей. На этом, я полагаю, можно закончить обсуждение этой истории”. <Сбоку>: нужно

* * *

Он (Бронский) знал очень хорошо, что в глазах Бетси и всех светских людей он *не рисковал быть смешным* (курсив мой. — А. А.). Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна, но роль человека, приставшего к женщине и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеяние, что эта роль имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна, и потому он с гордой, игравшей под его усами улыбкой опустил бинокль и посмотрел на кузину (“Анна Каренина”). Так было в 60-е годы — так было и

в 30-х. И Пушкин знал это, устами своей любимой героини он констатирует эту печальную истину

Теперь... что мой позор
бы всеми был заметен
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь

(“Евг. Он. VII гл.”).

* * *

...Пушкин спас репутацию жены. Его завещание хранить ее честь было свято выполнено. Но мы, отдаленные потомки, живущие во время, когда от пушкинского общества не осталось камня на камне, должны быть объективны. Мы имеем право смотреть на Наталию Николаевну как на сообщницу Геккернов в преддурьльной истории. Без ее активной помощи Геккеры были бы бессильны. Это, в сущности, говорит и Вяземский в письме к в_{ел.} к_{н.} Михаилу Павловичу...

* * *

...В сущности она <Наталия Николаевна> сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блестательных дам, которых однако же из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно *умела скрыть кокетство...* Почему Пушкин просто не запретил жене говорить с Дантеом, как он запретил просватанной Катерине? — Он, как конфидент, слишком знал, что с ней происходит, и просто боялся чего *угодно...*

* * *

...Дантес уверял Натали, что полюбил ее с первого взгляда. А что другое он мог ей говорить? И конечно, влюбленная женщина верила. ...

* * *

...Как выясняется из писем Данте, он говорил своему приемному отцу – ты. Это звучит, по крайней мере, неожиданно. В то время родителям (в особенности по-французски) говорили – вы. См., например, письмо Пушкина к Сергею Львовичу (дек. 1836). Это так недавно вынырнувшее *ты* окончательно решает вопрос о характере отношений между Геккерном и Данте...

* * *

...Истинную причину своего бешенства Пушкин исключил из окончательного текста письма, потому что она серьезно компрометировала Наталью Николаевну (“...представить ей гнусное поведение...” ...как жертву *ради* ее чести”). Слова эти целиком совпадают... с письмом Вяземского к вел. кн. Михаилу Павловичу: “Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли ни о чем-либо подобном. Последствия это хорошо доказали, как ваше высочество ниже увидите. Во всяком случае, это оскорбительное и неосновательное предположение дошло до сведения Пушкина и внесло новую тревогу в его душу”.

Как крепко держался Геккерн за эту версию, доказывается тем, что в письме к Нессельроде, когда уже все было кончено, т.е. после смерти Пушкина, посланник пишет: “...с тем высоконравственным чувством, которое заставляло моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины”...

В январе <18>37 года, через несколько дней после венчания Д~~анте~~^{са} и К~~атерины~~^и как продолжение свадебных торжеств состоялся парадный обед у графа Строганова (посаженного отца). После этого обеда посланник подошел к П~~ушки~~^ину и предложил мировую. П~~ушки~~^ин сухо ответил, что не желает иметь никаких отношений между *своим*, *домом* и г~~осподи~~^ином Данте. По тогдашним нравам это был скандал невероятный¹, и против этого надо было своевременно принимать меры. И, по-видимому, Г~~еккер~~^н задумался тут же до следующей гнусности: Ах! вы нас на порог не пускаете, так мы и сами не хотим к вам идти, потому что у вас в доме творится безобразие. Вот отправная точка будущих разговоров о романе П~~ушки~~^ина с Александрой Николаевной. Поэтому не следует удивляться, что находящаяся под влиянием Данте София Карамзина впервые заметила на рауте у Мещерских (воскресенье) все признаки этого преступного романа, причем из контекста следует, что А~~lexandrina~~^и влюблена все в того же Данте, а П~~ушки~~^ин ревнует. Очевидно, что было поручено как-то действовать Полетике (дочери Строганова), несомненно неравнодушной к Данте (см. письмо К~~арамзиной~~^и к мужу) и заклятому врагу П~~ушки~~^ина. Эта Полетика <...>

¹ Ср. <в письме>: “Он упорно заявляет, что никогда не позволит жене... принимать у себя замужнюю сестру”. <Далее говорится, что это решение Пушкина> “приведет в движение все языки города” — пишет брату С.Н. Карамзина... (Карамзины. С. 148). Еще важнее, что в картили это буквально повторено и даже как бы составляет причину его отправки.

В письме от 27 января 1837 года с изумлением читаем: “В воскресенье у Катрин (Е.Н. Мещерской. — А. А.) было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккеры (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества). Пушкин скрежетет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, — это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем, все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отворачивает его от дома Пушкиных”.

От всего этого за версту пахнет клеветой. Если Пушкин и Александрина в связи и живут в одном доме, зачем им демонстрировать свои преступные отношения? Как можно кокетничать с человеком, который от ярости скрежетет зубами, и т.д. и т.д.?

“Pacha à trois queues” <трехбунчужный паша> — так мило несколько раньше Дантеш шутя называл трех сестер Гончаровых пушкинским гаремом. А сестра Ольга Сергеевна писала отцу по поводу переезда Александры и Екатерины в дом Пушкина — “Александр представил меня своим женам — теперь у него их целых три”. После того как они (Геккеры) увили одну из жен, естественно, остались только две. Вот питательный бульон, в котором затем те, кого это устраивало, создали легенду о романе Пушкина с Alexandrine. Это ли не костяк сплетни о романе Пушкина с Александрой Гончаровой?

В сообщении Софии Николаевны поражают совершенно новые интонации, когда она передает свои впечатления от раута у Мещерских. Свойственные ей терпимость и легкомыслие почему-то впервые ее покидают, появляется какая-то сухость, твердость и совсем не женская ясность фор-

мулировок. Тут же как подпорка пригодился князь Петр (Вяземский) (через несколько часов он будет выть у постели умирающего Пушкина), который якобы закрывает лицо и отвертывается от *дома Пушкиных* (опять дом!). В отличие от характерного для Софии Николаевны стиля частных наблюдений (“опускает глаза”, “направляет... лорнет”, “принимает... выражение тигра” и т.п.) здесь — обобщенная сен-тенция, повторение полученной “информации”.

От кого же узнала С.Н., что Пушкин “серъезно влюблен” в Александрину и Наталию Николаевну ревнует “из принципа”, а Александрину “по чувству”? Прошу сопоставить с этим, что заклятый враг Пушкина и приятельница Дантеса Идалия Полетика (о которой ниже) “напомнила” Трубецкому (в Одессе, когда им было уже по 70-ти лет), что и вся дуэль произошла из-за ревности Пушкина к Александрине и боязни, что Дантес увезет ее во Францию. Эта чудовищная нелепость, так возмущившая Щеголева, — несомненно, версия Дантеса. Софи как завороженная повторила за Дантесям и даже сама не заметила, что она говорит. Очень скоро об этом заговорили бы (с подробностями из Декамерона) все кавалергарды¹, на это намекали бы (поджимая губы и закатывая глаза) важные дамы в своих салонах. (Фраза в письме Софи: “Это превосходит обыкновенную (?) безнравственность” — прямо создана для такой ситуации.)

Обращаю внимание читателя на то, что во всей карамзинской переписке кроме этого грязного обвинения нет ни слова о романе Александрины и Пушкина. Ни при каких обстоятельствах ни сама Софи в откровеннейшем письме к брату, ни ее брат Александр Карамзин больше не говорят об этом.

И неужели, если бы Вяземский думал нечто подобное, он бы стал так надрываться в письмах к Эм. Мусиной-Пушкиной?

Письмо С. Карамзиной еще примечательно тем, что оно написано в день и час дуэли Пушкина. Об этом пишет сама

¹ Для современного читателя напомню, что кавалергарды были первым полком, несли службу во дворце, и офицерами этого полка могли быть только сыновья знатнейших и богатейших семей.

С. Карамзина в следующем письме (30 янв.): “А я-то так легкомысленно говорила тебе об этой горестной драме в прошлую среду, в тот день, в тот самый час, когда совершилась ужасная ее развязка”. И затем она описывает все случившееся, но уже не под диктовку Геккерна-Дантеса (как в среду), а со слов Вяземского или Жуковского. Поэтому там нет ни слова, нам раньше неизвестного. Когда Карамзины пишут о Наталии Николаевне после смерти Пушкина, никто из них ни слова не упоминает об Ал., и только однажды сообщается, что Натали очень рада, что сестра едет вместе с ней.

Щеголев не знал карамзинской переписки, но, прочитав примерно то же в воспоминаниях Трубецкого, восклицает — “каждое слово ошибка!” Щеголев прав. Но тут дело в том, что у Софии Николаевны и у Трубецкого был один и тот же источник. А источник этот Дантес. Это он внушил С.Н. и Трубецкому версию романа Пушкина с Александриной. Кроме его голоса нет ничего в мемориях Трубецкого. Кавалергарды были так же загипнотизированы Дантесом, как молодежь карамзинско-вяземского кружка (*bande joyeuse*).

Полагаю, что из трех открытых мною “адских махинаций” голландского посланника барона Геккерна последнюю — т_{ак} н_{азываемое} объявление Пушкина главой тайного общества реформ — легче всего просмотреть. Сейчас выяснилась и вторая: историю о связи П_{ушки} на с Ал_{ександриной} пустили Геккерны с помощью Полетики.

Щеголев недооценил мемуары Трубецкого. Все, что там сообщено, говорит не Трубецкой, а сам Дантес (и отчасти Полетика, что все равно), так же как то, что говорит и сообщает Данзас, — это не Данзас, а сам Пушкин. Только от самого Дантеса Трубецкой узнал, что Пушкин дрался не за жену, а за *belle-soeur*; это должно было обелить “бедного Жоржа” и втоптать в грязь Пушкина, обесчестившего порученную ему матерью молодую девушку, а также отомстить за ноябрьское письмо Пушкина, где содержался на-

mek на порочные отношения Дантеса и Геккерна (“ваsh bâtarde или называемый так”).

Все, что диктует Трубецкой в Павловске на даче, — голос Дантеса, подкрепленный одесскими напоминаниями Полетики. Трубецкой ни Пушкина, ни его писем, ни сочинений о нем не читал. Он по серости своей свято поверил фольклорной истории с углем, лампой, свечкой, печкой и т.д. Дантес казался ему идеалом остроумия, изящества, умения вести себя с женщинами, одним словом, — он был так же влюблен в Дантеса, как вся карамзинская *bande joyeuse*, что, между прочим, не ускользнуло от внимания его высокой покровительницы летом 1836 (см. Э.Г. Герштейн: “Новый мир”. 1962, № 2).

Таким образом, воспоминания Трубецкого из маразмического бормотания, которое так возмущало Щеголева, превращаются в документ первостатейной важности: это единственная и настоящая запись версии самого Дантеса.

Очевидно, распространение этой версии было поручено также Полетике¹ — дочери Строганова, несомненно неравнодушной к Дантесу (Катерина пишет мужу о том, как Идалия рыдала, узнав об его отъезде), и заклятому врагу Пушкина. И Полетика всю свою жизнь действовала в этом направлении. Она так люто ненавидела Пушкина, что в 1889 году называла его извергом, рифмоплетом и т.п. Очевидно, таково было отношение к Пушкину всего строгановского дома, к которому она принадлежала. С Коко она сохранила хорошие отношения и давала в письмах “не дамские” сведения в Сульц, где жили Дантес и Екатерина, о материальных и литературных делах Пушкина, злорадно писала о тираже посмертного издания, якобы не оправдавшего надежд, и т.д.

Сравним сведения Геккерна о каком-то анонимном январском письме, о котором мы больше ничего не знаем, и

¹ Об этой даме говорить сложно и трудно. К карамзинско-вяземской *bande joyeuse* она не принадлежала, муж ее был другом и полковым товарищем Дантеса, она была лучшей подругой Наталии Николаевны, но среди бывших с ней в январские дни не перечислена.

то же в рассказе Полетики — многозначительное совпадение: Арапова, очевидно, с ее слов утверждает, что под окном во время свидания Наталии Николаевны с Дантесом, якобы происходившего в квартире Полетики в январе 1837 года, сторожил Ланской, который в действительности был не то в Ростове, не то в Воронеже. Надо думать, что этого свидания никогда не было, а то бы мы знали о нем и из других источников.

Щеголев допускает, что всю историю романа Пушкина с Александриной выдумала Арапова, дочь Наталии Николаевны от Ланского, — для симметрии и для оправдания поведения Наталии Николаевны. По-моему, воспользовалась, а не выдумала. Эту версию, выдуманную Геккернами, вырастила и пестовала до своего последнего дыхания Идалия Полетика. Она не уставала вдалбливать свою бесстыдную сплетню полоумному Трубецкому в Одессе (о чем он, к счастью, сам сказал своим слушателям на даче в Павловске)¹. Она говорила В.Ф. Вяземской, что Александрину “призналась” ей, она везде тут как тут.

Геккерн и Полетика были людьми своего времени и круга и твердо знали, что ничто в глазах света не могло так запачкать и совершенно уничтожить Пушкина, как такая сплетня². Недаром Трубецкой пишет о романе Пушкина и Александрине: “Об них *<причинах смертельной дуэли>* в печати вообще не упоминается, быть может, потому, что они *набрасывают тень на человека, имя которого так дорого для нас, русских*”. Он еще помнит, а Щеголев уже не помнит и не понимает неприличие и чудовищность этого обвинения, а затем уже все с умилением пересказывают эту “легенду” и пишут стишкы *подруге поэта*.

1 “Не так давно в Одессе умерла Полетика... с которой я часто вспоминал этот эпизод, и он совершенно свеж в моей памяти” (Щеголев. С. 355).

2 Но наступила другая эпоха — и Бартенев (в старости), а за ним П.Е. Щеголев, раскопав измышления Полетики, с легкостью им поверили, я уж не говорю о современных читателях XX века. Те просто в восторге: “Ах, она его лучше понимала, она любила его стихи”. Только и слышишь — как будто это такая редкость или заслуга — любить стихи Пушкина.

Итак, дернув неприметную ниточку (Александрина), мы вытянули нечто ужасное и отвратительное, то есть то, что случилось бы, если бы дуэль 27 января почему-нибудь не состоялась. В моей работе доказано, что к услугам дипломата для выпуска в свет любой сплетни был весь кавалергардский полк (причем господа офицеры были согласны повторять даже последние новости из Декамерона)¹, по крайней мере, два петербургских салона — Нессельроде и Бобринской — и, как это ни горько констатировать, молодежь обоих дружеских Пушкину домов — Вяземские и Карамзины. Напомню, что С.Н. Карамзина и после смерти Пушкина не перестает твердить — только бы с Дантесом ничего не случилось. Что говорил сам поэт, уже никого не интересовало. Он был уже “почти смешон” (слова Александра Карамзина в письме к брату Андрею) и стал бы немедленно и преступлен. Ни в чем не повинную Александру Николаевну надо было бы увезти на вечное девство к мамаше в деревню, а один из братьев Гончаровых должен был бы при общем сочувствии Петербурга убить на дуэли Пушкина, обесчестившего его сестру, жившую в доме Пушкина и доверенную ему материю.

Такая связь рассматривалась тогда как инцест, и трудно себе представить, кому показалось возможным привлекать как улику слова отца Пушкина Сергея Львовича о том, что Александрине больше огорчена, чем вдова.

Неужели отец Пушкина мог сказать что-нибудь позорящее память своего только что погибшего сына? Он просто сказал (и хотел сказать), что чужой человек, видевший этот ужас, более расстроен, чем вдова, которая не только своего свекра, но и всех поражала своим удивительным бездущием. Узнав о смерти Александра Сергеевича, старик долго не верил, когда же его убедили, что это правда, сказал: “Мне остается просить Бога не отнимать у меня память, чтоб я не забыл его”.

1 Выше я уже упоминала новеллу мирового фольклора, приспособленную к семейной трагедии Пушкина и резво рассказанную Трубецким со слов самого Дантеса.

Можно с уверенностью сказать, что сплетни о связи Пушкина в то время не существовало, иначе Александрина не могла бы стать фрейлиной в 1839 году.

Кроме того, забывают об одном лице, близко стоящем к этому "делу", — о Наталии Николаевне Пушкиной.

При известной ее ревности (см. письма Пушкина) неужели она совершенно безропотно и абсолютно незаметно для постороннего глаза сносила бы скандальный роман мужа и сестры — тут же в доме?

Дантеса, однако, она так ревновала, что это видел весь светский Петербург, и, по словам Софи Карамзиной, чуть не задыхалась, говоря о свадьбе Екатерины, не хотела переписываться с сестрой, и даже не имела ее портрета в своем доме, а Александрина навсегда осталась для нее самым милым, верным и нежным другом. Если же верить измышлениям Араповой, Наталия Николаевна даже обсуждала в 1852 году с сестрой, как лучше поставить в известность жениха Фризенгофа о связи сестры с ее мужем¹.

Что же касается остальных трех доказательств этой "преступной связи", то они так же эфемерны. В.Ф. Вяземской, достигшей к этому времени 80 лет, мы совсем не обязаны верить. Она, конечно, была озабочена лишь тем, чтобы снять всякое обвинение с себя (ведь ей Пушкин сказал о дуэли) и с своего дома. Второе — предсвадебная исповедь Александрины жениху — Фризенгофу, о чем повествует та же Арапова, после чего он якобы стал плохо относиться к памяти Пушкина, — ведь просто смехотворная. Последнее — не то крестик, найденный прислугой на пушкинском диване, не то цепочка, которую, умирая, Пушкин велел отдать Александрине² — может быть объяснено мотивами совершенно особого характера. Ведь Пушкин сказал Алексан-

¹ В своих бредовых мемуарах Арапова сообщает изумленному читателю, что перед свадьбой Al. сестрицы долго совещались, как ловчее сообщить жениху, что невеста не девица и что ее любовником был Пушкин.

² Говорят, эта цепочка до последнего времени украшала собой дом Фризенгофов. Неужели после этого открытия можно серьезно говорить о том, что она была доказательством преступной связи самой chatelaine <владелицы замка> со своим зятем.

дрине (как единственному взрослому человеку в доме), что едет на дуэль; и она не могла не дать крестик, а он оставил этот крестик дома и перед смертью велел ей его вернуть. Откровеняя нянки, надеюсь, можно не обсуждать, тем более что это, несомненно, все тот же крестик, про который пушкинская прислуга могла услышать. Что же касается желания Пушкина проститься перед смертью с Азей, то оно вовсе не свидетельствует о связи, а наоборот, потому что иначе он, зная, что умирает, вероятно, захотел бы попросить у нее прощения.

Мне кажется более вероятным, что Пушкин знал, что Al. играла в его доме ту же роль, что и Екатерина Николаевна летом 1836 года.

Отчего Пушкин так ненавидел Екатерину Гончарову, что даже осрамил ее в ноябрьском письме? Скорее всего оттого, что он знал, как, впрочем, и все кругом, о ее роли в начальной стадии дантесовской истории¹.

Почему Пушкин категорически отказался прощаться с Александриной? Вероятно, потому же. Александрина не могла не стать конфиденткой, а следственно, и помощницей своей младшей сестры. Влюбленной Наталии Николаевне нужен кто-то для разных мелких услуг. Ближе и вернее всех была Al. Могла же она с удовлетворением записать в дневнике в 18... г., что Наталия Николаевна гуляла с Дантесом по ее парку и совершенно помирилась с ним. И эта ее страшная австрийская запись (уже более чем зрелой женщины) не продолжение ли ее петербургской деятельности? Если она тогда не понимала все неприличие такой записи, что она понимала в 1836 году, когда она, как и прочие члены bande joyeuse, была под обаянием и гипнозом Дантеса?

Вспомним конспектные записи Жуковского о поведении Дантеса с Екатериной: "При Тетке ласка к жене; при Александrine и других, кои могли бы рассказать, des

¹ Летом 1836 года Коко (Екат. Ник.), влюбленная в Дантеса, способствовала встречам Наталии Николаевны и Дантеса, чтобы видеть его (Шеголев. С. 72).

brusqueries" <грубость>¹. Дантеzu нужно было, чтобы кто-то рассказывал Наталии Николаевне о грубоści его с женой, якобы свидетельствующей о великой страсти к самой Наталии Николаевне. И Александрина ходила к Дантеzам, и, возвращаясь, говорила, что Дантеz чуть не бьет Коко, и госпожа Пушкина была в восторге — значит, он меня действительно любит, значит, это в самом деле grande et sublime passion.

Когда исследователи начинают говорить об Александрине, то почему-то неизбежно впадают в ханжеский умиленный тон и забывают, что она была одной из разряженных (с осиной талией) сестер Гончаровых, которых Жуковский называет овечками, на которых облизывается Дантеz, член bande, так что непрерывно находилась в обстановке, враждебной Пушкину².

Из всего следует, что Al. выезжала в свет вместе со своими сестрами, а не занималась хозяйством и детьми³. Однако созданному Араповой образу скромной, умной и доброй некрасивой девушки очень повезло. Никому дела нет, что та же Арапова дальше изображает тетку ведьмой, истеричкой и домашним тираном (которая запрещала Наталии Николаевне ездить кататься с Ланским). Читатель уже поверил, и это навсегда. Цитата окаменела. Ее и сейчас повторяют все. Ни из чего не следует, что Александрина была пушкинской партии. Это относится и к ее тете К.И. Загряжской⁴. И та

1 См. конспективные записи Жуковского (Щеголев С. 308).

2 См. также у Карамзиных — флирт с А. Россетом (Карамзины. С. 120.). Я (может быть, слишком смело) сопоставляю это с араповским изображением семейной жизни Дантеzов, где Екат. Ник. страдает оттого, что ее муж любит Наталию Николаевну. Делаю я так потому, что источником Араповой была вернее всего та же Александрина.

3 См. письмо Пушкина Бобринскому, где Александр Сергеевич просит объяснить, которую из его невесток он приглашает на бал, чтобы восстановить мир в семье.

4 Катерина Ивановна Загряжская — кузина Строганова, сестра тещи Пушкина Наталии Ивановны Гончаровой, тоже, как известно, не благоволившей к поэту. До сих пор вопрос об ее отношении к Пушкину не обсуждался, но считалось, что она скорее дружественна к Пушкину (он не забывает письменно целовать ее ручки, и т.д.). Это ни из чего не следует. Она одевала к венцу Коко (см. Карамзины. С. 159), она была на Мойке в часы агонии поэта и не вошла в кабинет (очень важно). Но, во

и другая были партии Наталии Николаевны, что совсем не одно и то же. Как известно, в воспоминаниях Араповой нет ни одного доброго слова о Пушкине.

Откуда же шла эта подозрительная информация? От Наталии Николаевны? Но она умерла в 1863 году, когда Араповой было 18 лет. Какая мать, да еще такая ханжа, как Наталия Николаевна, рассказала бы своей 18-летней дочери сцену возвращения Пушкина под утро от "Амалии" и историю ухаживания Дантеza, который всюду возникал перед тремя восхищенными Гончаровыми.

Здесь дело не обошлось без Александрины, с которой Арапова встречалась уже за границей.

По Араповой, Пушкин — какой-то промотавшийся неудачник, грубиян, вульгарный развратник ("Опять был у Амалии"), дурной муж мученицы, страдалицы и жертвы¹. Араповой даже в голову не пришло заглянуть хотя бы в нежные, заботливые и изящнейшие письма Пушкина к жене. Этот образ до нее донесли собственная мамаша, Александра Николаевна Гончарова и, вероятно, Полетика.

Дантеz, наоборот, сервирован роскошно: его приезд, бедность, болезнь в гостинице, встреча с вельможей, который поражен красотой и прелестью юноши, их дружба... Любовь молодого кавалергарда — единственная, возвышенная, на всю жизнь. Боюсь, что здесь тоже дело не обошлось без Наталии Николаевны, Полетики и тети Ази (напомню, что для Араповой Дантеz был таким же дядей, как для детей Пушкиных, и тон ее писаний ничем не отличается от биографии Дантеza, составленной родным внуком Дантеza — Метманом).

всяком случае, можно утверждать, что она не была геккерновской партии (см. в письме Геккерна к Дантеzu о том, что он запретил Коко писать тетке и вообще ее характеристику). Она была ни за Дантеza, ни за Пушкина, она охраняла интересы Наталии Николаевны. Очень похоже, что Александрина поступала точно так же <...>. Люди видят то, что хотят видеть, и слышат то, что хотят слышать.

1 Покойная М.Г. Соломина говорила мне в 1924 году, что встречалась в "свете" с Араповой и та охотно повествовала, как ее мать (Н.Н. Ланская) была более счастлива во втором браке, чем в первом.

И ничто в последующей жизни Ал^{ександры} Ник^{олаевны} не подтверждает эту легенду. Никакой тени культа Пушкина, никакого хранения памяти о нем; зато можно без особого напряжения проследить ее добрые отношения с "домом Данте".

I. Воспитанные ею сыновья (Александр и Григорий Пушкины) ездили в Сульц к дяде Жоржу, как сообщает нам внук убийцы Пушкина — Метман. Где выслушивали рассказы дяди о его русских приключениях, что мы узнали от Араповой, которую это тоже ничуть не шокировало. Девочки Пушкины, тоже питомицы Александрины, переписываются со своими эльзасскими кузинами.

II. В письме (якобы возмущившем Н.Н.) Александра Ник^{олаевна} описывает обед у Геккерна-старшего в Вене (уж его-то роль в пушкинской истории она не могла не знать). У нее Арапова познакомилась с дочерью Данте — графиней де Вандаль и любовалась браслетом, подаренным Коко на свадьбу.

III. Сам Данте бывал у Фризенгоф в имении под Веной, и она с удовлетворением записала в дневнике, что он встретился там с Н.Н., весь день гулял с ней по парку и совершенно помирисился.

IV. Она же всю жизнь хранила легенду о grande et sublime passion Данте к ее младшей сестре¹.

<1962>

<Наброски 1964–65 годов>

I

I. Библиотека Пушкина и Александра Гончарова.

II. Портрет "дядя Жоржа" у Александрины.

III. Чашка — подарок Ази. Бекеша.

¹ Н.Н. была, по-видимому, охотницей до этого амплуа, пот^{ому} что, умирая, убеждала своего старика Ланского, что он немедленно последует за ней, от чего он благоразумно воздерживался 14 лет.

II

Заключение

Никакого культа Пушкина после его смерти в доме вдовы не было. Наоборот. Н.Н. было, по-видимому, тяжело все связанное с А.С. Но почему хозяйственная Александрина не проявила ни малейшей заботы о библиотеке и бекеше (хотя бы для детей)?

Недавно мне довелось прочесть письма Александрины к брату Дмитрию. В них, по правде сказать, кроме упорных требований денег, ничего не содержится. Однако из 1-го следует, что Александрина выезжала в свет со своей сестрой Екатериной, а из 10-го, что она несомненно была в bande joyeuse и, таким образом, находилась под обаянием Данте, как и все прочие. Имя Пушкина в этих письмах отсутствует, Ланскому — приветы. В общем, все как и должно быть.

III

К тому, что воспитанные Александриной мальчики Пушкины ездили в гости к Данте ("Oncle George a tué papa") "*Дядя Жорж убил папу*", а девочки переписывались со своими кузинами, что Александрина, живя в генеральском доме Ланских, не соблаговолила поберечь библиотеку поэта: оказывается, что в ее письмах к брату Пушкин вообще ни разу не упоминается, ни живой, ни мертвый, а о Ланском она что-то пишет (в связи с продажей его лошади).

IV

В замке у Александрины в столовой до самой войны 1940 года висел портрет Данте. Для меня лично этого было бы достаточно, чтобы доказать, что она никогда не любила Пушкина. Автор работы Раевский пытается объяснить отсутствие пушкинского портрета в доме его belle-soeur ревностью хозяина дома Фризенгофа. (Чувство, очевидно,

унаследованное его дочерью, которой было, очевидно, объяснено, что мамаша занималась кровосмешением). Не думаю, что было многим приличнее повесить портреты обоих — и убийцы, и жертвы. Да и так ли нужно было обвещиваться портретами родственников? Н.Н., например, никогда не имела портрета покойной сестры (в сущности, так трагически погибшей), потому что она никогда не могла ей простить победу над Дантесом.

Несомненно, этот портрет в столовой — это остаток того культа Дантеса, о котором я говорю в начале моей статьи, и он должен был напоминать хозяйке дома те “счастливые времена”, когда красивый кавалергард всюду появлялся перед тремя восхищенными Гончаровыми (см. воспоминания Араповой).

Выступление на радиомитинге
в г. Пушкине 11 июня 1944 года

Мы празднуем светлую годовщину дня рождения великого Поэта. Мы празднуем ее в том месте, про которое сам Пушкин сказал: “Отечество нам — Царское Село” — и в том году, который принес долгожданное освобождение городу Поэта. Пушкин всегда считал царскосельские парки достойным памятником военной славы <России> и в целом ряде стихотворений говорит об этом. Для него навсегда остались священными царскосельские “хранительные сени”. Такими же они будут и для нас.

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

<Пушкин и дети>

Хотя Пушкин сам меньше всего представлял себя “детским писателем”¹, как теперь принято выражаться, хотя его сказки вовсе не [обращены] созданы для детей и знаменитое “Вступление к “Руслану”” тоже не обращено к детскому воображению, этим произведениям волею судеб было суждено сыграть роль моста между величайшим гением России и детьми.

Нет и не было ни одной говорящей по-русски семьи, где дети могли бы вспомнить, когда они в первый раз слышали это имя и видели этот портрет.

Но все мы бесчисленное количество раз слышали от 3-летних исполнителей “Кота ученого” и “Ткачих с поварихой” и видели, как розовый пальчик тянулся к портрету в детской книге: и это называлось “дядя Пушкин”².

В 1937, в юбилейные дни соответственная комиссия постановила снять неудачный памятник Пушкину в темноватом сквере на Пушкинской улице в Ленинграде³. Послали грузовик, кран – вообще все, что полагается в таких случаях. Но затем произошло нечто беспримерное. Де-

1 Когда Пушкина попросили написать что-нибудь для детей, он пришел в столь свойственную ему ярость. (Цитата): <“Батюшка, Ваше сиятельство! побойтесь Бога: я ни Львову, ни Очкину, ни детям – ни сват, ни брат. Зачем мне хот-действовать “Детскому журналу”? уж и так говорят, что я в детство впадаю”. – Из письма Пушкина к В.Ф. Одоевскому. Декабрь, 1836 г. “Хот-действовать” – каламбурное обыгрывание французского слова хот – глупый>.

2 “Конька-Горбунка” Ершова тоже все знают и любят. Однако я никогда не слышала “дядя Ершов”. А вы?

3 Поставленный в 1884 году.

ти, игравшие в сквере вокруг памятника, подняли такой воя, что пришлось позвонить куда следует и спросить: “Как быть?” – Ответили: “Оставьте им памятник” – грузовик уехал пустой.

Февраль 37 – [полный] расцвет ежовщины. Можно с полной уверенностью сказать, что у добной половины этих малышей уже не было пап (а у многих и мам), но охранять дядю Пушкина они считали своей священной обязанностью.

Слово о Пушкине

Мой предшественник П.Е. Щеголев кончает свой труд о дуэли и смерти Пушкина рядом соображений, почему высший свет, его представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело, из своей среды. Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что они сделали с ним, а о том, что он сделал с ними.

После этого океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости полетик и неполетик, родственников Строгановых, идиотов-кавалергардов, сделавших из дантесовской истории une affaire de régiment <вопрос чести полка>, ханжеских салонов Нессельроде и пр., высочайшего двора, заглядывавшего во все замочные скважины, величавых тайных советников — членов Государственного совета, не постеснявшихся установить тайный полицейский надзор над гениальным поэтом, — после всего этого как торжественно и прекрасно увидеть, как этот чопорный, бессердечный (“свинский”, как говорил сам Александр Сергеевич) и уж, конечно, безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались.

“It faut que j’arrange ma maison” <“Мне надо привести в порядок мой дом”>, — сказал умирающий Пушкин.

Через два дня его дом стал святыней для его Родины, и более полной, более лучезарной победы свет не видел.

Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и неаншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с переворнутыми датами рождения и смерти) пушкинских изданий. Он победил и время и пространство. Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин — или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово “Пушкин”, и, что самое для них страшное, — они могли бы услышать от поэта:

За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила — право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный аеге perennius <крепче меди>.

26 мая 1961
Камарово

Л Е Р М О Н Т О В

ВСЕ БЫЛО ПОДВЛАСТНО ЕМУ

Когда в 1927 г. [...] я была в Кислов~~одске~~, все вокруг меня читали Лермонтова. Казалось, самый воздух был пропитан его стихами. Много позже я пыталась передать это странное ощущение в [стихах] четверостишии о Демоне: "И расскажет ветер блаженный то, что Л~~ермонтов~~ не допел".

Не знаю, как теперь, но тогда все было полно им. Все перечитывали его, все думали о нем. О нем просто невозможно не думать там... И Лер~~монтов~~ (цитата).

< Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час –
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары>.

Это странное загадочное существо – царскосельский гусар, живший на Колпинской улице и ездивший в П~~етербург~~ верхом, потому что бабушке казалась опасной железная дорога, а не казался опасным пер~~евал~~ Крест~~овый~~, не увидавший ни царскосельских парков с их растрелями, камеронами и faux-готикой <псевдоготикой> и бессмертным лебедем, [но] зато заметивший, что:

Сквозь туман кремнистый путь блестит¹.

Оставивший без внимания впервые бившие при нем петергофские <фонтаны>, чтобы, глядя на Маркизову Лужу, произнести:

Белеет парус одинокой...

М.б., многого не слышав~~ший~~, но твердо запомнив-~~ший~~, что:

[Звезда с звездою говорит]
Пела русалка, и звук ее слов
Долетал до крутых берегов.

Так долго писавший подражательные Пушк~~ину~~ и Байрон <у> стихи и вдруг начавший писать нечто такое, где он никому не подражает, зато всем уже 150 л~~ет~~ хочется ему подражать, но совершенно очевидно, что это невозможно, потому что он владеет тем, что актеры называют сотая интонация.

Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы, а его строки не имеют себе равных ни в одной из поэзий мира, со всеми их ошибками и неточностями. Это так неожиданно, так просто и так бездонно:

Есть речи – значение
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

И "Маскарад" до наших дней – украшение репертуара драмтеатров, Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал сам себя на 100 л~~ет~~ и в каждой новой вещи разрушает миф о том, что проза – достояние лишь зрелого возраста.

Этот молодой челов~~ек~~ умер с репутацией злого насмешника, хотя не он ли в 1829 г. [т.е. в 15лет,] написал сле-

¹ (где поручик Л~~ермонтов~~ за свою ледяную храбрость был представлен к ордену).

дующие простые добрые, трогательные и совсем не детские, несмотря на 15 лет, слова о дружбе:

Я думал: в свете нет друзей!
Нет дружбы нежно-постоянной,
И бескорыстной, и простой;
Но ты явился, гость незваный,
И вновь мне возвратил покой!
С тобою чувствами [делясь] сливаюсь,
В речах веселых счастье пью...

и еще рече:

Готов на все для твоего спасенья!
Я так клялся...

После смерти поэта имя его и биография были окружены каким-то мильм сердцу мещан сумраком, чтобы из-за неожиданной находки оказаться идеальным другом.

В наши дни, когда стихи стали так милы и так нужны людям, пусть мысли читателей с благодарностью обратятся к тому, кто оставил нам как потомкам эти чудеса, — которые называют стихами М. Лермонтова.

Он никогда бы не кончил "Демона". Он сам был одержим демоном. Он искал бы все новые и новые формы для воплощения этого образа, как Врубель, чьи первые наброски Демона просто исходят от автопортрета художника.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Я уезжала из СССР в самый разгар лермонтовских торжеств, и когда в последние дни шекспировского и лермонтовского 1964 года вернулась на Родину, меня ждал очень приятный сюрприз — наконец-то вышла в свет книга Эммы Герштейн "Судьба Лермонтова". Я читала эту книгу с карандашом в руках, потому что мой интерес к Лермонтову граничит с наваждением. И вот я собрала часть моих заметок, которые ни в какой мере не претендуют на научную критику, но, смею надеяться, отразят чувства и мысли многих читателей этой замечательной книги.

А она не только замечательная, но и нужная нам всем. В ней очень твердо доказаны вещи, которым нельзя не доверяться, — даже когда они печальны или страшны, потому что они несут в себе то, что жаждут наши души, то есть истину.

Лермонтов уже давно стилизован — кинжал, Тамара, бурка, бретерство... Эмма Герштейн отходит от этой стилизации и совсем свободно и просто рассказывает о живом — спорящем, думающем, страдающем — человеке, который не перестает от этого быть великим поэтом.

Во всей книге остро соблюдается принцип критического отбора мемуарного наследия. Книга — меньше всего перечисление фактов (пусть новых), что так часто, к сожалению, мы встречаем в литературоведении. Если вводится новый персонаж или новый материал, это всегда служит для характеристики действующего лица в описываемой драме.

(А ведь каждая глава книги – драматургическое построение. Да и вся книга, – несомненно, художественная литература.)

Известно, например, что последние недели жизни Лермонтов проводил в Пятигорске в обществе князя Голицына. Тут иной литературовед занялся бы печальной отраслью науки, которую шутя называют “Голицыноведением” (их, Голицыных, как мужчин, так и дам, было видимо-невидимо). Э. Герштейн идет другим путем. Вместо того чтобы узнавать, кто с кем в родстве, она, скрупулезно используя архивные документы, создает живой портрет. Таковы сведения о князе В.С. Голицыне, который не только слыл при дворе Александра I опытным донжуаном, но впоследствии был прекрасным боевым офицером, ермоловцем. Это он представлял Лермонтова к “золотому оружию”, и он первый описал страшную картину убийства Лермонтова. Герштейн правильно говорит, что нет никаких оснований подвергать сомнению достоверность его рассказа.

Мне как пушкинисту были особенно интересны новые наблюдения Эммы Герштейн над тем, как претворялись в поздней поэзии Лермонтова стихи Пушкина. Так, в стихотворениях “Оправдание” и “Сон” как подтекст звучит тема Ленского.

Блестящи доказательства Э. Герштейн, когда она дает новую датировку “Валерика” и “Пленного рыцаря”, причисля эти шедевры лермонтовского гения к предсмертному циклу.

Никем до Герштейн не было замечено, что “гусарские” стихи Лермонтова (“Послание к Н.И. Бухарову”, некоторые строфы “Тамбовской казначейши”) восходят к рукописной “Моей родословной” и “Езерскому”, напечатанному в “Современнике” при жизни Пушкина. Таким образом, сочувствие поэту в лейб-гусарском полку устанавливается исследовательницей не по родственным или дружеским связям гусаров, а по откликам в стихах Лермонтова.

Проникая в психологию творчества поэта, автор делает это очень тактично. Как неприятно бывает, когда в результате глубокомысленных рассуждений критика поэт неожи-

данно для себя узнает, что в таком-то своем стихотворении он хотел сказать такое, о чем никогда и не помышлял. Поэтому что, бывает, поэт пишет и сам не знает, что побудило его, а впоследствии уже обнаруживаются многочисленные подтверждения жизненности созданного образа. Как нельзя более кстати звучит это по отношению к Лермонтову. В этом одно из проявлений его колдовства.

С некоторою опаской отнеслась я только к заявлению Герштейн, что у Вяземского “ход в свободный, непринужденный эпистолярный жанр сопровождался... оскудением его поэтической деятельности”. Кто знает, чем объясняется изобилие или оскудение деятельности поэта?

Я бы очень советовала читателям этой книги заглянуть в примечания. В них скрыта огромная исследовательская работа. Обилие в книге впервые публикуемых архивных документов не мешает легкости чтения. Не мешает этому и густота мыслей. Книга все время “пружинит”. Интерес читателя поддерживается не нарочитой популяризацией, а страстью исследователя, изяществом и строгостью прозы, цельностью сюжета.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

(Очерки, заметки, дневниковые записи)

Будка

Я родилась в один год с Чарли Чаплином, "Крейцеровой сонатой" Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии – 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь – 23 июня (Midsummer Night). Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем. Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-ая станция паровицка) около Одессы. Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровицка шли по самому краю.

Когда мне было 15 лет, и мы жили на даче в Лустдорфе, проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: "Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска". Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. "Боже, как я плохо тебя воспитала", – сказала она.

1957

* * *

...В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. Стоговы были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее.

Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. В этот день, как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шел крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом.

Одна из княжон Ахматовых – Прасковья Егоровна – в XVIII веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было 9 лет, и в честь ее меня назвали Анной. Из ее фероньерки сделали несколько перстней с бриллиантами и одно с изумрудом, а ее наперсток я не могла надеть, хотя у меня были тонкие пальцы.

Дом Шухардиной

Дому было 100 лет. Он принадлежал похожей на рысь купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной, странными нарядами которой я любовалась в детстве. Стоял этот дом на углу Широкой улицы и Безымянного переулка (2-ой от вокзала). Говорили, что когда-то, до железной дороги, в этом доме было нечто вроде трактира или заезжего двора при въезде в город. Я обрывала в моей желтой комнате обои (слой за слоем), и самый последний был диковинный – ярко-красный. Вот эти обои были в том трактире сто лет назад, – думала я. В подвале жил сапожник Б. Неволин – теперь бы это был кадр исторического фильма.

Этот дом памятнее мне всех домов на свете. В нем прошло мое детство (нижний этаж) и ранняя юность (верхний). Примерно половина моих снов происходит там. Мы уехали из него весной 1905 года. Тогда же он был перестроен и потерял свой старинный вид. Теперь его уже давно нет и на этом месте разведен привокзальный парк или что-то в этом роде. (Я последний раз была в Царском Селе в июне 1944 года.) Нет и дачи Тура ("Отрада" или "Новый Херсонес") — три версты от Севастополя, где с семи до тринадцати лет я жила каждое лето и заслужила прозвище "дикой девочки", нет и Слепнева 1911–1917 годов, от которого осталось только это слово под моими стихами в "Белой стае" и "Подорожнике", но, вероятно, это в порядке вещей...

1957

* * *

...А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Если зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Бронского, то есть "с пьяными открытыми лицами", и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в "Пиковой даме".

И мне (потом, когда я вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего девятнадцатого века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце — было великолепно, оно же при тогдашнем желтом све-

те и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным.

* * *

Мне было 10 лет, и мы жили (одну зиму) в доме Дауделя (угол Средней и Леонтьевской в Царском Селе). Живущий где-то поблизости гусарский офицер выезжал на своем красном и дикого вида автомобиле, проезжал квартал или два — затем машина портилась, и извозчик вез ее с позором домой. Тогда никто не верил в возможность автомобильного и тем более воздушного сообщений.

* * *

В первый раз я стала писать свою биографию, когда мне было 11 лет, в разлинованной красным маминой книжке, для записывания хозяйственных расходов (1900 г.). Когда я показала свои записи старшим, они сказали, что я помню себя чуть ли не двухлетним ребенком (Павловский парк, щенок Ральф и т.п.).

* * *

Запахи Павловского Вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый — дым от допотопного паровозика, который меня привез — Тярлево, парк, salon de musique (который называли "соленый мужик"), второй — натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий — земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый — резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское —

всегда будни, потому что дома, Павловск — всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома.

* * *

Людям моего поколения не грозит печальное возвращение — нам возвращаться некуда... Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского Вокзала (когда так пустынно и душисто в парках) на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врваться (да еще в бензинной жестянке) в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас.

Мнимая биография

Царское было зимой, Крым (дача Тура) — летом, но убедить в этом никого невозможно, потому что все считают меня украинкой. Во-первых, оттого, что фамилия моего отца Горенко, во-вторых, оттого, что я родилась в Одессе и кончила Фундуклеевскую гимназию, в-третьих, и главным образом, потому, что Н. С. Гумилев написал: “Из города Киева, // из логова Змиева // Я взял не жену, а колдунью...” (1910).

А в Киеве я жила меньше, чем в Ташкенте (1941–1944, во время эвакуации). Одну зиму, когда кончала Фундуклеевскую гимназию, и две зимы, когда была на Высших женских курсах. Но невнимание людей друг к другу не имеет предела. И читатель этой книги должен привыкать, что все было не так, не тогда и не там, как ему чудится. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Говорят “в основном” сами с собой и почти всегда отвечают себе самим, не слушая собеседника. На этом свойстве человеческой природы держится 90% чудовищных слухов, ложных reputа-

ций, свято сбереженных сплетен. (Мы до сих пор храним змеиное шипение Полетики о Пушкине!!!) Несогласных со мной я только попрошу вспомнить то, что им приходилось слышать о самих себе.

Дикая девочка

Языческое детство. В окрестностях этой дачи (“Отрада”, Стрелецкая бухта, Херсонес) — я получила прозвище “дикая девочка”, потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т.д., бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма, и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень.

* * *

Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире...

Говорить о детстве и легко и трудно. Благодаря его статичности его очень легко описывать, но в это описание слишком часто проникает слажвость, которая совершенно чужда такому важному и глубокому периоду жизни, как детство. Кроме того, одним хочется казаться слишком несчастными в детстве, другим — слишком счастливыми. И то и другое обычно вздор. Детям не с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны. Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное не верить, что этот мир некогда был иным. Эта первоначальная картина навсегда остается в душе человека, и существуют люди, которые только в нее и верят, кое-как скрывая эту странность. Другие же, наоборот, совсем не верят в подлинность этой картины и тоже довольно нелепо повторяют: “Разве это был я?”

...Где-то около 50-ти лет все начало жизни возвращается к нему. Этим объясняются некоторые мои стихи 1940 года ("Ива", "Пятнадцатилетние руки..."), которые, как известно, вызвали упреки в том, что я тянусь к прошлому.

* * *

Анина комната: окно на Безымянный переулок... который зимой был занесен глубоким снегом, а летом пышно застал сорняками – репейниками, роскошной крапивой и великанами-лопухами... Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвечнике (электричества еще не было). В углу – икона. никакой попытки скрасить суровость обстановки – безд~~елушками~~, выш~~ивками~~, открытыми.

* * *

В Царском Селе она делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела сложить по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на Страстной в гимназической церкви. Изредка отец брал ее с собой в оперу (в гимназическом платье) в Мариинский театр (ложа). Бывала в Эрмитаже, в Музее Александра III-го. Весной и осенью в Павловске на музыке – Вокзал... Музеи и картинные выставки... Зимой часто на катке в парке.

В Царскосельских парках тоже античность, но совсем иная (статуи). Читала много и постоянно. Большое (по-моему) влияние (на нее) оказал тогдашний правитель дум Кнут Гамсун ("Загадки и тайны"); Пан, Виктория – меньше. Другой правитель Ибсен... Училась в младших классах плохо, потом хорошо. Гимназией всегда тяготилась (дружила с немногими).

* * *

Первое стихотворение я написала, когда мне было 11 лет (оно было чудовищным), но уже раньше отец называл меня почему-то "декадентской поэтессой"... Кончать мне пришлось (потому что семья переехала на юг) уже не Царскосельскую гимназию, а Киевскую (Фундуклеевскую), в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на Киевских Высших женских курсах... Все это время (с довольно большими перерывами) я продолжала писать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, "Песня последней встречи" – мое двухсотое стихотворение.

* * *

На север я вернулась в июне 1910 года. Царское после Парижа показалось мне совсем мертвым. В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась моя царскосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и не переступила порог ни одного царскосельского дома. Началась новая петербургская жизнь. В сентябре Н.С. Гумилев уехал в Афики. В зиму 1910–1911 годов я написала стихи, которые составили книгу "Вечер". 25 марта вернулся из Африки Гумилев и я показала ему эти стихи...

* * *

Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз (если я видела все контрафакционные издания). Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, "чтобы не расстраиваться". От огорчения, что "Вечер" по-

явился, она даже уехала в Италию (1912 г., весна), а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: "Какие они счастливые — у них не выходит книжка".

Слепнево

Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев. В моей комнате (на север) висела большая икона — Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть... Над диваном висел небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге — почти как экзотика, а просто, сериозно по-Онегински ("Царей портреты на стене"). Было ли в комнате зеркало — не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже "Северные цветы", и барон Брамбейс, и Руссо. Там я встретила войну 1914 года, там провела последнее лето (1917).

...Приятная косила глазом и классически выгибалась шею. Стихи шли легкой свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло — никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну...

Бабы выходили в поле на работу в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй.

В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: "К Слепневским господам хранцуженка приехала", а земский начальник Иван Яковлевич Дерин — очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущения, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: "Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?" Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называли

меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал "такая скучная не золотая старина" и наполнял альбом Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, что-то понял и чему-то научился.

Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пытал Париж в каком-то последнем закате (1911)...

Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в девятнадцатый век, чуть не в пушкинское время. Санки, валенки, медвежьи полости, огромные полушибки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год. После угрюмого военного Севастополя, где я задыхалась от астмы и мерзла в холодной наемной комнате, мне казалось, что я попала в какую-то обетованную страну. А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали революцию, которая была назначена на 20 января (в этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: "В день Русской Революции". Другой рисунок (сохранившийся) он надписал: "Солдатке Гумилевой, от чертежника Альтмана").

* * *

Слепнево для меня как арка в архитектуре... сначала маленькая, потом все больше и больше и наконец — полная свобода (это если выходить).

* * *

В сущности никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале десятых годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции.

<1957 ?>

1910-Е ГОДЫ

10-й год — год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. 1911 — год Китайской революции, изменившей лицо Азии, и год блоковских записных книжек, полных предчувствий... “Кипарисовый ларец”... Кто-то недавно сказал при мне: “10-е годы — самое бесцветное время”. Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: “Кроме всего прочего, это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева”.

Конечно, в это, как и во всякое время, было много безвкусных людей (например, Северянин)... По сравнению с аляповатым первым десятилетием 10-е годы — собранное и стройное время. Судьба отстригла вторую половину и выпустила при этом много крови (война 1914 г.)...

* * *

XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм — явление 19-го века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20 века и не хотели оставаться в предыдущем...

ГОРОД

О “красоте” Петербурга догадались художники-мирискусники, которые, кстати сказать, открыли и мебель красного дерева. Петербург я начинаю помнить очень рано — в девяностых годах. Это в сущности Петербург Достоевского. Это Петербург дотрамвайный, лошадиный, коночный, грохочущий и скрежещущий, лодочный, завешанный с ног до головы вывесками, которые безжалостно

скрывали архитектуру домов. Воспринимался он особенно свежо и остро после тихого и благоуханного Царского Села. Внутри Гостиного двора тучи голубей, в угловых нишах галерей большие иконы в золоченых окладах и неугасимые лампады. Нева — в судах. Много иностранной речи на улицах.

В окраске домов очень много красного (как Зимний), багрового, розового и совсем не было этих бежевых и серых колеров, которые теперь так уныло сливаются с морозным паром или ленинградскими сумерками.

Тогда еще было много великолепных деревянных домов (дворянских особняков) на Каменноостровском проспекте и вокруг Царскосельского вокзала. Их разобрали на дрова в 1919 году. Еще лучше были двухэтажные особняки XVIII века, иногда построенные большими зодчими. “Плохая им досталась доля” — их в 20-х годах надстроили. Зато зелени в Петербурге 90-х годов почти не было. Когда моя мама в 1927 году в последний раз приехала ко мне, то вместе со своими народовольческими воспоминаниями она невольно припомнила Петербург даже не 90-х, а 70-х годов (ее молодость), она не могла надивиться количеству зелени. А это было только начало! В XIX веке были гранит и вода.

* * *

Сейчас с изумлением прочла в “Звезде” (статья Льва Успенского), что Мария Федоровна каталась в золотой карете. Бред! — Золотые кареты, действительно, были, но им полагалось появляться лишь в высокогоржественных случаях — коронации, бракосочетания, крестин, первого приема посла. Выезд Марии Федоровны отличался только медалями на груди кучера. Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100?

<1957>

ДАЛЬШЕ О ГОРОДЕ

Глазам не веришь, когда читаешь, что на петербургских лестницах всегда пахло жженым кофе. Там часто были высокие зеркала, иногда ковры. Ни в одном петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов проходящих дам и сигар проходящих господ. Товарищ, вероятно, имел в виду так называемый “черный ход” (ныне, в основном, ставший единственным) — там, действительно, могло пахнуть чем угодно, потому что туда выходили двери из всех кухонь. Например, блинами на Масляной, грибами и постным маслом в Великом посту, невской корюшкой — в мае. Когда стряпали что-нибудь пахучее, кухарки отворяли дверь на черную лестницу — “чтобы выпустить чад” (это так и называлось), но все же черные лестницы пахли, увы, чаще всего кошками.

Звуки в петербургских дворах. Это, во-первых, звук брошенных в подвал дров. Шарманщики (“пой, ласточка, пой, сердце успокой...”), точильщики (“точу ножи, ножницы...”), старьевщики (“халат, халат”), которые всегда были татарами. Лудильщики. “Выборгские крендели привез”. Гулко на дворах-колодцах.

Дымки над крышами. Петербургские голландские печи. Петербургские камины — покушение с негодными средствами. Петербургские пожары в сильные морозы. Колокольный звон, заглушаемый звуками города. Барабанный бой, так всегда напоминающий казнь. Санки с размаху о тумбу на горбатых мостах, которые теперь почти лишиены своей горбатости. Последняя ветка на островах всегда напоминала мне японские гравюры. Лошадина обмерзшая в сосульках морда почти у вас на плече. Зато какой был запах мокрой кожи в извозчикье пролетке с поднятым верхом во время дождя. Я почти что все “Четки” сочинила в этой обстановке, а дома только записывала уже готовые стихи...

* * *

...И два окна в Михайловском замке, которые остались такими же, как в 1801 году, и казалось, что за ними еще убивают Павла, и Семеновские казармы, и Семеновский плац, где ждал смерти Достоевский, и Фонтанский дом — целая симфония ужасов... “Шереметевские липы, перекличка домовых”. Летний... Первый — благоуханный, замерший в июльской неподвижности, и второй — под водой в 1924 году, и снова Летний, изрезанный зловонными рвами-щелями (1941), и Марсово — плац-парад, где ночью обучали новобранцев в 1915 году (барабан), и Марсово — огород уже разрытый, полузараженный (1921), “под тучей вороньих крыл”, и ворота, откуда вывозили на казнь народовольцев.

И близко от них грузный дом Мурузи (угол Литейного), где в последний раз в жизни я видела Гумилева (в тот день, когда меня нарисовал Ю. Анненков). Все это — мой Ленинград.

* * *

Царское в 20-х годах представляло собой нечто невообразимое. Все заборы были сожжены. Над открытыми люками водопровода стояли ржавые кровати из лазаретов 1-й войны, улицы заросли травой, гуляли и орали петухи всех цветов и козы, которых почему-то звали Тамара. На воротах недавно великолепного дома гр. Стенбок-Фермора красовалась огромная вывеска: “Случайный пункт”, но на Широкой так же терпко пахли по осеням дубы — свидетели моего детства, и вороны на соборных крестах кричали то же, что я слышала, идя по Соборному скверу в гимназию, и статуи в царскосельских парках глядели как в десятых годах. В оборванных и страшных фигурах я иногда узнавала царскосельлов. Гостиный двор был закрыт...

* * *

...в 1936-м я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалиптического Бледного коня или Черного коня из тогда еще не рожденных стихов. (...) Возврата к первой манере не может быть. Что лучше, что хуже, судить не мне. 1940 — апогей. Стихи звучат непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь, и иногда, наверно, плохие.

Из письма к***

(вместо предисловия)

В первой половине марта 1940 года на полях моих черновиков стали появляться ни с чем не связанные строки. Это в особенности относится к черновику стихотворения "Видение", которое я написала в ночь штурма Выборга и объявления перемирия.

Смысль этих строк казался мне тогда темным и, если хотите, даже странным, они довольно долго не обещали превратиться в нечто целое и как будто были обычными бродячими строчками, пока не пробил их час и они не попали в тот горн, откуда вышли такими, какими вы видите их здесь.

Осенью этого же года я написала еще 3 не лирические вещи, сначала хотела присоединить их к "Китежанке", написать книгу "Маленькие поэмы", но одна из них, "Поэма без героя", вырвалась, перестала быть маленькой, а главное, не терпит никакого соседства; две другие, "Россия Достоевского" и "Пятнадцатилетние руки", претерпели иную судьбу: они, по-видимому, погибли в осажденном Ленинграде, и то, что я восстановила по памяти уже здесь в Ташкенте, безнадежно фрагментарно. Поэтому "Китежанка" осталась в гордом одиночестве, как говорили наши отцы.

* * *

В Ташкенте от "эвакуационной тоски" написала "Дому было сто лет", там же в тифозном бреду все время слушала, как стучат мои каблуки по царскосельскому Гостиному двору — это я иду в гимназию. Снег вокруг собора потемнел, кричат вороны, звонят колокола, кого-то хоронят.

* * *

Биографию я принималась писать несколько раз, но, как говорится, с переменным успехом. Последний раз это было в 1946 г... Она, насколько помню, была не очень подробной, но там были мои впечатления 1944 года — "Послеблокадный Ленинград", "Три сирени" — о Царском Селе и описание поездки в конце июля в Териоки — на фронт, чтобы читать стихи бойцам. Их мне теперь трудно восстановить. Остальное же настолько окаменело в памяти, что исчезнет только со мною вместе.

<1957 ?>

* * *

Как все уже было давно... И первый день войны, который еще недавно был таким близким, и день Победы, который, кажется, еще вчера стоял за плечом, и 14 августа 1946... И это уже история. Недавно были переводы, которые я сдала и не сдала, замоскворецкое житие и те сосенки, которые сейчас сердито качаются на фоне белой ночи.

"Здесь северно очень — и осень в подруги я выбрали в этом году", — писала я в прошлом году, и как это уже далеко, а я собралась сейчас описывать 90-е годы XIX века!

1957

* * *

О книге, которую я никогда не напишу, но которая все равно уже существует, и люди заслужили ее. Сначала я хотела писать ее всю, теперь решила вставить несколько кусков из нее в повествование о моей жизни и о судьбах моего поколения. Эта книга задумана давно, и отдельные новеллы известны моим друзьям.

* * *

И кто бы поверил, что я задумана так надолго, и почему я этого не знала. Память обострилась невероятно. Прошлое обступает меня и требует чего-то. Чего? Милые тени отдаленного прошлого почти говорят со мной. Может быть, это для них последний случай, когда блаженство, которое люди зовут забвением, может миновать их. Откуда-то выплывают слова, сказанные полвека тому назад и о которых я все пятьдесят лет ни разу не вспомнила. Странно было бы объяснить все это только моим летним одиночеством и близостью к природе, которая давно напоминает мне только о смерти.

* * *

Который-то день вожусь с биографической книгой. Замечаю, что очень скучно писать о себе и очень интересно о людях и вещах (Петербург, запах Павловского Вокзала, парусники в Гунгербурге, Одесский порт в конце сорокадневной забастовки). Себя надо давать как можно меньше.

* * *

Непременно, 9 января и Цусима — потрясение на всю жизнь, и так как первое, то особенно страшное.

* * *

...Боюсь, что все, что я пишу здесь, относится к мрачному жанру — “Дочь Фауста” (см. Додэ “Жак”), то есть все это по-просту не существует. И чем больше люди хвалят это убогое скучное бормотание, тем меньше я им верю. Это происходит оттого, что я сама вижу и слышу за этими словами так много, что оно совершенно стирает самые слова.

22 ноября 1957
Москва

* * *

Успеть записать одну сотую того, что думается, было бы счастьем...

* * *

...Однако книжка — двоюродная сестра “Охранной грамоты” и “Шума времени” — должна возникнуть. Боюсь, что по сравнению со своими роскошными кузинами она будет казаться замарашкой, простушкой, золушкой и т.д.

Оба они (и Борис и Осип) писали свои книги, едва достигнув зрелости, когда все, о чем они вспоминают, было еще не так сказочно далеко. Но видеть без головокружения девяностые годы XIX века с высоты середины XX века почти невозможно.

* * *

Я ни в какой мере не собираюсь воскрешать жанр “физиологического очерка” и загромождать книгу бесчисленными маловажными подробностями.

* * *

Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, двадцать процентов мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием, утоловно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать.

* * *

Начинать совершенно все равно с чего: с середины, с конца или с начала. Я вот, например, хочу сейчас начать с того, что эти зеленые домики с застекленными террасами (в одном из них я живу) непрерывно стояли перед моими (закрытыми) глазами в 1951 г. в Пятой Советской больнице (Москва), когда я лежала после инфаркта и, вероятно, находилась под действием пантопона. Дома эти тогда еще не существовали — их построили в 1955 г., но когда я их увидела, я тотчас припомнила, где видела их раньше. Оттого я и написала в “Эпилоге”:

Живу как в чужом мне приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла...

* * *

“Pro domo mea”¹ скажу, что я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки ру-

¹ О себе (*лат.*).

кам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами. “Знакомить слова”, “сталивать слова” — ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит как банальность. Есть другой путь — точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но когда это удается, люди говорят: “Это про меня, это как будто мною написано”. Сама я тоже (очень редко) испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но благороднее.

Х. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует — просто невозможно.

1959

* * *

У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель.

Мне, например, из моей первой книги “Вечер” (1912) сейчас по-настоящему нравятся только строки:

Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое в моих стихах.

С другой стороны, мне очень нравится оставшееся без всякого продолжения несколько темное и для меня вовсе не характерное стихотворение “Я пришла тебя сменить, сестра...” — там я люблю строки:

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

То же, о чём до сих пор часто упоминают критики, оставляет меня совершенно равнодушной.

Стихи еще делятся (для автора) на такие, о которых может вспомнить, как он писал их, и на такие, которые как бы самозародились. В одних автор обречен слышать голос скрипки, некогда помогавший ему их сочинить, в других — стук вагона, мешавшего ему их написать. Стихи могут быть связаны с запахами духов и цветов. Шиповник в цикле “Шиповник цветет” действительно одуряющее благоухал в какой-то момент, связанный с этим циклом.

Это, однако, относится не только к собственным стихам. У Пушкина я слышу царскосельские водопады (“сии живые воды”), конец которых еще застала я.

Из дневника

24 декабря 1959 (европейский Сочелник)

...Легкая метель. Спокойный, очень тихий вечер. Т. ушла рано — я все время была одна, телефон безмолвствовал. Стихи идут все время, я, как всегда, их гоню, пока не услышу настоящую строку. Весь декабрь, несмотря на постоянную боль в сердце и частые приступы, был стихотворным, но “Мелхола” еще не поддается, т.е. мерещится что-то второстепенное. Но я ее все-таки одолею.

Попытки писать воспоминания вызывают неожиданно глубокие пласти прошлого, память обостряется почти болезненно: голоса, звуки, запахи, люди, медный крест на сане в Павловском парке и т.п., без конца. Вспомнила, например, что сказал Вяч. Иванов, когда я в первый раз читала у него стихи, а это было в 1910 году, т.е. пятьдесят лет тому назад.

От всего этого надо беречь стихи.

Последние дни я все время дополнительно чувствую, что где-то что-то со мной случается. По какой линии, это еще неясно. То ли в Москве, то ли еще где-нибудь, что-то втягивает меня, как горячий воздух огромной печи или винт парохода.

29-го еду с Ириной в “Дом творчества” в Комарове — всего на 10 дней. Может быть, отдохнешь, — вернее, нет.

...Всем известно, что есть люди, которые чувствуют весну с Рождества. Сегодня мне кажется, я почувствовала ее, хотя еще не было зимы. С этим связано так много чудесного и радостного, что я боюсь все испортить, сказав кому-нибудь об этом. А еще мне кажется, что я как-то связана с моей корейской розой, с демонской гортензией и всей тихой черной жизнью корней. Холодно ли им сейчас? Довольно ли снега? Смотрят ли на них луна? Все это кровно меня касается, и я даже во сне не забываю о них.

БЕРЁЗЫ

Во-первых, таких берез еще никто не видел. Мне страшно их вспомнить. Это наваждение. Что-то грозное, трагическое, как “Пергамский алтарь”, великолепное и неповторимое. И кажется, там должны быть вороны. И нет ничего лучше на свете, чем эти березы, огромные, могучие, древние, как друиды, и еще древней. Прошло три месяца, а я не могу опомниться, как вчера, но я все-таки не хочу, чтобы это был сон. Они мне нужны настоящие.

<1959—1961>

* * *

Общеизвестно, что каждый уехавший из России увез с собой свой последний день. Недавно мне пришлось проверить это, читая статью Di Sarra обо мне. Он пишет, что мои

стихи целиком выходят из поэзии М. Кузмина. Так никто не думает уже около 45 лет. Но Вячеслав Иванов, который навсегда уехал из Петербурга в 1912 г., увез представление обо мне, как-то связанное с Кузминым, и только потому, что Кузмин писал предисловие к моему "Вечеру" (1912). Это было последнее, что Вяч. Иванов мог вспомнить, и, конечно, когда его за границей спрашивали обо мне, он рекомендовал меня ученицей Кузмина. Таким образом, у меня склубился не то двойник, не то оборотень, который мирно прожил в чьем-то представлении все эти десятилетия, не вступая ни в какой контакт со мной, с моей истинной судьбой и т.д.

Невольно напрашивается вопрос, сколько таких двойников или оборотней бродит по свету и какова будет их окончательная роль.

* * *

...Среди этих приемов (не слишком добросовестных) обращает на себя внимание один: желание из всего написанного выделить первую книгу ("Четки"), объявить ее *livre de chevet*¹ и тут же затоптать все остальное, т.е. сделать из меня нечто среднее между Сергеем Городецким ("Ярь"), т.е. поэтом без творческого пути, и Франсуазой Саган — "мило откровенной" девочкой.

Дело в том, что "Четки" вышли в марте 1914 и жизни им было дано два с половиной месяца. В то время литературный сезон кончался в конце мая. Когда мы вернулись из деревни, нас встретила — Война. Второе издание понадобилось примерно через год, при тираже одна тысяча экземпляров.

С "Белой стаей" дело обстояло примерно так же. Она вышла в сентябре 1917 года и из-за отсутствия транспорта не была послана даже в Москву. Однако второе издание

¹ Любимая книга (букв. "книга, которую кладут в изголовье" — фр.).

понадобилось через год, т.е. ровно так же, как "Четки". Третье напечатал Алянский в 1922 году. Тогда же появилось берлинское (четвертое). Оно же последнее, потому что после моей поездки в Москву и Харьков в 1924 году <...> меня перестали печатать. И это продолжалось до 1939 года <...>.

Уже готовый двухтомник издательства Гессена ("Петроград") был уничтожен, брань из эпизодической стала планомерной и продуманной (Лелевич в журнале "На посту", Перцов в "Жизни искусства" и т.д.), достигая местами 12 баллов, т.е. смертоносного шторма. Переводы (кроме писем Рубенса, 30-й год) мне не давали. Однако моя первая пушкинистская работа ("Последняя сказка Пушкина") была напечатана в "Звезде". Запрещение относилось только к стихам. Такова правда без прикрас. И вот что я узнаю теперь о себе из зарубежной печати. Оказывается, после революции я перестала писать стихи совсем и не писала их до сорокового года. Но отчего же не переиздавались мои книги и мое имя упоминалось только в окружении плохой брань? Очевидно, желание безвозвратно замурвать меня в 10-е годы имеет неотразимую силу и какой-то для меня непонятный соблазн.

* * *

Слушала стрекозиний вальс из балетной сюиты Шостаковича. Это чудо. Кажется, его танцует само изящество. Можно ли сделать такое со словом, что он делает с звуком?

Ноябрь 1961

* * *

И если Поэзии суждено цвести в 20-м веке именно на моей Родине, я, смею сказать, всегда была радостной и до-

стоверной свидетельницей... И я уверена, что еще и сейчас мы не до конца знаем, каким волшебным хором поэтов мы обладаем, что русский язык молод и гибок, что мы еще совсем недавно пишем стихи, что мы их любим и верим им.

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания об Александре Блоке

В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (то есть только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение “На деревянном мостике у края света”.

Но я представила себе пышное петербургское ресторанные чествование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки, хорошее шампанское, и плохой французский язык, и тосты — и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: “Вот Аничка для себя добилась равноправия”.

В артистической я встретила Блока.

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим прямодушием: “Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-французски”.

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: “Александр

Александрович, я не могу читать после вас". Он — с упреком — в ответ: "Анна Андреевна, мы не тенора". В это время он уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в Цехе поэтов, и в Обществе Ревнителей Художественного Слова, и на Башне Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому.

Насколько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. Эстрада что-то вроде плахи. Может быть, тогда я почувствовала это в первый раз. Все присутствующие начинают казаться выступающему какою-то многоголовой гидрой. Владеть залой очень трудно — гением этого дела был Зощенко. Хорош на эстраде был и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: "Кто это?" Блок посоветовал мне прочесть "Все мы бражники здесь". Я стала отказываться: "Когда я читаю "Я надела узкую юбку", смеются". Он ответил: "Когда я читаю "И пьяницы с глазами кроликов" — тоже смеются".

Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере Блок прослушал Игоря Северянина, вернулся в артистическую и сказал: "У него жирный адвокатский голос".

В одно из последних воскресений триццатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: "Ахматовой — Блок". (Вот "Стихи о Прекрасной Даме".) А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: "Красота страшна, вам скажут..." У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсера. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого Драматического театра весной 1921 года Блок подошел и спросил меня: "А где испанская шаль?" Это последние слова, которые я слышала от него.

* * *

В тот единственный раз, когда я была у Блока, я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: "Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой".

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: "Александр Александрович!" Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: "С кем вы едете?" Я успеваю ответить: "Одна". Поезд трогается.

Сегодня, через 51 год, открывая "Записную книжку" Блока и под 9 июля 1914 года читаю: "Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде".

Блок записывает в другом месте, что я вместе с Дельмас и Е.Ю. Кузьминой-Караваевой измучила его по телефону. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания.

Я позвонила Блоку. Александр Александрович со свойственной ему прямотой и манерой думать вслух спросил: "Вы, наверное, звоните, потому что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас?" Умирая от любопытства, я поехала к Ариадне Владимировне на какой-то ее приемный день и спросила, что сказал Блок. Но она была неумолима: "Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие".

"Записная книжка" Блока дарит мелкие подарки, извлеченные из бездны забвения и возвращающие даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с моим спутником с ужасом гля-

дим на это невиданное зрелище, и у этого дня есть дата — 11 июля 1916 года, отмеченная Блоком.

И снова я уже после Революции (21 января 1919 г.) встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: “Здесь все встречаются, как на том свете”.

А вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: “Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев”.

А через четверть века все в том же Драматическом театре — вечер памяти Блока (1946 г.), и я читаю только что написанные мною стихи:

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

Михаил Лозинский

С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришел на одно из первых заседаний “Цеха поэтов”. Тогда же я в первый раз услышала прочитанные им стихи.

Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе.

В труде Лозинский был неутомим. Пораженный тяжелой болезнью, которая неизбежно сломила бы кого угодно, он продолжал работать и помогал другим. Когда я еще в тридцатых годах навестила его в больнице, он показал мне фото своего разросшегося гипофиза и совершенно спокойно сказал: “Здесь мне скажут, когда я умру”.

Он не умер тогда, и ужасная, измучившая его болезнь оказалась бессильной перед его сверхчеловеческой волей. Страшно подумать, именно тогда он предпринял подвиг своей жизни — перевод “Божественной Комедии” Данте. Михаил Леонидович говорил мне: “Я хотел бы видеть “Божественную Комедию” с совсем особыми иллюстрациями, чтобы изображены были знаменитые дантовские развернутые сравнения, например, возвращение счастливого игрока, окруженного толпой листецов. Пусть в другом месте будет венецианский госпиталь и т.д.”. Наверно, когда он переводил, все эти сцены проходили перед его умственным взором, пленяя своей бессмертной живостью и великолепием, ему было жалко, что они не в полной мере доходят до читателя. Я думаю, что не все присутствующие здесь отдают себе отчет, что значит переводить терцины. Может быть, это наиболее трудная из переводческих работ. Когда я говорила об этом Лозинскому, он ответил: “Надо сразу, смотря на страницу, понять, как сложится перевод. Это единственный способ одолеть терцины; а переводить по строчкам — просто невозможно”.

Из советов Лозинского-переводчика мне хочется привести еще один, очень для него характерный. Он сказал мне: “Если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку”.

Только совсем не понимающие Лозинского люди могут повторять, что перевод “Гамлета” темен, тяжел, непонятен. Задачей Михаила Леонидовича в данном случае было желание передать возраст шекспировского языка, его непростоту, на которую жалуются сами англичане.

Одновременно с "Гамлетом" и "Макбетом" Лозинский переводит испанцев, и перевод его легок и чист. Когда мы вместе смотрели "Валенсианскую вдову", я только ахнула: "Михаил Леонидович, ведь это чудо! Ни одной банальной рифмы!" Он только улыбнулся и сказал: "Кажется, да". И невозможно отделаться от ощущения, что в русском языке больше рифм, чем казалось раньше.

В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для XX века тем же, чем был Жуковский для века XIX.

Друзьям своим Михаил Леонидович был всю жизнь бесконечно предан. Он всегда и во всем был готов помогать людям, верность была самой характерной для Лозинского чертой.

Когда зарождался акмеизм и ближе Михаила Леонидовича у нас никого не было, он все же не захотел отречься от символизма, оставаясь редактором нашего журнала "Гиперборей", одним из основных членов Цеха поэтов и другом нас всех.

Кончая, выражаю надежду, что сегодняшний вечер станет этапом в изучении великого наследия того, кем мы вправе гордиться как человеком, другом, учителем, помощником и несравненным поэтом-переводчиком.

Когда весной сорокового года Михаил Леонидович держал корректуру моего сборника "Из шести книг", я написала ему стихи, в которых все это сказано:

Почти от залетейской тени
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары,
Чтоб та, над временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена, —
Мне улыбнулась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад...
И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград...

Возникли, словно в книге этой
Из мглы магических зеркал,
И над задумчивою Летой
Тростник оживший зазвучал.

Амедео Модильяни

Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) — ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне¹. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: "On communiqué"². Часто говорил: "Il n'y a que vous pour réaliser cela"³.

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало спы и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только ис-

¹ Я запомнила несколько фраз из его писем, одна из них: "Vous êtes en moi comme une hantise" ("Вы во мне как наваждение").

² О, передача мыслей (*фр.*).

³ О, это умеете только вы (*фр.*).

крилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguière. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.

Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.

В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен стук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется — от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела — уцелели ли они? Скульптуру свою он называл *la chose*¹ — она была выставлена, кажется у “*Indépendants*”² в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи.

¹ вещь (*фр.*).

² у “Независимых” (общество молодых художников) (*фр.*).

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверяя, что все остальное (*tout le reste*) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют *Periode negre*¹.

Он говорил: “*Les bijoux doivent être sauvages*”² (по поводу моих африканских бус), и рисовал меня в них. Водил меня смотреть *le vieux Paris derrière le Panthéon*³ ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: “*J'ai oublié qu'il y a une île au milieu*”⁴. Это он показал мне на с о т о щ и й Париж.

По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.

В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал *le vieux palais à l'Italienne*⁵, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.

Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса Х.⁶, та самая, которая называет его “*perle et pour-sœur*”⁷. Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до

¹ Негритянский период (*фр.*).

² Драгоценности должны быть дикарскими (*фр.*).

³ Старый Париж за Пантеоном (*фр.*).

⁴ Я забыл, что посередине находится остров (святого Людовика) (*фр.*).

⁵ Старый дворец в итальянском вкусе (*фр.*).

⁶ Цирковая наездница из Трансваля (см. статью P. Guillaume “*Les arts à Paris*”, 1920, № 6, с. 1–2). Подтекст, очевидно, такой: “Откуда же провинциальный еврейский мальчик мог быть всесторонне и глубоко образованным?”

⁷ Жемчужина и поросенок (*фр.*).

знакомства с Беатрисой Х., т.е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить.

Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из "своего кафе", где он ежедневно витийствовал, шел в "свой ресторан" обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой "Почетного легиона", — а соседи шептались: "Анри де Ренье!"

Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: "Mais Hugo — c'est déclamatoire?"¹

* * *

Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.

Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. "Не может быть, — они так красиво лежали..."

Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, засыпав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.

¹ А Гюго — это декламатор? (фр.)

То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов называлось "vieux Paris" или "Paris avant guerre"¹. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались "Au rendez-vous des cochers"², и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили "Пикассо и Брак". Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изящной традицией дягилевские Ballets Russes (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к 10-м годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена "Жар-птица". 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева "Петрушку".

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taverne de Panthéon два стола и сказал: "А это ваши социал-демократы — тут большевики, а там меньшевики". Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes entravees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Рене Гиль проповедовал "научную поэзию", и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали мэтра.

Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.

Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu' Anglois brûlerent a Rouen...³

¹ "Старый Париж" или "Довоенный Париж" (фр.).

² "Встреча кучеров" (фр.).

³ И добная Жанна из Лотарингии,
Сожженная англичанами в Руане... (старофр.)

Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.

* * *

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в "Аполлоне" 1911 г.). Над "аполлоновской" живописью ("Мир искусства") Модильяни откровенно смеялся.

Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.

Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, укращая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню" ...¹

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Дантен он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Как-то раз сказал: "J'ai oublié de vous dire que je suis juif"². Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему двадцать шесть.

Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему — летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то

¹ Известный искусствовед, мой друг Н.И. Харджиев посвятил этому рисунку очень интересный очерк, который приложен к этой статье.

² Я забыл вам сказать, что я еврей (*фр.*).

разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).

В это время ранние, легкие¹ и, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) — Эйфелевой башней.

Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.

* * *

...а вокруг бушевал недавно победивший кубизм, оставшийся чуждым Модильяни.

Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило — Чарли Чаплин. "Великий немой" (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.

* * *

"А далеко на севере" ... в России умерли Лев Толстой, Брульель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:

О, если бы знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...

Три кита, на которых ныне покоятся XX век, — Пруст, Джойс и Кафка — еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.

¹ См. у Гумилева:

На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзать облака.

* * *

В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали¹.

Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его “пьяным чудовищем” или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года, и обоих ждала громкая посмертная слава.

К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествия — это подмена истинного действия. “Les chants de Maldoror”² постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий, “вероятно очень важный господин” (надо думать — из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит...

Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много...

* * *

В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, изда-

¹ Его не знали ни А. Экстер, которая дружила в Париже с итальянским художником S. (Соффиани), ни Б. Анреп (известный мозаичист), ни Н. Альтман, который в эти годы (1914–1915) писал мой портрет.

² “Песни Мальдорора” (*phr.*).

тельство “Всемирная литература”). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он — великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге “Стихи о канунах” и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге “От Монмартра до Латинского квартала”, и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого-одиннадцатого годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.

Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма “Монпарнас, 19”. Это очень горько!

Балшево, 1958 — Москва, 1964

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭТАХ-СОВРЕМЕННИКАХ

<Иннокентий Анненский>

<1>

Меж тем как Бальмонт и Брюсов сами завершили ими же начатое (хотя еще долго смущали провинциальных граверов), дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. И если бы он так рано не умер, он мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака, свое полузаумное: "Деду Лиду ладили..." у Хлебникова, свой раешник ("Шарики") у Маяковского и т.д. Я не хочу сказать этим, что все подражали ему. Но он шел одновременно по стольким дорогам! Он нес в себе столько нового, что все новаторы оказывались ему сродни...

Борис Леонидович Пастернак ... категорически утверждал, что Анненский сыграл большую роль в его творчестве...

С Осипом я говорила об Анненском несколько раз. И он говорил об Анненском с неизменным пиэтом.

Знала ли Анненского Марина Цветаева, не знаю.

Любовь и преклонение перед Учителем и в стихах и в прозе Гумилева.

<2>

В последнее время как-то особенно сильно зазвучала поэзия Иннокентия Анненского. Я нахожу это вполне естествен-

ным. Вспомним, что Александр Блок писал автору "Кипарисового ларца", цитируя строки из "Тихих песен": "Это навсегда в памяти. Часть души осталась в этом". Убеждена, что Анненский должен занять в нашей поэзии такое же почетное место, как Баратынский, Тютчев, Фет.

...Иннокентий Анненский не потому учитель Пастернака, Мандельштама и Гумилева, что они ему подражали, — нет... но названные поэты уже "содержались" в Анненском. Вспомним, например, стихи Анненского из "Трилистника балаганного":

Покупайте, сударики, шарики!
Эй, лисья шуба, коли есть лишни,
Не пожалей пятишни:
Запущу под самое небо —
Два часа потом глазей, да в оба!

Сопоставьте "Шарики детские" со стихами молодого Маяковского, с его выступлениями в "Сатириконе", насыщенными подчеркнуто простонародной лексикой...

Если неискущенному читателю прочесть:

Колоколы-балаболы,
Колоколы-балаболы,
Накололи, намололи,
Дале боле, дале боле,
Накололи, намололи,
Колоколы-балаболы.
Лопотуны налетели,
Болмоталы навязали,
Лопотали — хлопотали,
Лопотали болмотали,
Лопоталы поломали, —

то он подумает, что это стихи Велимира Хлебникова. Между тем, я прочитала "Колокольчики" Анненского. Мы не ошибемся, если скажем, что в "Колокольчиках" брошено зерно, из которого затем выросла звучная хлебниковская поэзия. Щедрые пастернаковские ливни уже хлещут на страницах

“Кипарисового ларца”. Истоки поэзии Николая Гумилева не в стихах французских парнасцев, как это принято считать, а в Анненском. Я веду свое “начало” от стихов Анненского. Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной цельностью...

<ПАСТЕРНАК>

* * *

“Второе рождение” заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути не было... Наступает долгий (девять лет) и мучительный антракт, когда он действительно не может написать ни одной строчки. Это уже у меня на глазах. Так и слышу его растерянную интонацию: “Что это со мной?!” Появилась дача (Переделкино), сначала летняя, потом и зимняя. Он, в сущности, навсегда покидает город. Там, в Подмосковье – встреча с *Природой*. Природа всю жизнь была его единственной полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой – она была ему тем же, чем была Россия Блоку. Он остался ей верен до конца, и она по-царски награждала его. Удушье кончилось. В июне 1941 года, когда я приехала в Москву, он сказал мне по телефону: “Я написал девять стихотворений. Сейчас приду читать”. И пришел. Сказал: “Это только начало – я распишусь”.

<МАНДЕЛЬШТАМ>

<1>

На днях, перечитывая (не открывала книгу с 1928 года) “Шум времени”, я сделала неожиданное открытие. Кроме всего высокого и первозданного, что сделал ее автор в поэ-

зии, он еще умудрился быть последним бытописателем Петербурга. У него эти полузабытые и многократно оболганные улицы возникают во всей свежести девяностых – девяностых годов. Мне скажут, что он писал всего через пять лет после Революции – в 1923 году, что он долго отсутствовал, а отсутствие – лучшее лекарство от забвения (объяснить потом), лучший же способ забыть навек – это видеть ежедневно (так я забыла Фонтанный дом, в котором прожила тридцать пять лет). А его театр – о Комиссаржевской, про которую он не говорит последнего слова: королева модерна, а Савина – барыня, разомлевшая после Гостиного двора, а запахи Павловского вокзала, которые преследуют меня всю жизнь. И все великолепие военной столицы, увиденное сияющими глазами пятилетнего ребенка, а чувство иудейского хаоса и недоумение перед человеком в шапке (за столом).

Иногда эта проза звучит как комментарии к стихам, но нигде Мандельштам не подает себя как поэта, и если не знать его стихов, не догадаешься, что это проза поэта. Все, о чем он пишет в “Шуме времени”, лежало в нем где-то очень глубоко – он никогда этого не рассказывал, брезгливо относился к миристикескому любованию старым (и не старым) Петербургом.

Кроме того, очень интересны подробности политических манифестаций у Казанского собора, которые свидетельствуют об очень пристальном внимании к этим событиям и заставляют вспомнить о том, что сам Осип сообщил для помещения в книге “Писатели современной эпохи”...

<2>

Я меньше всего стремлюсь создать Мандельштаму “респектабельную” биографию. Да она совсем и не нужна ему. Это был человек с душой бродяги в самом высоком смысле этого слова и poete maudit par excellence¹, что и доказала его

¹ проклятый поэт по преимуществу (*фр.*).

биография. Его вечно тянул к себе юг, море, новые места. О его исступленной влюбленности в Армению свидетельствует бессмертный цикл стихов 1929 года.

<3>

15 февраля 60 г. ... При Осипе нельзя было никого хвалить, он сердился, спорил, был невероятно несправедлив, заносчив, резок. Но если вы бы вздумали этого же человека порицать при нем — произошло бы то же самое, он бы защищал его изо всех сил.

<4>

<Мандельштам о стихах Ахматовой>:

У меня от ваших стихов иногда впечатление полета. Сегодня этого не было, а должно быть. Следите, чтоб всегда было...

Эти ваши строки можно удалить из моего мозга только хирургическим путем (о чем-то из "Четок").

<5>

В 1920 г. Мандельштам увидел Петербург — как полу-Венецию, полутеатр.

<6>

К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм ему был противен. О том, что "Вчерашнее солнце на черных носилах несут" — Пушкин — ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы). Мою "Последнюю сказку" (статью о "Золотом петушке") он сам взял у меня на столе, прочел и сказал: "Прямо шахматная партия".

.....
Сияло солнце Александра,
Сто лет назад сияло всем

(декабрь 1917)

конечно, тоже Пушкин (так он передает мои слова).

<ЦВЕТАЕВА>

<1>

Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке, 17, в квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н. И. Хардкиева (день второй и последний). Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы "благоуханная легенда", как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-тилетней любви, которая оказалась напрасной, но, во всяком случае, это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевской и уже навсегда (не так, как та, с которой она любила себя сравнивать, т.е. с арапчиком и обезьянкой в французском платье, т.е. décolleté grande gorge¹), мне хочется просто "без легенды" вспомнить эти *Два дня*.

<2>

Когда в июне 1941 г. я прочла М(арине) Ц(ветаевой) кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: "Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро", очевидно, полагая, что поэма — миристисничная стилизация в духе Бенуа и Сомова, т.е. то, с чем она, может быть, боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так.

¹ Большое декольте (*фр.*).

Марина ушла в заумь. См. "Поэму воздуха". Ей стало тесно в рамках Поэзии. Она – dolphinlike¹, как говорит у Шекспира Клеопатра об Антонии. Ей было мало одной стихии, и она удалилась в другую или в другие. Пастернак – наоборот: он вернулся (в 1941 году – Переделкинский цикл) из своей пастернаковской зауми в рамки обычной (если поэзия может быть обычной) Поэзии. Сложнее и таинственней был путь Мандельштама.

1959

Б И Б Л И О Т Е К А В С Е М И Р Н О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы

А Н Н А А Н Д Р Е Е В Н А А Х М А Т О В А
Стихотворения
и поэмы

Ответственный редактор Н.Холодова

Редактор Н.Крылова

Художественный редактор М.Юганова

Корректор Е.Варфоломеева

Компьютерная верстка К.Москалев

ООО "Издательство "Эксмо".

125299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5.

Интернет/Home page – www.eksmo.ru

Электронная почта – info@eksmo.ru

Подписано в печать 03.03.2006. Формат 84x108^{1/2}.

Гарнитура НьюБаскервиль. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 36,12.

Доп. тираж 4000 экз. Заказ № 1643.

ОАО "Тверской полиграфический комбинат", 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15

Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



¹ подобна дельфину (англ.).